



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (466)

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Андрей Сен-Сеньков. «Миффи» и др. стихи.....	3
Борис Клетинич. Мое частное бессмертие. Роман	8
Данила Давыдов. «вы не думайте так...» и др. стихи.....	182
Дана Курская. «Баллада» и др. стихи.....	186
Михаил Окунь. Сестрорецкие рассказы.....	192
Борис Лихтенфельд. «Акварельное озеро. Помнишь...» и др. стихи.....	196
Елена Сунцова. «Снежный покров не лежит на прогретой земле...» и др. стихи.....	200
Иван Белецкий. «Машина сворачивает, солнце перестает...» и др. стихи.....	205
Лев Усыскин. Чжуан-Цзы (Из цикла «Пути Мнемозины»).....	208
Сергей Кулаков. Преображения. Рассказ.....	209
Вячеслав Харченко. Трамвай. Рассказ.....	210
Елена Зейферт. «Язык» и др. стихи.....	212
Владимир Тучков. Русалка. Попытка реконструкции.....	217

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Не печатные пряники.....	222
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Андрей Тавров. В поисках недостижимого языка (Заметки о творчестве Елены Зейферт).....	241
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Василий Чепелев. О стихах Виктора Лисина Виктор Лисин. Селяне.....	245
--	-----

Олег Рогов. Сквозь капли на стекле Ара Мусаян. Капли на стекле.....	249
---	-----

Алексей Слаповский. Дцать лет спустя Саратов 13/13: книга стихотворений (Валентин Ярыгин, Александр Ханьжов, Николай Кононов, Светлана Кекова, Олег Рогов, Евгений Малякин, Лариса Грекалова, Евгений Заугаров, Станислав Степанов, Игорь Алексеев, Алексей Голицын, Сергей Трунев, Алексей Александров).....	250
---	-----

АРХИВ

Алексей Голицын. Земной и Мухина О быте и нравах саратовских писателей времен Большого террора.....	251
---	-----

Андрей СЕН-СЕНЬКОВ

Миффи

Мелине Панаатович

голландский художник из-за проблем с руками
рисует только очень простые фигурки
придумывает девочку-кролика миффи
у которой ротик-крестик
культовое существо для фанатов аниме
в утрехте ей даже ставят памятник

ей уже шестьдесят
болят колени
по ночам она слезает на травку
сидит вытянув ноги

приходит господь
спрашивает помочь

нет отвечает
и ему тоже не помогай

Вермеер, свернутый несколько раз

в старой делфтской церкви
на могилу вермеера
из окна
падает свет
точно такой же
как на холстах мастера

люди подложили могилу
как листок серой бумаги
под ножку старого стола
старого стула
старого мира
чтобы они
не качались

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. С 2002 г. живет в Москве. Публикации в журналах «Вавилон», «Арион», «Черновик», «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Носорог» и др. Автор нескольких книг стихотворений. Шорт-лист премии Андрея Белого (2006, 2008, 2012), дипломант премии «Московский счет» (2007, 2011), лауреат 2-го Тургеневского фестиваля малой прозы (2006). В 2015 г. книга «Anatomical Theater» вошла в шорт-лист премии Northern California Book Award и получила премию американского ПЕН-клуба как лучшая переводная поэтическая книга года.

Девять утра

он снова её прощает
снова прощает ей всё
хочет целовать пальцы на ногах
медленно
один за другим
глубоко вдыхает и почти решается
стоп говорит себе
только досчитаю
до десяти

у нее нет одного мизинца

Театр жестокости это театр нежности

ямочки на щеках
следы от ручки дверцы
через которую
если спектакль поцелуя не нравится
уходят
в антракте

за оральными кулисами
болит каждый
у кого свежая трещинка
на переполненном зрителе

Дети деревянных кукол

мой буратино отличается от вашего пинноккио
каким-то солнечным светом
никакой безысходности
глаза блестят
он видит
приближающийся кукольный социализм
да и колпачок у моего буратино красивей
а нос гораздо острее
как лезвие
как карандаш
всегда заточенный
всегда готовый дать
на вырванной из бездарного сердца
артериальной бумажке
на хер никому не нужный автограф

Cross road blues

роберт джонсон
на пересечении шестьдесят первой и сорок девятой
продает душу дьяволу

чтобы от звука его гитары
женщины увлажнялись
как камешки у берегов миссисипи

долго торгуются
обязательные бумаги в двух экземплярах
попсовая подпись кровью
дьяволу просто скучно со всеми этими паганини
он развлекается и тянет время

потом возвращается в мотель
меланхолично сжигает бумаги
закуривает
наливает стаканчик бурбона
закрывает глаза
и слушает
как камешки у берегов миссисипи
высыхают

Фотоувеличение, фотоуменьшение

«смерть республиканца» роберта капы
невероятно эффектный снимок
возможно лучшая военная фотография

спустя десятилетия
уже после смерти капы
были отпечатаны все другие кадры
с той самой пленки
оказалось
что этот человек не погиб
он жив
он бежит сражаться дальше
на знаменитой фотографии
не пуля попала в него
он просто поскользнулся

и он ведь до сих пор бежит
этот республиканец
стреляет
надеюсь мимо
продолжает верить в какие-то светлые идеалы

я
ни во что уже не верящий
и ни на что уже не надеющийся
захлопываю фотоальбом
и прошу
пожалуйста
пусть это будет хлопком выстрела той пулей
которая все-таки
была

Танатокосметология

в похоронном доме
старушке
накладывают посмертный макияж
сравнивая лицо с фотографией
принесенной родственниками
щеточками иголками карандашиками
слой за слоем
делают почти живой

завтра она ляжет рядом
с давно умершим мужем

он будет любоваться

трогать косточкой туда где соскучился

макияж это терпеть

когда не сильно
да и не долго

Любимый певец моей мамы

вот семидесятые
вот мама с ее ужасным вкусом

вот год назад женщина роется в кошельке
чтобы набрать сто рублей
и купить старый запиленный
плохо
ужасно
записанный советский винил

вот ты перечитываешь
стихотворение своего рижского друга
про джо дассена
и его леопардовые плавки

вот он уже в твоём mp3 плеере

вот уже ты вообще ничего не слушаешь
кроме джо дассена

вот греческий остров закинтос
идет дождь
ты сидишь под дождем на пустом пляже
джо дассен
конечно джо дассен в наушниках
черные проводки

текут по щекам вместе с каплями дождя
как слезы

привет мама
ты никогда не читаешь мои стихотворения
у тебя классный вкус

Цифровая колумбия

защитник андрес эскобар
на чемпионате мира в девяносто четвертом
в матче с американцами
забивает гол в свои ворота

сборная колумбии вылетает из турнира

через десять дней
эскобара убивают в медельине

убийца из наркокартеля
стреляет в него шесть раз
каждый раз выкрикивая
гол! гол! гол! гол! гол! гол!

стихотворение это всегда автогол
после которого в теле умирают
шесть сантиметров
шесть секунд
или шесть миллилитров

Легкое как атлетика

стихотворение всех победило всех обогнало
бумагу
карандаш
меня
пальцы

оно очень было

мы не смогли догнать

теперь его нет

но оно делает круг почета

Борис КЛЕТИНИЧ

МОЕ ЧАСТНОЕ БЕССМЕРТИЕ

Роман

От редакции: В минувшем году мы начали печатать этот роман в первом приближении: была опубликована I-я часть (2016, №1-2). В настоящий момент работа над романом, которая продолжалась двадцать лет (1996–2016), автором закончена, и мы представляем ее вниманию читателей полностью, включая новую редакцию публиковавшегося фрагмента. Окончание в следующем номере.

КНИГА ПЕРВАЯ

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты...
<М.Ю.Лермонтов>

Иерусалим, 1971 г.
Из-во «Рабочий народ»
Исходящая почта

12.1.1971

В комитет международной литературной премии Goethepreiser Stadt Frankfurt, Франкфурт, ФРГ

«...Просим аннулировать нашу номинацию этого года – роман П.Ш. “В детстве, то есть прошлой осенью...”. Приносим извинения...»

17.2.1971

В специальное жюри литературной премии Pontificia Universit Urbaniana–Via Urbano VIII, Roma, Италия... В Его Святейшества Папскую академию изящных искусств и литературы

«В связи с сомнениями относительно авторства П.Ш. просим изъять роман “В детстве, то есть прошлой осенью...” из списка представленных к Премии...»

24.10.1971

Издателю –Гл. Редактору World Literature Today. Спонсору Neustadt International Prizefor Literature... Oklahoma, US

«В силу того, что расследование подлинного авторства не окончено до сего дня, просим изъять из short-list книгу нашего из-ва “В детстве, то есть еще прошлой осенью...”»

Борис Клетинич родился в Кишиневе в 1961 году. Литератор, певец. Учился во ВГИКе, служил в армии, работал на киностудии «Молдова-фильм». Автор сценария художественного фильма «Ваш специальный корреспондент» (1988). С 1990 года жил в Израиле, с 2002 – в Канаде (Монреаль). Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Киносценарии», «Зеркало», «22», «Волга» и др.

Часть I

I.

Chantal (Шантал)

В детстве, то есть еще прошлой осенью, я не могла дожидаться Ужасных Дней¹: папиного лесного мёда, игр в ловитки на балконе синагоги, ночлега в шалаше...

А теперь досадовала на них.

Физкультура, вокзал, кино... – всё остановилось по их милости.

Виды мои на «всё» были самые веселые:

– я с отличием окончила 7 классов и была принята в гимназию *m-me Angel*,

– 2 р. в неделю гимнастировала в башне «Маккаби» на 3-м этаже (обруч и лента). Полгорода мечтало побывать на 3-м этаже и забегало передо мной дорожки,

– мне исполнилось 16, и – ура! – я теперь считалась «молодёжь». А если ты считаешься «молодёжь», то гуляй себе повсюду: хоть на Иваносе, хоть на Трех Полянах, хоть на озере Иванча! А на обратном пути ты обязательно встретишь *gens d'armes*² на кукурузном холме, как бы прогуливающих тут без всякой цели. Ха-ха, при полном параде в кукурузе. Все умолкают под их пытливым взглядом, а я – нет! Мне нравится, когда на меня смотрят. Нравится быть «молодежкой».

Сентябрь 1931. Оргеев. Оргеевского уезда. Бессарабия.

Но самое главное – я теперь могу ходить на вокзал.

А вокзал это еще интереснее, чем 3-й этаж.

Смотреть, когда окаменеет воздух, упрутся животные облака и... трам-ту-тум... трам-ту-тум... *der-reichseinbahnen locomotiva* «Яссы – Кишинев» вырастет на глазах, как большое дерево из малой косточки. Что может быть веселее!

Трам-ту-тум... трам-ту-тум...

Когда-нибудь он увезет меня в... ну нет, об этом рано.

Ещё мне предложила дружбу Изабелла Броди, королева класса.

Её дядя – тот самый шпендрик, хозяин «*Comedy Brody*» на Торговой.

В детстве я думала, что он и есть *Шарло*³, только переодетый.

Ха-ха. Смешно.

Но сама Изабелла выскочка и задавала. Конечно, если я приму ее дружбу, то *Шарло* будет веселить меня, когда я захочу. Хоть 6 дней в неделю. И у *Грет Гарбо* не останется от меня тайн...

Но я еще не решила.

Ещё мне нравится Нахман Л., футболист и казначей команды «*Халуц*»⁴. Хотя он невоспитанный, рыжий и глотает слова, когда говорит. И хотя он мой 3-юродный брат, вот. Но мне нравится его бег, такой свистящий, лёгкий, будто мы родились только сегодня утром.

Ещё родители поговаривают о том, чтоб повезти нас с Шуркой в Констанцу к морю, а я никогда на море не была...

Но настали эти Ужасные Дни.

И всё остановилось.

¹ Ужасные дни – (Дни Третьего) – 10 дней молитв и раскаяния между Новолетием и Судным Днем.

² жандармы полиции – рум.

³ Шарло – Чарли Чаплин.

⁴ «Первопроходец» – ивр.

Другим не запрещают ничего (взять моего папу – он как сидел, так и сидит над своими *тетрадками*), а мне всё-всё. Тренироваться с обручем и лентой в саду – и то бабушка запретила.

Бабушка была недобра. Не жалела нищих. Никого не любила, кроме нас. Но в Судные Дни она делалась пуглива. Уединялась у себя за шкафом и бормотала там по-древнееврейски.

Яспросила: «*Bunikizo, da rkare din ferestrele nostre se uite spre Jerusalem?*»¹.

Она рассердилась и назвала меня бездельницей.

Бездельница?..

Неправда.

Вот мой табель.

Trigonometrie, Algebra, Literatura Romana, La Grammaire Francaise не снимают в нём униформы «отлично».

А если этого мало, то я еще и *tutore*.

Много вы знаете *tutores* в 16 лет?

Лично я не знаю никого (кроме себя!).

У меня три ученицы по 10 лей за урок! Две местные, а третья из Резены!

Ха! Возили бы ее к *бездельнице* из такого далека?

И при всём том я верю в Иерусалим, в море и в Грет Гарбо, на которую я похожа лбом и глазами.

А бабушка ни во что не верит. Даже в письмо от графа Толстого, полученное папой. Она понятия не имеет, кто такой граф Толстой, и все равно считает, что письмо поддельное.

Тем смешней показалось мне то гремучее внимание, с каким она в 1 000 000-й раз слушала Ёшку Г., бывшего папиного компаньона. Вруна и грубияна. Про то, почему он в бога не верит.

Нашла кому внимать!

Этот Ёшка давно покинул уезд. Никто не знает, где его носит круглый год. И только осенью, на исходе Ужасных Дней, он снова тут. Ест и пьёт у нас всю неделю! Храпит заливистым храпом в шалаше. А ведь из-за него наша пасека погорела: клещ высосал её.

...Мама принесла обед: салат, селёдку, потом суп, жаркое, но Ёшка заявил: «В животе перемешается!» и стал есть жаркое с селёдкой.

Ел он жадно, без удовольствия. Все 10 пальцев в жиру. И лицо его оставалось нервным, серым.

Не понимаю, зачем мы терпим его.

Сейчас он всё съест и станет хвастать. Про то, что в Черновцах у него пасека на 1000 ульев. И клещ их не берёт. И гнилец ни разу не пошёл. И что во Франции едят только его мёд. И никого другого. И из Америки уже заказы идут.

А последний номер программы – почему он в синагогу не ходит.

Это про Гусятин.

Негодяй! Из-за него мы без ульев. Только борти в лесу. Да и там лесораму строят. И если б мама не научилась шить комбинации и лифчики, забирающие живот, то на что бы мы жили?

Уф-ф-ф!

Я сижу с конспектами и готовлюсь к уроку с девочкой из Резен. Пытаюсь сосредоточиться на простых уравнениях, но Ёшка уже завел волюнку про Гусятин.

Когда-то он держал буфет при русской батарее. Пил вино и ел трэфное с казаками. И вот он увидел, как в Гусятине русские казаки согнали евреев на базарную площадь, потом приказали раздеться догола и танцевать друг с другом.

¹ «Бабушка, а какое из наших окон смотрит на Иерусалим?» – рум.

– Мужчин и женщин? – не поверила мама (ха-ха, всё как в прошлом году).

– Угу! – Ёшка стал ковырять пальцем в зубах. – Потом заставили ездить верхом на свиньях... у которых течки нет!.. потом стреляли!..

Я прекрасно помнила, какие ещё последуют «потом», но не верила ни единому слову. Просто Ёшка ленив для Судных дней. Вот и хватается за свой Гусятин – чтобы не постыдиться и в синагогу не ходить.

Следующие «потом» были про то, как:

– ... поливали керосином еврейские дома,...

– ...увозили телеги награбленного с тех пепелищ...

– ...а одного еврея вздернули на виселице за шпионаж (чихнул 3 раза – *анчих!* – *анчих!* *анчих!*)... – когда германский аэроплан в небе пролетал!...

А в Сагадоре... якобы... женщинам отрезали груди (за то, что у свиней течки нет).

Но про Сагадор мне не придется услышать: меня прогонят из шалаша.

Тут я посмотрела на бабушку.

Слепое лицо её едва выгребало из темноты.

Но с самых донц старческого её лица, обращённая на Ёшку, завивалась мышца взгляда такой оголённой силы, что я испугалась.

Ёшка сидел спиной ко мне, и спина его выдавала, что он утомлён, сыт. И что ему не терпится уйти. До следующего года.

Но тогда зашуршало в абрикосовых взвоях в нашем саду. Клеёнка на шалаше вздулась. Дождик прибился.

– А в Сагадоре они стали хватать женщин прямо на улицах! – добавил Ёшка, и нахальные глаза его в обмаке сагадорских видений стали сучны.

– Шейндел, выйди! – накинулись на меня мама и папа.

Ну вот, ну что я говорила!

...В саду мальчишки собирали расшибленный велосипед мануфактурщиков Тростянецких. Они нашли его на городской свалке и с победными воплями вкатили за лопухи в наш сад.

Мой брат верховодил сборкой.

Дождь грыз колючую полсть акации.

Кошелка зелёных орехов, ворованных в лесу, была спрятана за порожком сарая, мальчишки зубили их без остановки. Мой брат сделал рукой широкий жест – чтобы и я зубила (ага, и выпачкалась вместе с ним, и его меньше ругали!). Но я сказала: «Отстань, Шурка!»

Бабушкино лицо, обращенное на Ёшку из темноты, стояло у меня перед глазами.

Не сожжённые дома Гусятина, не отрезанные груди женщин... но лицо бабушки.

Я утешала себя тем, что бабушка неграмотна, а Ёшка врёт.

Бабушке 60 лет, и она никогда не покидала Оргеев!.. А Ёшка такой врун, что когда он говорит «Доброе утро», я иду на улицу и смотрю, что же там на самом деле: утро или ночь.

Разобранные педали, руль, колёсная цепь валялись на тёплой тряпке. Лицо моего брата в чёрных разводах от ореховой сажы было недовольное, но исподтайно-счастливое. И у мальчишек, его друзей, лица были злые, учёрпанные ореховой сажей, но всё счастливые, полные неистового предвкушения.

Они обсуждали, как соберут велосипед и поедут на нем в Иванчу и кто первый съедет к озеру с лесного склона.

От волнения голоса их стали грубы. Их злило и пугало, что братья Тростянецкие, узнав свой велосипед, могут потребовать его назад. На что мой брат объявил, что в таком случае он отвалит обоих братьев в пыли.

Он такой драчун, этот Шурка. Хотя и с ангельской внешностью.

И потом...

Одного взгляда на мальчишек хватило бы, чтобы понять: не было никакого Гусятин. Как не было Междуречья, Месопотамии, Эллады, Рима, про которые мы учили в гимназии.

Помню гравюру: виадук Карфагена, разрушенный римлянами. Её показал нам Пётр Константи́ну Буди́ч, профессор истории.

Вот и Гусятин был как та гравюра.

Еще профессор Буди́ч показал нам греческую вазу: Ахилл оплакивает Патрокла.

Вот и Гусятин был как та греческая ваза.

А в нашем дворе воздух, точно взятый из-под сита, низко слёг после дождя, пахучий до колик. Ястрая трава у сараев тытилась от свяжести. Безгрудое дерево осело, затяжелев от воды.

Нет, жизнь была *благом, благом*. Несмотря на Гусятин.

И хотя учебник истории твердил о бедствиях и разорениях, попялявших человечество в каждом веке... жизнь была благом даже с учетом Гусятин.

Миръ был сотворён заподлицо со мной, и не раньше, чем я родилась.

Если бы жизнь не была благом, то ни кино, ни море, ни бегущий юноша-футболист не сделали бы меня счастливой.

А я без подсказки чувствовала себя счастливой.

И потому мне жаль было нескончаемых трёх недель осенних праздников.

2.

Chantal. Мальчики. Gret Garbo. 1932.

Садовник Шор (мамин родственник) вернулся из Палестины и рассказал, что у молодежи там совместные классы.

Девочки с мальчиками!

Все мои подруги тотчас порешили ехать в Палестину.

А я?..

Ну, мне это не грозит.

Из-за папы.

Дело в том, что садовник Шор повез туда наш мёд... и не продал ни банки!

С тех пор папа и слышать не хочет о Палестине.

«Нем'н де кой аф'м бойден!»¹ – вот его слова.

Но мёд тут не при чем! Мёд это для отговорки.

Просто мой папа домосед и не интересуется ничем, кроме своих тетрадок (тетрадки, гм, садовник Шор тоже возил...).

Ну и ладно.

По-моему, это глупо – тащиться в Палестину ради мальчиков, когда у меня этого добра – целый гимнастический зал в «Маккаби». На 3-м этаже!

¹ «Не тащите корову на чердак!» – идиш.

Мои подруги считают, что все мальчики ходят туда из-за меня.

Не спору: они неумелые гимнасты.

Особенно Унгар, сын богачей-коневодов. Этот вообще груша: зависнет на перекладине, и – привет. Даже одного раза подтянуться не может.

Впрочем, мне нет дела.

Оргеев, 1932, ноябрь.

Ещё мои подруги утверждают, что я завиваю волосы особым образом. Как у Греты Гарбо в «Анне Кристи».

Вот ерунда!

Еще не родился человек, ради которого я стану выделывать что-то особенное со своей внешностью.

И потом я реалист. Эти влюбленные мальчики, эти неумелые гимнасты, уже давно спланировали своё будущее. Самые толковые из них откроют докторские кабинеты, адвокатские бюро. Они все до единого женятся на обезьянах с приданным. А меня Ёшка разорил.

Ну зато...

Зато я одна из лучших учениц в женской гимназии.

Нет, я самая лучшая.

И потому:

– я «Скутитэ де таксэ»¹, а обезьяны выкладывают до копеечки, 2400 лей в год,

– тетрадки и книги достаются мне за так, а обезьяны платят по полной,

– я готовлюсь в докторскую школу в Кишинёв, а обезьяны целый век скоротают в провинции.

А ещё у меня пальцы рук, как у Греты Гарбо: водорослевые, удлинённые.

И ещё...

...меня...

...выбрали...

... (я не шучу!!!)...

...меня... выбрали...

...королевой бала... (правда!!!)

Дело в том, что в городе давали бал (в честь какого-то *Lord Balfur*), и меня выбрали (но только не смейтесь!) *королевой*.

И вот что из этого вышло!

2 ноября, 1933 года, Оргеев.

3.

Chantal. Королева бала.

В «Маккаби» было собрание с оркестром.

Зал убрали в белое и голубое.

Тростянецкие, Глюсгольд, Воловский, М-ше Резник с мужем... весь *bon monde* был тут.

Объявили сбор средств на Палестину...

...из оркестра выхлопнуло музыкальное пламя...

...прямо целый огненный язык тарелок, труб и литавр...

...распорядитель подал знак...

¹ освобождена от платы за обучение – рум.

...и мы с Аркадием П. из выпускного класса вышли из-за портьеры...
...и двинулись со своей коробкой между столов...

Аркадий П. был такой красивый, видный, что за столами все отвлекались от dessert и бросали деньги в коробку.

В ответ мы прикалывали бело-голубые флажки к пиджакам и платьям.

... потом закудрявились скрипки перед тюлевым занавесом...
... я оглянулась на их взволнованный шум...
...«Выбираем королеву бала!» – объявил распорядитель...
...и тогда я услышала «*CHANTAL DAITCH*», произнесённое с ударением...
...я?...
Я???!!!!

Как во сне я подставила голову под венок.

Аркадий П. стал отбирать у меня коробку с пожертвованиями, но я вцепилась в нее мёртвой хваткой. Все засмеялись.

Только 1 человек не смеялся, не аплодировал вместе со всеми: М-ме F. из секретариата гимназии. Она протиснулась ко мне и зашипела не размыкая губ: «Посмотри, который час! А ну-ка марш домой сию минуту!..»

Действительно, я забылась, как Золушка. 9-й час¹ исходил.

Но испуг мой не остался незамечен.

Подскочил худощавый мужчина в смокинге.

Азарт плескался в его глазах.

– *Ve rog, facee o excepție!*² – затараторил он весело. И даже приобнял М-ме F. за плечи. – *Numai in chinstya deklaratie Bal'fur!*³

Он был такой самоуверенный, веселый, что я застыла в робком ожидании.

Увы, она и слышать не хотела.

Тогда сам распорядитель бала вызвался доставить меня домой.

Но худощавый мужчина в смокинге опередил его.

Городок был тёмн.

Даже *une promenade* с городским сквером – и та оскорбительно-темна.

Подъезжаем.

Вылетаю из двуколки.

Смотрю: Шурка на голубятне.

Я ему: ты кого тут высматриваешь в темноте?

Он покраснел как рак.

¹ После 8 часов вечера гимназистам запрещено появляться в публичных местах.

² Прошу Вас, сделайте исключение! – рум.

³ Ну хотя бы в честь декларации Бальфура! (рум).

Declaratie Balfour (Декларация Бальфура) – «Правительство Его Величества Королевы Великобритании относится благосклонно к установлению в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все свои усилия, чтобы облегчить достижение этой цели...» (2 ноября 1917 года).

Двуколка отъехала от нашей калитки, и тогда Шурка спрыгивает с крыши и говорит: ого! Ну ты и отхватила кавалера!

Оказывается, это был сам Иосиф С (*тайнбарг*).
Лесозаводчик. Наш спаситель.
Который убьёт нас, если увидит наши борти в лесу.

Вот никогда бы не подумала.

4.

«Сам Иосиф С (*тайнбарг*)». 1933.

Год назад Шурку выгнали из гимназии, и лесозаводчик Иосиф С. поехал хлопотать за него в Бухарест.

Шурка бандит, но до сих пор ему сходило.

Даже когда он до полусмерти напугал дочку примара¹: наловил речных жаб и забросил ночью в ее окно... и то ему сошло – из-за его ангельской внешности.

Но недавно его (вместе с 2-мя дружками) выгнали из гимназии.

За стишок², что они декламировали на перемене.

Их подслушал П.К. Будеич, профессор *la katehizm*, проходивший по коридору.

Оказалось, это надругательский стишок.

Об этом даже в газетах поместили: «Молодые еврейские недоумки из Орgeeва надругались над румынскими святынями!»

И хотя Шурка клялся, что они и слова такого не знали: *на-дру-га-ться*, и что стишок этот во весь голос распевают крестьяне на базаре, ничего ему не помогло.

М-me Angel осталась непреклонна.

«Неграмотным крестьянам на базаре – можно!.. – объявила она Шурке. – Но – вот разве что *крестьянам!* И при том – *румынским!*..»

И подписала указ об исключении.

Мама ни о чем не знала.

По утрам Шурка «уходил в гимназию» с сумкой учебников. Гонять голубей на окраине.

Он умолял меня не выдавать его.

Я бы не выдавала, но мне приснился сон: цыгане заманивают его в лес.

Еще бы. Такого херувимчика.

Проснувшись в слезах, я объявила, что не буду более закрываться.

Шурка встал в дверях, но я оттолкнула его.

Тогда он обещал, что не будет уходить на окраину.

«А куда? – вздохнула я, вытирая слезы. – Где тебе околачиваться в самом деле?»

По правде я сама не могла придумать, куда ему идти.

¹ городского головы – рум.

² Вот этот стишок:

«Трэяскэ Романиа маре ши...» (рум.) – «Да здравствует Великая Румыния и...»... и... и... нет, дальше я не могу. Вот там-то и содержится *над-ру-га-тель-ство*.

От безысходности он поплёлся в *Талмутойрэ* (религиозная школа). Хоть там и не дают аттестата.

Но через несколько дней я заметила, что грудь и плечи его избожжены солнцем, а на руках плесень и смола.

Оказалось, он ходит к мануфактурщикам Тростянецким.

У них гостил женатый сын из Праги, студент-социалист.

Молодежь роилась вокруг него.

Он запретил папаше нанимать крестьян, но привлек молодежь для очистки колодцев и дробления винограда.

Я искала случай взглянуть на него.

Он оказался малого роста, но с калачовой мускулатурой.

Жена его, девочка по виду, была на сносях.

...И тогда к нам явился Хасилев-старший (отец другого *недоумка*). С какими-то бумагами.

«Ура, мы спасены! – сказал он маме. – Сам лесозаводчик Иосиф Стайнбарг отправляется в Бухарест – хлопотать за наших балбесов! Знаете, какие у него связи!!! Ух!!! Ему покровительствует *M-me Stefanika*, теща сами знаете кого!..»

И велел маме – расписаться под ходатайством.

Мама расписалась.

Но после ухода Хасилева она как соляной столб выставилась посреди комнаты. Как если бы она застала папу за его тетрадками. А затем принялась бить Шурку. Щипать его и царапать. Шурка закрывал лицо, выл от оскорбления, но я видела, что он счастлив. А я еще больше.

С того дня «Лесозаводчик Иосиф Стайнбарг» не сходил у нас с языка. Упоминания о нем были часты, как моргание век.

Хотя лучше бы он не знал о нашем существовании. И о наших бортях в лесу.

Еще о нем.

Я думала, он *bon mond*. Как Глюсгольд (банкир). Или братья Тростянецкие (мануфактура).

А он не толстый и не старый. У него блестящие глазки и носик с весёлыми кружочками-ноздрями, выправленными наружу.

Мне бы и в голову не пришло, кто он на самом деле.

В Бухаресте он добился Шуркиного восстановления в гимназии.

Представляю себе рожу П.К. Будеича. *Профессора... ха-ха!.. la katehizm!*

Но – увы. Он (Будеич) в Реуте утонул...

1933, март.

...под скальным монастырём, выручая двух гимназистов, оторвавшихся от экскурсии.

Говорили, что он из Братства Креста¹ и у него зелёное рубище под костюмной парой.

Никогда не забуду лекцию «Великая Румыния», прочитанную им в 1-м семестре.

¹ Братство Креста – национально-религиозное движение, созданное в Румынии крайне правым политическим деятелем Корнелиу Кодрану.

Не забуду, как на словах «*Запомните, воры и прохиндеи...*» голос его перехватило от волнения и судорога страдания по лицу прошла.

Вот полная фраза: «*Запомните, воры и прохиндеи, что со времен сарматов и скифов, гетов и даков, не по суду людскому, а по священному установлению Богову, земля Трансильвании есть наша, и земля Добруджи наша, и земля черноуцкой Буковины, и все однажды сотворенное Отцом Небесным от Прута до Южного Буга, – все это наша, святая румынская мать-земля!*»

Бр-р, как красиво!

Но он утонул, и я сослала бы его
в Карфаген,
в Гусятин,
в Трюю.

Но он пролежал полных 3 дня в Успенском Храме – точно бы упиваясь своей смертью.

Не понимаю.

Евреев хоронят в день кончины. Человек не успевает побыть мертвым. Но переселяется из Оргева в Изкор¹.

А этот – пролежал 3 дня.

Только в июне перестала я думать о смерти – когда «Маккаби» делегировал меня на слёт.
В Кишинев!

Я так много слышала про Кишинёв, что боялась разочарования.

Но Зиновий Б., председатель группы, обещал, что после парада отвезёт меня в Докторскую Школу за анкетами (откуда только пронюхал?!).

21 июня 1933 года, Кишинев.

Но Кишинёв оказался ещё прекрасней, чем я представляла.

Мы шли колоннами.
Мальчики в бриджах, девочки в шортах-юбочках.
Барабаны с валторнами – по краям.

Проспект был параден: тротуары выделаны по-столярному остро, покрашенные деревья держат выправку.

Мы встали у Триумфальной арки. Солнце пело на её золотом циферблате.

Теперь я могла вертеть головой по сторонам, рассматривать колонны, флаги.

Вот «Халуц»... вот «Поалей Цион»...² Другие полотнища, с вензелями королевского дома, с круторогими буйволами и пучками колосьев – не были мне знакомы.

Любопытные толпы горожан обступали площадь.
Великаны-*gendarmes* отглавливали за шкирки проказников-детей, искавших затереться среди нас.
И Триумфальная арка высилась в нашу честь.

А сразу после демонстрации подходит ко мне футболист Нахман Л. (бывшая симпатия! ха!) и с равнодушной миной протягивает конверт.

«Что это?» – я состроила ему такое же безразличное лицо.

«Зиновий передал!» – выдавил он из себя.

¹ поминальная молитва – ивр.

² «Первопроходец», «Трудящиеся Сиона» – ивр.

То был конверт из Докторской школы при Казённой Больнице – с анкетами для поступления.

Как вовремя!

Ура!

До сих пор я понимала мирь как рамку. Гора, река, скороидущее небо над ними, косодревый Оргеев, мощённый в торговой части, были сколочены по мне как рамка (даже бегущий юноша-футболист – и тот приходился мне троюродным дядей).

Но профессор Будеич вышиб ее своею смертью.

Но – ура!

Я поступлю в докторскую школу.

Я перееду в Кишинев.

И... родюсь... рожусь там заново!

5.

Через 40 лет.

Витя Пешков (ее внук).

Кишинев.

Мне было 10, почти 11 лет, когда... и мы поменяли квартиру с Ботаники¹ в Центр – подальше от Долины Роз с ее проклятым *озером* в низких ивах и топких берегах.

Но зато с нами Лазарев стал жить.

Пока мы жили на Ботанике, Лазарев был только гость. А когда переехали в центр, то пришел с туристским рюкзаком и поселился с нами.

Да, теперь я его видел каждый день. С понедельника по пятницу, а также в субботу-воскресенье.

Но он был такой изящный, весёлый, с светлой бородой и песочно-карими, всегда задерживающимися на тебе глазами, что всё равно как гость, а я люблю гостей.

Но он подкинул мне общую тетрадку марганцового цвета и велел записывать в ней.

«Это хронограф!.. Просто пиши, что было! В 2-х словах! Но ежедневно!..»

«А нафиг?»

«Ну чтоб от Геродота не зависеть!»

«Кто это? – не понял я. – Геродот?»

И посмотрел на маму.

– Это в том смысле, – предположила мама, – что человек в ответе за свои поступки, так, Лёша?..

– Нет, не так! – отвечал Лазарев. – А только чтоб *Пафнутием* не назвали!..

– Каким еще Пафнутием? – мы с мамой рассмеялись.

Один Лазарев оставался суров.

¹ Ботаника – микрорайон на Юго-Востоке Кишинева.

– Пройдет 100 лет – и кто докажет, что ты был Витька? – спросил он, уставившись на меня. – А не *Пафнутий!*.. Не говоря уж – через 1000 лет!..

Смешно, короче.

Ну да ладно.

Хроники так хроники.

Тем более что он приз обещал: абонемент на «Нистру» – если буду эти хроники писать.

Хроника 1.

(пока что только в уме, но скоро – и на бумаге!).

Красную цену себе в дворовом нашем футболе я не отважусь подбить и сегодня.

Апель и Гейка играли лучше, Аузел и Волчок – бесстрашнее и грубее, толстый Хас, Вовочка и Боря Жуков не превосходили меня ни в чем, но были уроженцы двора, а я пришел лишь в 1972-м, как одноклассник Хаса, когда мы переехали с Ботаники в Центр.

Пока я жил на Ботанике, мы с Хасом не были друзья. А только учились в одном классе.

Но теперь я жил на 25 Октября, 67, а он на Ленина, 64, это через два квартала.

Стали ходить из школы вместе. Мимо политеха, планетария, художественного музея... мимо кинотеатра «Патрия», закусочной «Огонек»... мимо дома правительства, биржи болельщиков на Пушкинской... мимо главпочтамта и магазина «Военная книга» (запомнил, тов. Геродот?!)..

И тогда он спрашивает – а сколько пацанов у тебя во дворе.

Я признался, что всего двое: я и еще один малый из второго класса, правда, здоровый.

А у них наберется на три команды, похвастал Хас. Не считая малых. И они играют за ЖЭК-го на «Кожаный мяч».

Вот это да!

Но и это еще не всё.

Каждый год ЖЭК выдаёт им форму с гетрами!

Да ну!

Слишком красиво – чтоб быть правдой!

Надо ли говорить, что на Ботанике ни у кого не было формы.

Тем более гетр.

Заслушавшись, я проводил его до Ленина-Армянской, это целый лишний квартал, и тогда он говорит: приходи играть после обеда.

«А уроки?» – хотел спросить я, но постеснялся.

23 апреля 1972-го, Кишинев.

Бабе Соне я соврал, что уроков не задали.

Она с трудом усадила меня обедать.

Через полчаса.

...Хас подждал меня на ступеньках «Спортоваров».

Издали я увидел его.

В квадрате футбольных белых трусов с красными лентами по бокам и в шерстяных чёрных гетрах с белой поперечинкой на икрах он выглядел пугающе-спортивно для колобка и душки, каким я знал его по классу.

Мы двинули по 25 Октября.

Повернули на Армянскую возле Дома быта.

Беспорядочный людovorот повлек нас вдоль кремля центрального рынка, но Хас не растворялся в толпе.

Еще бы! Запусти его хоть в миллиард китайцев, он и там просиял бы в своей форме с гетрами.

Наконец мы нырнули в какой-то пролаз, где железная колодка торчала в асфальте – чтоб машины не ехали.

Там начинался двор.

Двор был истыкан тополями.

Тополя перерастали пятый этаж.

Фигурки в гетрах носились по росчисти, утопанной до стука.

И – не во сне ли я все это вижу – голевая сетка меж двух тополиных стволов!

Голевая сетка!..

Как бомбардир я не знал голевой сетки до той поры.

На Ботанике разведут два булыжника – и все ворота. А здесь настоящая голевая сетка. Я даже затрепетал от отпышки её ячей.

И играли не куча-малá, как на Ботанике, а один на один до гола.

У Апеля была тетрадка и стержень.

«Пешков», – назвал Хас, и Апель записал меня в таблицу.

<i>На Ботанике</i>	<i>никто</i>	<i>не чертил таблиц.</i>	<i>И я сейчас же</i>	<i>понял,</i>
------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------	---------------

*что футбол без таблицы – это
просто возня в пыли.*

Я не знал, кто есть кто в дворовой иерархии, и обыграл Сёргича и Волчка в 1/8 и 1/4 финала, хотя они оба были в гетрах.

Ну, Сёргич, это ладно: он из 4-го класса. Но Волчок был старше меня на год. Тем более Аурел – тяжелоногий, рослый.

Но я обыграл и Волчка, и Аурела (в 1/2 финала).

Так желтки с сахаром не взбивают в миске, как взбивал я им плюхи в сетке.

Тогда Апель отложил таблицу и выбежал против меня.

С первых его финтов было видно, что в футболе он умеет всё. Просто кувшинка и стрекоза футбола. К тому и все болели за него.

Вот так я попал во Двор.

На Ботанике – что в футбол играть, что в свинчатки-чушки, всё равные занятия.

А здесь футбол был как факельное шествие!..

На Ботанике – играли на поджопники.

А здесь – на *Кубок богини Nike* (ветка с цветами – в бутылке из-под лимонада)!

На Ботанике – Пешков (отец), к-го я не помню.

А здесь... *Лазарев!!!*

Который курит длинную табачную трубку. Настоящую! И говорит про Геродота.

6.

Хроника 2.

(Все еще в уме. Но скоро сяду и запишу!)

...И вот наступил этот день!

(Хотя я не верил, что он настанет!)

Нас позвали в ЖЭК – получать форму!

Форму выдавала Аннушка-кастелянша.

«Ставь подпись за комплект!.. Ставь подпись за комплект!»

В жизни не слышал такого писклявого голоса.

А кому какой номер – ей до лампочки.

Я мечтал о «9» или «11».

Но они достались Апелью и Гею.

«10» забрал кудрявый Крецу. Все знали, что он костыль и играть не умеет. Но он состоял на учёте в детской комнате милиции, с ним не хотели связываться.

«6» – Молдове, «8» – Аурелу...

Мне... 15-й номер.

Поначалу я не расстроился.

24 июня 1972 года. Кишинев.

Мы переоделись у гаражей и – в путь!

Всей ватагой через вторую секцию.

Доминантные, как до мажор.

Видные, как конная милиция.

Утро было только-только с грядки, такое свежее.

У дворовой эстрады высоченные тополя сходились вгущь, укрощённое солнце едва доплёскивало сквозь них.

Было полно мамаш с колясками, все смотрели на нас.

Здесь же, в тени на лавочке, сидела женщина с запрокинутой головой и тянула вязальную спицу через спинку стула.

Это была *слепая Даша*¹...

Все время она попадает на пути!

Через арку мы вышли на проспект.

Перебежали на ту сторону и сели в «четвёрку» возле ДК «Стяуа Рошие»².

Только тут, в троллейбусе, я догадался спросить: а где играем?

¹ *слепая Даша – родная сестра Лазарева.*

² *«Красное Знамя» – молд.*

Оказалось, что... гм-м... на Ботанике.
Вот ёлки!

В троллейбусе опять все глазели на нас.

В гетрах я чувствовал себя как бог. Как Анатолий Бышовец в своем роде.

Жаль, никто из чухих не видит. Хотя сразу несколько чухих из нашего класса живут на Ботанике (Трачевская, Коровкина, Живаева, Кенигфест... – запоминай, Геродот!). Я даже поозирался по сторонам – нет ли кого-нибудь из них в этом троллейбусе. Увы.

И вот – Ботаническая горка.
Долина Роз.
Озеро с дамбой (мамочки!).

100 лет я не был тут.

И подписываюсь еще на 200.

Не жаль мне на Ботанике ничего. Ни кинотеатра «Искра», ни чёртова колеса в Долинке. Ни Вовы Елисеева, моего лучшего друга...

Хотя кинотеатр «Искра» самый современный в городе. Свет в нём угасает по углам, незаметно, волшебнo. Точно сказочный яд вливают в ухо.

И с *чертова колеса* в Долинке видно, что Земля и вправду колыбель человечества.

И 2-го такого друга, как Вова Елисеев, у меня нет и не будет никогда.

Но... всё.
С Ботаникой я покончил.
Навсегда.

Через 2 часа.

Играли на поле 28-й школы.

Столько команд в формах – аж в глазах рябит.

...Но я просидел полные 2 игры в запасе. Хотя Крецу только и знал, что костылить, и Аурел играл как ж-па. А уж Волчок в воротах какие пенки ловил, я молчу. И Апель только угловые подавал вместо того, чтоб вести команду за собой.

Наши сдули 0:4, 0:7. Добровольно никто не заменился.

Оставался последний матч.

Я решил не ждать у моря погоды и выбежал под шумок со всеми.

Мы построились полудугой.

Судья жевал свисток и переводил взгляд с секундомера (...22... 21... 20...) на нас (...17... 16... 15 секунд до начала матча!).

Вот он уже не отрываясь смотрит на секундомер.

(...14... 13... только бы не отловили до свистка!).

(...9... 8... 7... знали бы вы, какой футбол в моих гетрах надувался!).

(...5...4...3... по свистку затеряюсь в общей куче... 2... 1...).

«Двенадцатый!» – полохнулось в полудуге соперников напротив.

Возник злой переполох, и меня погнало с поля.

Наши сдули и последнюю, третью игру.

Всё, финита.

Построились «линейкой», сыграли туш.

Тогда и подвела моя дружба с Хасом. Я перестал ходить к ним во двор.

А потом они с Апелем сподличали, выманив у меня мою форму с гетрами.

Но об этом в след-й хронике.

7.

Хроника 3.

(прощай, форма!)

Потом жирный Хас и Апель заявили ко мне и выманили мою форму: трусы, майку и гетры. Вот как это произошло.

1972, июль, Кишинев.

Было 11 утра, они шли из «Бируинцы» после утреннего сеанса, а я выскочил на балкон за какой-то дурацкой надобностью.

Они шли по моему кварталу той особенной походкой, как только летними каникулами ходят после утреннего сеанса: оживлённо-потерянно, с нервной бесцелинкой. Это когда день только начался, а кино уже было.

С балкона я нырнул обратно в квартиру.

Почему-то я не ждал добра от встречи с ними.

Баба Соня вывешивала стирку на дворевом балконе.

И я хорошо расслышал Хасово «Витя дома?», обращённое к бабе Соне. Без «здравствуйте», без «извините»...

Мы уселись под виноградом напротив 2-го подъезда, и Апель показал мне лист бумаги с крупно выписанным «ГДЕ БЫЛ ПЕШКОВ?» якобы от руководства ЖЭК-го.

Нигде я не был, отвечал я. В своем дворе был.

Тогда форму отдавай, сказали они.

Мол, в ЖЭКе требуют. Раз я на тренировки не хожу.

А я и не знал, что были тренировки.

Как зачарованный, вынес я им форму, уже отглаженную, теплую, собранную для хранения в шкафу.

Только кеды я им не вынес, но кеды без формы ничего не значат.

Позже я узнал, что они меня обманули. Без всякой цели. Только потому что начало дня, а кино уже было.

Это плохо.

Это катастрофа.

Посмотрят на меня, допустим, издалека. Из какого-нибудь 40-го века. Или из мегазвездного скопления М13. Как я докажу – что я это я? А не Пафнутий какой-нибудь.

8.

Хроника 4.

А город мой зелен был до того, что в обвое аллеи, озерных плавней, дворовых олешиников казался кривоул и провинциален. И хотя по проспекту тополя были отрѣпаны во фронт и окублены как пудели у министерских зданий, всего-то полукварталом ниже косились акации-солохи да древние мощи шелковиц ходили под себя багрецовой ягодой, и асфальт был липок и лилов.

Июль 1973, Кишинев.

В дворик мой запахнуто было столько неусадчивого цветенья, фруктовых копн и ополченных тополей, столько виноградниковой мохны, астр, георгинов, что и просластное солнце лишь выборочными врезками ложилось здесь и там, не задевая наземистые прохладу и тени...

И я старший из детворы!

Мы водили бесконфликтные тихие игры: войнуха... прятки... футбол. Да, футбол... До сих пор мне хотелось его слабого раствора. Не интриг, не драк, не унижений «Кожаного мяча», а нового рывка, неизъяснимого разворота.

В том году вместо травмированного Бышовца в Киеве заиграл Блохин. Левша и лебедь советского футбола. Он был легкоступней, полетнее, разболтаннее в крепленях. И, значит, был у него финт: до того, как защитник набежит, прокинуть мяч далеко вперед и лететь вослед, как воздушный шар с газовым свистом.

Никто не мог сладить с этим финтом!

И как поют под любимые пластинки, под Том Джонса, Муслима или Адамо, так шлифовал я свой бег и обводку под блохинскую взмывающую игру.

Удовольствие мое было бы полным, если б не Шаинов из 12-й квартиры. Мильтон на пенсии. Ревматик с тростью. Он запрещал топтать траву. Только чиркнешь спичкой футбола, он тут как тут со скандалом. Хотя сам болельщик: всякое утро Вера-почтальонша подносила ему свежий «Сов. спорт» в росе. А киоскерша у «Бируинцы» откладывала «Футбол-хоккей» по понедельникам.

До «Бируинцы» 2 минуты на «Орленке». 4 минуты легким бегом.

Но для Шаинова это мучительный поход.

От ревматизма его закручивает на каждом шаге.

«Постой!.. Остановись, кому говорю!.. Не в службу, а в дружбу!» – заводил он по понедельникам, когда я как ястребок пролетал мимо на «Орленке».

Ладно, я не вредный. Сгоняю за «Футбол-хоккеем» к «Бируинце».

Соседи всё-таки.

Однажды я купил там «64». Хотя и не думал покупать. Хотя у меня и денег не было (кроме 3 коп. на газировку). Просто киоскерша вдруг раз под прилавок и достает: «Надо?.. Для **своих** держу!..»

Я сказал: «Надо!» И отдал 3 коп. (с меня еще 2). Приятно все-таки – быть **своим**.

К удивлению моему, Лазарев обрадовался покупке («Ух ты, ленинградский межзональный!») и кинулся в кухню за ножом.

«Надьк, смотри! – стал он разрезать сдвоенные полосы. – Ларсен, Таль, Корчной... (вжик-вжик!). Тайманов, Глигорич, Карпов!.. (вжик-вжик!).. Надька, ты за кого?..»

– Мой жених! – вытерев об фартук руки, мама ткнула в одну из фоток на ободке таблицы. – Несостоявшийся!..

– Вот как?.. А я за Талья! – рассмеялся Лазарев. – У меня у самого 2-й разряд был в детстве!.. А ты? – спросил они меня. – За кого?..

– За «Динамо», Киев!.. – отщутился я (мне эти фамилии ничего не говорили).

Но теперь мы с Лазаревым стали ловить «Маяк о спорте» по радио и заносить результаты в таблицу. Но «Маяк о спорте» это аж в 23.00. Пока дождешься! От нетерпенья я завел свою таблицу (в тетрадке по арифметике). Результаты – по 6-гранному кубику.

По обеим версиям (по кубику и по «Маяку») лидировал Анатолий Карпов.

Он был худенький, прозрачный. Весенний, как березовый сок. Серьёзность, юность, незатрёпанная талантливость светились в нем.

Но свечение его колебалось от тяжких всхрипов В.Корчняка (это который «мой жених»), колдыбавшего следом. Помятый, пожилой, бизонистый, с турецкими злыми глазками, налитыми удивлением и упрямством, он не хотел отставать.

Я затирал его в моей таблице. Но он отыгрывался в сводках «Маяка». И как настойчивый ухажер-наильник, достиг своего в последнем туре.

Делёж 1-2 места.

Впрочем, тогда, в июне-июле 1973-го, Корчняк мог выглядеть и по-другому: спокойней и нейтральней.

Неприятностям его суждено было начаться после.

Мое описание заимствовано из рассказа Лазарева и относится к 1975-му году.

9.

Нет, Лазарев это вещь!

Исполнение всех желаний.

Вот мечтал я о велосипеде «Орлёнок». Он и приволок: не новый, с проржавью, но на ходу. Тросик ручного тормоза был сжёван, и мама запретила мне покидать двор. Тросики продают в «Авто-Вело» на базаре, и Лазарев обещал, что мы пойдем и купим.

Ещё он отвалил нашу Марью-домработницу. Клёво! Не люблю я этих Марьиных уборов по четвергам: голизну стекол без занавесок, мокрый ветер в комнатах... Оказалось, что и Лазарев этого не любит. Р-раз, и Марья перестала приходить.

Ещё у него есть магнитофон «Юпитер-202» с пленками Том Джонса и Далиды.

Еще он конькобежец, один из самых ловких на Комсомольском озере.

Еще он сечет в астрономии и говорит, что с Земли послан сигнал к галактикам М13, и теперь всё зависит от того, будет ли ответ от братьев по разуму.

«А вообще-то блеф! – заявил он как-то за обедом. – Астрономия есть наука о наших телескопах! Не более того. Реальный же мир не познаваем в принципе. Да и есть ли он на самом деле, этот реальный мир?»

«Новости дня! – попеняла ему мама. – Гегельянство какое-то!..»

Но она попеняла ему не строго. Не так, как она кидается на любого, кто только смеет ей возражать.

«Гегельянство? А вот и нет! – посмеялся Лазарев. – Полагаю, что познать можно только самого себя!»

«Ну тогда это эгоизм! – воскликнула она. – Это малодушный побег от мира!»

«Не эгоизм, – поморщился он, – а частное бессмертие!..»

Я ни слова не понял. Но все равно интересно!

Нет, Лазарев это вещь.

Лазарев это снисходительность мамина, это сказочный аромат табака в комнатах, это вино и торт в будни.

Это первая мысль по утрам – не пришел ли ответ из звездного скопления М13, пока я спал?

Эх, если бы он только предложил: «Будь Лазарев, а не Пешков!» – я бы подпрыгнул до потолка: «Ура! Буду!»

Потому что выбор между Пешковым и Лазаревым это выбор между Ботаникой и Центром. А мне в Центре за...сь. Даже включая жирного Хаса.

Но не включая слепую Дашу, которая по целым дням сидит перед подъездом и тянет мотки шерсти через спинку стула.

Кого-кого, а слепую Дашу я бы отменил: всегда она лезет обниматься с этими своими полузакрытыми и вывернутыми куда-то в сторону глазами.

Это так страшно, что я прямо не знаю, как быть.

Наверное, я не должен вспоминать о ней. Решить, что ее нет на свете!

Зато во всем остальном я просто счастлив в Центре.

Я понял это во второе лето,

Июль 1973, Кишинёв.

когда мама и Лазарев поехали с тургруппой в Югославию.

Полдня мы провожали их. Я бегал с одного балкона на другой – высматривая такси.

А когда оно приехало, мы поторглись с чемоданами во двор.

От слёз у меня щипало в глазах.

Но я знал, что будет хорошо. Так хорошо – как никогда не было и не будет!

Без мамы режим дня распадется на нитки. Лето, остропгичья мохна дворовых тополей, велосипедное свиристенье в Соборном парке, телевизор до 11 ночи – перестанут быть пунктами порядка. Но пустят свой собственный пьяный сок...

И еще:

– баба Соня не запретит мне ночлег на балконе,

– утром я буду спать до обеда,

– кушать только если голоден,

– не возьму ни одной книги в руки,

– спокойно рассмотрю голых тётки во «Всеобщей истории искусств».

Такси уехало. Мы с бабой Соней остались у палисада.

И тогда цвет воздуха изменился.

Вокруг все потемнело – как в кинотеатре перед фильмом.

Это гроза выпахтывалась над сараями.

Она шла с Боюкан. И гремела так штутко, точно костяные шары вылетают за бильярдный борг.

Мы вступили в подъезд, и в ту минуту обвально полилось снаружи.

В подъезде запахло замокшей пылью.

Мы поднялись в квартиру.

В то лето, как полевая тварь в логове, сложился я по образу квартиры, укрывшей меня с моими таблицами.

Она задакивала меня всяким порожком, плитусом.

Дуплящаяся в стволе Центра, одним балконом в филармонию, другим в тополиный двор со стеной сараев по границе, она выдает план моей личности. Она – дворец моей грудной клетки, черты моего лица...

И хотя баба Соня утверждает, что ул. 25 Октября это бывшая *Carol Schmidt* (при румынах) и что 40 лет назад тут какая-то Хвола жила (во 2-м подъезде), я не возьмусь откапывать чу-

жую Трою. Мне только надобно, чтобы бурная каша моего (моего!) воскресенья стартовала именно здесь.

В ходе многих лет докучал мне один повторяющийся сон: мы почему-то снова на Ботанике. Душевная тоска, поедавшая меня при этом, и с солнополем пробужденья уходила не сразу.

10.

40 лет назад.

Chantal... Хвола... 1933 год.

Докторское училище устроено аж на Валя Деческу (с. Боюканы).

В дороге я намерзаю, как вода в бочке.

Приходишь в класс – там печь с угаром.

Ноябрь 1933, Кишинев.

И Унгар тут. Этот жирный Унгар – в ветеринарной школе.

Притащился за мной аж в Кишинев.

Прогнала бы его!

Но я делю комнату с Изабеллой Броди и Любой Пейко, а они обожают кататься в его фэртоне со шкурами.

Он бывает у нас всякий день (вынуждая меня сидеть в училище до темноты).

Мало того.

Мама пишет, что в Оргееве меня уже выдали за Унгара.

И что-то я не слышу недовольства в её тоне.

Эх, не видит моя мама, как я топаю с Боюкан в ночи (грязь – похуже, чем у нас в слободке. И пьяницы голосят у заборов).

И ещё этот Унгар говорит, что загипнотизирует меня (он берет уроки у гипнотизёра Маркова).

Я делаю вид, что не боюсь.

Последней каплей стали именины сестры Унгара.

Вся их мелиха прибыла из Оргеева: родители, сестры...

Я бы и не подумала идти.

Но – делать нечего – мама передала мне зимнее пальто с мамашей Унгар.

В воскресенье мы явились к ним на Садовую.

Молдавский жаркий ковёр лежал, как задумавшийся, в коридоре.

Было натоплено до обморока.

И вдруг... мамаша Унгара...

Пропустив Белку и Любу по лестнице наверх, она останавливает меня возле скрипучих ступенек. Обнимает и говорит: «Вот такая мне нужна!»

И смотрит – точно гипнотизирует.

Ну всё.

Довольно с меня!

II.

Шантал. Трамвай. Хвола-страхопола. 1934

Я сижу в концессии и пишу письмо в Оргеев.

О том, что мне... м-м-м... плохо в Кишиневе.

А до сих пор врала, что – все прекрасно, лучше не может быть!

Ложки-миски черябаются за занавеской, там шофера обедают. Важные письма я всегда передаю с кем-то из оргеевских шоферов.

Декабрь, 1934, Кишинев..

Дверь с улицы хлопнула.

Н-да, культура. У нас в Оргееве неграмотные царане – и те придерживают дверь, когда входят.

Белые боты в калошах проследовали к занавеске.

Я подняла глаза – посмотреть, кто этот невежа...

Это был... лесопромышленник Иосиф С.!

Ну *тот*.

Ну *бал* в «Маккаби». Со смешными дырочками в носу.

Он скрылся за занавеской.

Я вытянула ноги под столом. Главное, что ботинок не видно (которые протекают).

– Королева бала! – обрадовался он, выйдя от шоферов. – Вы что здесь?..

– А Вы? – я сидела перед ним враскидку, с вытянутыми ногами.

– Я?.. В шофера нанялся!.. Ха-ха!.. Шутка!.. – и посмотрел, проверяя впечатление. – Я... гм... автобусную концессию выкупил!..

Он был в фуражке с опущенными ушами. Как студентик какой-то.

Моя поза казалась мне теперь неприличной.

Я свела колени под столом.

– Я наведу тут порядок! – поделился он. – У *моих* автобусов будут имена – как у пароходов в океане! И, кажется, я знаю, какое имя будет у самого новенького из моих... автобусов!..

И засмутился отчего-то.

– Письмо?.. В Оргеев?.. – вытянув шею, он заглянул поверх моего локтя. – Хотите, передам?!..

Невежа какой – совать нос куда не просят!

А с другой стороны... может, и вправду *передать*? По такому случаю он с папой сойдется... и ... не тронет наши борти в лесу!

– Хорошо! – согласилась я. – Но только 1 минуту!..

«*Мама!* – вывела я на бумаге. – *Мне тут холодно. И одиноко. Скоро я оставлю учебу!*»

Отдала письмо и ушла.

Хотя он расположен был поболтать.

На улице пулевой дождь замерзал на лету. А я потеряла варежки, и у меня ныл живот.

Возле «Одеона» извозчицьи лошади ели солому с грязного снега.

Я подрабатывала сиделкой, была бережлива, у меня нашлось бы 10 лей на извозчика. Но я не потакала себе в мелочах.

Тащась по Измайловской, я подсчитывала свои накопления в уме. С чем я в Оргееве появлюсь? Какова моя программа на будущее?

Я в панике.

Чтобы отвлечься, я стала думать о лесозаводчике Иосифе С., разбирать его странную внешность: глазки как весенний ледок, малиновый рот в светлой бородке. И выражение лица такое странное, будто он спал и отлично выспался, а тут еще и какой-то весёлый сюрприз с утра.

Полагаю, что владелец автобусной концессии мог бы устроить себе другую внешность.

Но мне приятно, что он помнит про «королеву бала».

Но возле рынка я упала на нальдобище.

Чуть не заплакала от боли.

Встала у стены швейной фабрики. Как свинья в грязи.

Инвалиды, цыгане – и те уходили от черных будок, проклиная погоду.

Плача, я поднялась в трамвай. К чему теперь экономить.

Среди пассажиров я узнала Хволу Москович, мою младшую тетку из Резены. В гимназической форме *Princesses Dadiani*.

Я не была удивлена, хотя мы не виделись с детства. Дело в том, что я ехала в трамвае в 3-й раз в жизни, и трамвай породил Хволу, как одна ненормальность порождает другую. Зато я тотчас вспомнила обиду детства: вальжоржетовое платье, и то, как Хвола увидела меня в одном белье.

Но в трамвае она кинулась ко мне как родная.

Через полчаса мы были в её комнате на *Carol Schmidt* с новыми обоями и пляшущим горячим газом под котлом.

Я провела там четверо суток, первые из которых проспала как медведь.

После сидячей ванны подушечки моих пальцев стали промято-розовые, нежно-надуты.

И такое же покойное, крахмально-рассыпчатое солнце развеялось на *Carol Schmidt*.

Ледяной шторм выдохся.

За приоткрытыми ставнями солнце разминало пальцы на сугробах.

А потом Хвола повела меня в *Orpheus* – на новый фильм *G(ret) G(arbo)*.

В зале погасили свет.

Фильм, как яичница, заплясал на экране.

Я сидела, не поднимая глаз. Уверена, я больше не похожа на GG – после этой мучительной зимы в докторском училище.

GG появилась только на 9-й минуте! В гладком сером платье, с высветленным *collar* под горло!

И что же!

Хвола сразу стала вертеть головой – с экрана на меня, с меня на экран. Как переливают кипяточный чай из стакана в стакан – пока не остынет – вот так она сверяла меня с экраном. А потом как засмеётся от восторга!!!

Злопамятная как 1000 старух, я вмиг простила ей все обиды.

Моя главная обида произошла в детстве, когда меня отвезли к ним в Резену на каникулы. В Резене жил Ревн-Леви, мамин брат. Он построил 2-этажную гостиницу с рестораном. К нему стали ходить румыны-пограничники, он разбогател и перестал с нами водиться.

Но это потом, а пока во всякое лето нас привозили к ним на каникулы: Шурку и меня. Но Шурка не умеет себя вести. Он играл там в банки и разбил окно в зимней кухне. И еще он плохо влиял на Адаксу, Хвольну младшую сестру: вдвоем они варили свинцовые битки на костре и швыряли куда попало. И еще он дразнил Хволу «Хвола-страхопола», чем доводил ее до рыданий. Поэтому Шурку перестали туда звать...

Но и я там не пришлась – после случая с вальжоржетовым платьем.
Вот как это было.

Из-за непогоды мы приехали в Резену в то ночи, но Хвола не спала и, утащив меня к себе, усадила перед ширмочкой. У неё был целый гардероб нарядов. Делая мне представление, она с особым видом пропадала за ширмой и выходила всякий раз в чем-то другом, новом.

Я с послушным интересом разглядывала её, пока она не вышла в платье из вальжоржета.

Кажется, я перестала дышать – от одного вида этого платья.

– Хочешь примерить? – обрадовалась она.

Она была крупная девочка, настоящий кабанчик, но на мне лучше сидело.

– Снимай, снимай! – заторопилась она.

Я стала стягивать платье через голову, заколки полетели из волос. Понукаемая Хволой, я не подумалась уйти за толстую ширму и выставилась перед ней в одном белье.

Хвола посмеялась, и мне стало тоскливо.

Нас позвали перекусить с дороги, но я ушла в угол и стояла там спиной ко всем. Они подумали, что я злая.

Меня отправили домой на вторые сутки – с каким-то одноглазым провожатым.

Мама изменилась в лице, увидев нас.

Оказалось, что это и есть тот самый садовник Шор (Палестина, совместные классы...).

Плевать!

Он рассказал, что я щипала Хволу и не садилась за стол со всеми. Врун проклятый!..

Тогда я рассказала про платье.

Мама не посочувствовала мне, но хотя бы голова ее перестала мелко дрожать, как перед приступом.

У них есть кому донашивать платье после Хволы, заключила она с гневом и унынием, у них Адакса растёт.

После кино мы еще гуляли по парку.

Снег был приручен, и возле Благородного Собраниа каток залили.

В тот день на катке Хвола открыла мне тайну.

О том, что она посещает исторический кружок и

– «только тс-с-с, поклянись, что никому ни слова!» –

готов...ся

к по...егу

в ком...изм

че...ез Дн...стр.

Вместе с какой-то Софийкой.

Все уши прожужжала – этой Софийкой.

«Это моя лучшая подруга! Таких как Софийка больше нет! Ее мама-социалистка в тюрьме родила!.. И если бы ты только слышала её доклад о Лаонской коммуне в нашем историческом

кружке! Она такая храбрая! Даже сам *adeveratul historii*¹ господин Адам... (*тут она замялась*)... Короче, я уверена, вы понравитесь друг другу!..».

Я только хлопала глазами, с трудом одолевая всю эту грудку сведений, пока Хвола не вернула меня на землю.

– Бежим с нами! – воскликнула она.

– Набегалась уже! – глаза мои наполнились слезами.

– Тебе только 18! – пристыдила меня Хвола. – А рассуждаешь как старуха! Ты вот скажи, есть ли у тебя *великая цель!*..

– Великая цель?.. А что это такое?..

– Посмотри вокруг! – стала мне подсказывать Хвола. – Неужели тебе ничего не хочется изменить? исправить?..

– Ничего! – вздохнула я. – Правда!.. А после практики по акушерству мне и замуж не хочется!..

– Господи, ну какое замужество! – расхохоталась Хвола. – Ты сама еще дитя!.. А вот что такое прибавочная стоимость, ты в курсе? Или что такое фаза первоначального накопления капитала?..

Я не была в курсе.

Вместо этого я спросила о судьбе платья из вальжоржета.

До сих пор мне не безразлично было – кто донашивает его?

Но Хвола не помнила этого платья.

Она ходила в исторический кружок, учила русскую грамматику, обливалась ледяной водой по утрам.

Тогда я спросила про одноглазого садовника – все такой же ли он вредный.

«А-а, Шор! – сообразила Хвола. – Ну какой же он вредный! Так, бобыль!.. А теперь еще и Сёмка сбёг! Ну ты ведь помнишь Сёмку?..

Не помнила я никакого Сёмку.

– Странно, что не помнишь! – удивилась Хвола. – Это сынок его!.. Шор последнее с себя снял, чтобы Сёмку в люди вывести, а он в матросы сбёг!..

Тут она запнулась.

Подумала о своих родителях, наверное.

Что-то они будут чувствовать после ее побега?!

Побег был назначен на Рождество.

Вот план:

В каникулы Хвола поедет домой в Резену. И Софийка с ней (мол, у подружки погостить). Резена расположена лоб в лоб с русским городком. Один тонкий чулок Днестра между ними. Это так близко, что с мая по октябрь видно, как крутят кино на русском берегу (прямо с грузовиков!). Но для побега лето не подходит: ночи коротки. Другое дело зима – когда жизнь умирает и дни сгибаются под шапкой ночи. Вот зимой-то все и пере...гают в ком...зм. В белых простынях по белому льду... Надо только рассчитать, когда *Рош Ходеш*². Потому что в Рош Ходеш *Идл-Замвл*³ из Резены со своими хасидами палит высокий костер на реке (для *кидуш левана*⁴) – деляя окрестную темноту еще темнее.

Слушая Хволу, я поеживалась от страха.

В 1 минуту Кишинёв сделался мне мил.

¹ *Adeveratul historii* – преподаватель истории (рум.)

² *Рош Ходеш* (ивр.) – начало месяца, время специальных молитвенных правил.

³ *Идл-Замвл* из Резены – местный святой.

⁴ *Кидуш левана* (ивр.) – ежемесячное освящение луны.

В 1 минуту мозги мои встали на место!

Ура!

Не знаю я, что такое комму...зм. А знаю только, что никакая сила не вынудит меня покинуть докторское училище и перейти реку по ночному льду.

Тем более что моя бабушка говорит: кто в молодости шастает по свету, тот на старость приплывает в богадельню...

Часть II

I.

Русский берег был коса, отмель. Точно ласкающую пятерню запустили в светлые вихры Днестра. Круглый год там царило лето.

Берег напротив – скала с черным лесом. В сером оперенье льда.

И вся-то перепонка реки – 400 локтей, не больше.

Plasă Rezena, județ Orgeev, Королевство Румынии.

Рождество 1935 г.

«Какие там порядки на русской стороне, нас не колышет! – инструктировал начкар¹ перед заступлением в “секрет”. – Как и лживая русская пропаганда в этом плане, все эти показушные парады в расчете на дураков!.. Что же до румынской стороны, то демарка... демарка... ци... (никак он не справлялся с этим словом!), ну короче, румынская родина в этом плане заканчивается посередине реки, строго посередине! В светлое время суток нарушителей (этим важным словом величал он безголовых рыбаков из Бранешты², свято уверенных в том, что самые жирные судаки ходят на русской и только на русской стороне!) следует напугать в этом плане громким выстрелом в воздух! Затем, если не разбегутся к... матери, следует предупредить повторным громким выстрелом в воздух! Снова не помогло? Открываем огонь на поражение!.. Вот так!.. И пускай – ха-ха! – летят, апостолу Петру жалуются!»

Говоря про огонь на поражение (а говорить о нем приходилось каждый вечер на разводе), начкар, малорослый, жирный, без талии и без шеи, делался неотразим. Столько высоких стрел с лица его взлетало! Сам разговор его, как прожаренная одежда, делался чист. Никаких тебе «демаркаци-ци...» и «в этом плане...».

И все-таки это был инструктаж. Тупая казёнщина устава. И да простит меня ап. Пётр, но придется ему поскучать в моем наряде. Не прилетит к нему святой беднец и наивный жулик: молдавский рыбак. Сколько б судаков не натаскал с русской стороны!

Впервые чем-то новым повеяло месяца три тому назад, когда «французики» (фасонисто-городские, в тонких усиках и жирном облаке Eau-de-Cologne, молодые евреи) моду завели: перебежать в Россию через Днестр. Вначале – тайно и под покровом ночи. Затем – в открытую, по дневному льду.

Интересно, почему они наш берег выбрали? Грешат на Ревн-Леви, местного ресторатора. Открыл-де золотую жилу (и кое-кто в комендатуре имеет с этого процент. Эх, румынская честь!..).

– С наступлением же темноты и до восхода солнца, – продолжил начкар, – может случиться еще один вид нарушителей!..

¹ Начкар – начальник караула.

² Бранешты – деревня в 7 км от пос. Резена.

(«Ну-ка! ну-ка!» – наострил я слух.)

– Вы понимаете, о ком я говорю, Косой и Адам!..

(Из чего я понял, что в наряд поставлен снова с Косым. Уф-ф-ф!)

– Значит, когда... *jidanii¹ на льду...* – начкар запнулся.

(«Ну! – мысленно взмолился я. – Роди же свое любимое – про огонь на поражение!..»)

«...следует вызвать вспомогательный наряд! – родил начкар. – По телефону!»

– Тьфу! – не сдержался я. – Стыд!.. Стыд!..

От ярости подбородок мой дрожал. Из глаз искры летели.

– Сержант Адам! – повернулся ко мне начкар. – На гауптвахту захотел?..

– Тьфу! – еще злее сплюнул я. – Прикажите еще – под белы ручки их на тот берег перевести!..

Двор погранзаставы был едва освещен (чтобы русские бинокли не разглазелись со своего берега).

Единственный фонарь – под козырьком полуподвала.

А потом и его мутный маятник исчез из виду.

Выкрались в лес через пролом в булыжной кладке.

В лесу, как колбаса из кишки, темнота лезла.

Прошло порядочно времени, пока глаза пристали к ней, запустили в нее личинки зрения.

Тогда снег на реке выступил. И лес, набегавший с уклона в реку.

Спустя полчаса.

Устроились за валунами в «секрете».

Лед на реке был тёмн.

Зато на русском берегу машинотракторная станция светилась всеми столбами.

Дешёвки эти русские: всё напоказ. Всё самое красивое, лучшее – нате, щупайте глазами, кому не лень!

Я бы так не смог.

Я и с невестой своей (S.F. с геологич. ф-та), любил бродить наедине, по малолюдным окраинам Кишиинева. И если бы я только мог (если б эта ветреница согласилась), то вовсе не показывал её никому.

Ну, да что вспоминать.

Улеглись на мешках со стружкой.

Как старший по наряду, я первый поработал с биноклем.

Потом Косому передал.

Хотя и лишнее. Ничем его не удивить: ни ярко освещенной тракторной станцией на русском берегу, где и по ночам спуют бодрые механики и грузчики (а если повезет, то и фигуристая бабенка в коротком складском халатике пробежит через двор), ни *русской прапагандой*: в каждые выходные грузовик с киноэкраном возникает на песчаной косе, луч проектора прорезает мглу, веселые голоса артистов веят над рекой до поздней ночи.

Но Косому хоть бы что. Циник и жлоб, хотя и образованный.

Из-за этой образованности (у меня 2 курса в горноинженерной школе, у Косого – 3 в медицинской) начкар и ставит нас в наряды вместе. Интеллигент, мол, к интеллигенту...

Глупости!

Давно пора втолковать ему, насколько мы разные по духу.

Одно то, что привело нас в армейский клоповник из чистенькой университетской среды (меня – предательство S.F., Косого – льготы для служивых), говорит о многом.

¹ *jidanii* (рум.) – евреи.

Нет, сначала с ним и вправду было интересно: чувство юмора, городские манеры, все при нём. Но вот случились у нас эти евреи на льду, и я открыл ему, что взволнован их побегом:

– во-первых, больно (та, которую я больше жизни любил, променяла меня на них, клонула на пропаганду!);

– а во-вторых, смута на душе: а что если так и надо: бросить всё и бежать в русский коммунизм, к веселым его голосам, в вечное его лето!.. А что если просто нельзя по-другому?..

И о том, как я убиваю в себе эту смуту, не укрыл от него.

Как же я убиваю ее?

А вот так. Слушай!

Дело моей жизни – горное дело. Разведка ракушечника, бурого угля, белого известняка, проведение геологической съемки. Работа не из легких. Зато со смыслом. Только представь, милый Косой: в каждом разрезе неподатливой земной коры, в каждом закоснелом отложении породы взывает к нам с тобой наша геологическая сага. Кто я был до встречи с ней? Ноль. Кольцо стружки на станке веков! Кем я стал? Грозный дак! Победоносный римлянин!..

...Взволнованный собственной речью, я решился, к несчастью, взглянуть на *милого Косого*.

И был уязвлен.

Потому как в совершенной темноте ночного леса открылась мне подлинная карта его лица.

Никогда не забуду этих выгнутых надбровных дуг, по которым, как дождь по желобам, стекала отвратительное выражение иронии.

Перевести на слова – оно звучало бы так: «Ай, оставь! Разведка ракушечника это хорошо, но и фраеров тут нет! Свои 100 лей я должен заработать в первую очередь!»

Гм, я человек с воображением. Иногда мне видится то, чего нет.

«Дам ему второй шанс!» – подумал я.

Всяк меня поймет: среди приземленных нравов нашей армии мечталось мне не просто о друге, но о существе, хотя бы отчасти облагороженном силой ума и сердца.

Итак, вот какую тему подложил я Косому в нашем следующем секрете за береговыми валунами.

Кто мы, задал я вопрос.

Только ли ничтожные обыватели, субъекты тех или иных перекроек границ в Европе?

Или же осмысленные румыны?

А?..

Только ли мы буфер между хищниками: Турцией и Россией, Австрией и Польшей, или же, пускай и малая числом, но сильная духом нация, умеющая отстоять свои пределы на земле, равно как и обозначить их контуры на Небе?..

А?..

И вот тут, еще только произнося «пределы на земле», бросил я полный надежды взгляд на Косого.

Чтобы со стоном отрезвления признать всё то же *ай, оставь*, выступившее на его морде (вот тебе и второй шанс!).

«Ай, оставь! Ай, оставь! – пело глумливое его лицо. – Осмысленные румыны это хорошо, но и фраеров тут нет! Свои 100 лей я должен заработать в первую очередь...»

Крушение иллюзий!

– Отрицаешь ли ты, – спросил я, задыхаясь от обиды, – наше право быть нацией под Богом...
– Кем-кем? – хохотнул он.

Но, угадав мое состояние, подобрался и согнал ухмылку с лица.

– Это смотря какой нацией! – проговорил он голосом человека, задетого за живое. – Если малой и слаборазвитой, трусливой и повсеместно пораженной коррупцией – то не отрицаю ничуть!..

– *Sâine*¹! – только и сказал я.

– *Sâine*? – оскорбился он. – Сам ты *sâine*!.. Смотри, во что границу превратили! В комендатуре подмажь – и вали! Хоть в Россию, хоть на Луну!.. Со всего Королевства – на наш участок едут!..

Убил бы его.

Но... взял себя в руки.

Поморгал.

Вдохнул-выдохнул.

– Послушай, Косой! – сказал я, убедившись, что дыхание мое выравнено и голос не прерывается. – Мне 21. Не так уж много я в жизни видел. Еще меньше успел. Была у меня всего одна женщина, и та изменила! Но при том готов я умереть сегодня! сейчас! в сию минуту! Но умереть как румын, сын румына! А не коптить небо до глубокой старости – в виде субъекта русских или австрийских интересов!..

Зачем я палил слова – теперь уже отлично представляя, кто передо мной?

А за тем, что через голову недоучки-терапевта говорил я с S.F.

Ей, неотболевшей, принесил и эти приречные снега, холодящие тело сквозь пролежалый мешок со стружкой, и неграмотные деревья, сбегające с уклона к речному льду, и надувшуюся треть луны под кожей неба...

Да, мы тихий народ, делился я с ней. Самый тихий в Европе. Народ саманных землянок, а не венецианских палат, народ тупого и грязного сельского труда, а не прогрессивных наук и кругосветных путешествий. И при всём том не теряли мы лица, нет! Вот и оттоманским туркам, свирепым покорителям нашим, сумели внушить почтение к себе. Так что ни единый полумесяц не засиял на молдавском небе. В отличие от сопредельных краев болгарских и сербских, просто-таки испещренных магометанскими молельнями!

– Тебе в Железную Гвардию² надо! – перебил Косой. – В братство Креста! У них это тоже пунктик: мы, румыны, такие, да мы, румыны, этакие!..

– Да – такие! – повторил я (расставаясь с чудным мороком S.F.). – Да – этакие!..

– А чего же тогда, – ухмыльнулся он, – румынскую зазнобу себе не подобрал?.. Вместо дщери Сиона!..

– Не твое дело! – вспыхнул я. – Все! Тема закрыта!..

С тех пор я не швыряю бисер перед Косым.

И, клянусь, это мой последний с ним наряд (завтра же рапорт напишу).

Но предстояло еще отбить эту ночь.

Не вопрос.

¹ *Sâine* – собака (рум.)

² Железная Гвардия – ультраправое религиозно-националистическое движение в королевской Румынии.

Вероятность ЧП в мои наряды – нулевая. Единственный на заставе, посмел я открыть огонь на поражение по *jidanii* на льду. Было это с 2 месяца т.н., и с тех пор уж не знаю кто, рестораник ли Ревн-Леви или офицеры в доле с ним, но этот кто-то принимает все меры к тому, чтобы в мой наряд – ни-ни!..

В остальном же участок наш тихий. Русские давно уже не те. Не имперствуют. Не пробуют наложить лапу. Да и мы поуменьли: покончили с междуусобицей наших древних княжеств! Провели аграрную реформу! А что французики от нас бегут... гм-м... ну так что поделать: племя такое, нигде им не дом родной.

Но вдруг завозилась темнота на реке.

Как в погребе шевелится холстинный мешок с зерном, когда в него мышь проникла, так на реке нечто завозилось.

Я нащупал холодный корпус бинокля, и, не обрывая Косого (*в эту ночь он был говорлив как никогда. Может, хотел вернуть мою дружбу?*), поднёс к глазам.

Как назло – темень была полная. Луна в небе не намьга ни на грамм.

Не замечая моих действий, Косой продолжал рассказывать про Идл-Замвла из Резены (местного святого):

«Колдун первой марки! От любой хвори лечит! Любые просьбы исполняет... – но только для своих!..»

«Вот как?!» – пробормотал я, клекоча ресницами о стекло бинокля.

«А главное, – продолжал он, – раздваивается, как привиденье!.. Как дождевой червяк, если порубить! В Резене и Оргееве одновременно его видят!»

Но как раз посыльный прибыл.

Я осветил спичкой на доставленную бумагу: начкар меня зовёт.

Хм-м. Странно.

Отполз я следом за посыльным, но, запав в заснеженную яму на холме, притаился в ней. Мнительность моя была растрожена.

И что же... и двух минут не прошло после моего (ха-ха!) убытия на заставу, как какие-то, теперь уже отчетливые фигурки забегали на льду в такой усердной, в такой жуликоватой спешке, что ладони мои вспотели.

Французики!

И пока, с неудобно-большой, ударяющей по коленям пехотной винтовкой на плечевой перевязи, летел я в секрет, догадка догнала: все-таки решились в мою ночь... за тем и отозван с поста. Но тогда – здоровенный костер полыхнул! Как раз посередине реки!

«Косой! – закричал я, сваливаясь в нашу яму с валуна. – Чего же ты?»

Лишний вопрос! Позорное смятение на его лице говорило само за себя.

«Кор-р-рупция нам не по душе! – зарычал я устраивая винтовку для выстрела. – А сам?.. А сам?..»

Наглое костровое пламя приседало и подпрыгивало на ночном льду.

Но что я увидел!

При костровом свете пляшущая толпа евреев шла в круг. Но не французики в узких панталонах, а другие, в деревенских кушмах и с лошадиными кистями в головах.

Тела их, тощие и неладно свинченные, казались подхвачены некоей тупой инерцией, разогнавшей их по льду. Мой бог, сколько позёмной бури они своим танцем поднимали!

Но тогда Косой пришел в себя.

– Не стреляй, дурак!.. – с храбростью, которой трудно было от него ожидать, вырос он перед винтовочным прицелом. – Там же Идл-Замвл среди них!.. Смотри – вон тот! С белой бородой!..

– Отойди!.. – приказал я, привалившись щекой к прикладу.

– Если ты пристрелишь Идл-Замвля, – вскричал он, – тебя волки съедят! Спроси у местных, что было, когда два царана¹ с Бранешт поколотили его на Пасху!.. Косточки через неделю наши!..

– На счет три, – выдохнул я в ответ, – стреляю!.. Раз-з-з!..

– Ну ты! – взмолился он. – Подожди, пока они Луну замолят! У свиней течки не будет – без их «вэй-вэй»!..

– Два-а-а!.. – сказал я с физиономией с самой свирепой.

А потом не выдержал:

– У каких свиней?!..

Да и кто бы не дрогнул – глядя на их танец!

Как орда, неведомо-варварская, силотупая, из-за границ географической карты, из-под речного льда, из рассветной щели налетели они на нас. Казалось, еще круг – и все будет кончено. Еще навал – и сама природная крепость наша (река и лес), хотя и намертво скованная зимой, будет отдана им на разграбление.

– Он же колдун! – поспешил Косой объяснить. – Луну спрячет – без приплода останемся!..

Но затем, пока я над его словами думал, переменялся в минуту.

– Три! – сказал он вдруг голосом серым, скучным. – Стреляй теперь!

– А-а? – не понял я. – Что?..

– Полчаса оплатили? – задрав обшлаг шинели, он на часы глянул. – Полчаса и прошло! А фраеров тут нет!..

Беспокойство и тоска изъели меня в минуту.

И тогда, совсем не церемонясь, Косой подошел и раскрытой пятерней повернул голову мою в другую сторону, вдаль по рукаву реки, стоявшей в тяжелых льдах.

Там, в усиленной близким пламенем темноте, не рассмотреть было ничего живого. Только отрывистый, будто ножиком карандаш очинивают, собачий лай с окраинных дворов на горе.

– Ну! Огони! – велел он. – Но только обманули дурака! Они уж на русском берегу!..

– Кто... на русском берегу? – пролепетал я. – Идл-Замвл?..

Глупее вопроса трудно было придумать.

– Самого Москвича дочь! – ответил он с небрежностью. – Пока... ха-ха... костром тебя отвлекали!..

– Меня?.. Зачем?..

– Не знаю!.. Говорят... гм-м... что и S.F. твоя с ней!.. Но не знаю!.. За что купил, за то и продаю!..

2.

36 лет спустя.

В том же краю. Через ту же реку.

Алексей Лазарев (преп. рус. яз. и лит-ры в 37-й кишиневской ср. школе им Н.В. Гоголя).

Конверт был за 4 копейки. Почерк – мелкий, никакой.

«Ул. Карла Маркса, 12, кв. 2».

Даже странно, что этот почерк принадлежал ей. Такой заметной, громкой. С такой пышной копной волос. Но ведь принадлежал, факт. Она и накатала их при Лазареве – эти «Карла Марк-

¹ царане (рум.) – крестьяне.

са, 12...» – как только отдала трубку (телефон в учительской прибит к стене между шкафом и окном) и повернулась к коллективу – белее мела...

И как это здорово, что, окруженная всеми, кто там был, уже одурманенная валерьянкой, с бьющими об ободок чашки зубами, она выделила его в налетевшей толпе сочувствующих... –

«Поедешь? Надо моему мужу передать!»

Поеду? Спрашивает!!!

И вот – он в поезде. В полете. В дизеле «Кишинев – Одесса» (с высоким тепловозом, разукрашенным, как вождь апачей: красные перья по лобовой кости).

Лазарев-1: А может, это только для меня у нее такой почерк – не выражающий ни-че-го? Кто ж ей? Никто. Еще даже не целовались ни разу. То, что у Ваньки Усова на Новый год, не считается. Интересно, а какой почерк у нее для мужа? Умираю, хочу взглянуть!..

Лазарев-2: Прекрати!.. Это аморально!..

(Он всегда как бы актерствовал перед самим собой, как бы наблюдал себя со стороны. Отсюда и такие, на 2 голоса, переговоры).

Крепился с полчаса.

Но, когда застучали по мосту с клепанными перилами и далеко внизу, в белом мешке пустоты, в мельтешащих просветах между сваями, показался апатичный, совсем не широкий Днестр в частых ключах не захваченной льдом черной воды, – там Лазарев подумал об утреннем звонке в школу и о самом известии, которое он ее мужу везет.

Лазарев-1: А кстати – что там за известие?.. Отец? Озеро?.. Нет, ну какое озеро в январе?!. Показалось!.. И спросить некого – все только ахали да охали, да валерьянку подносили!.. Но – пардон! – что я ее мужу скажу?!

Ха! Веский довод.

Лазарев-1: В самом деле? Он спросит – что я отвечу?!.. И вообще! Я ведь намерен бороться за нее! Уводить от мужа!

И полез в конверт.

В конверте.

«Лёва, с папой беда! – выводила она тем же серым, не подходившим к её притягательной яркой внешности почерком. – Но ты спокойно, Лёв, смотри по обстоятельствам. Я.»

Хм, не густо!

Папу он знал.

Не лично, разумеется.

Просто папу вся республика знала. На 1 Мая раскроешь газету (а также на 7 Ноября, 9 Мая, День танкиста... Полярника...) – там стишок на первой полосе. Что-то глупое и правоверное, трескучее, как барабанный бой. Рифмы: «Новая заря – юбилей Октября», в таком духе... И подпись – «Петр Ильин».

Сколько Лазарев себя помнил – столько этот *Петр Ильин* бил поклоны Советской власти на 1-й полосе.

А где-то с месяц тому назад – ехали с ней в троллейбусе по Ленина, и вдруг она тянет шею в окно: «Ой, смотри, папа!.. Ой, и мама тоже!..»

И за локоть сжала (чтобы сразу отпустить).

Присмотрелся: народ во все стороны снует – мимо Главпочтамта, «Военной книги»...

Кто именно ее папа-мама?

Кажется, вон тот высокий в шубе, с величественной, будто жердь проглотил, походкой.

И – на полшага впереди – худенькая, торопливо семенящая женщина в белой шали-платке.

Еще посмеялся: смотри-ка, убегает от него!

«Ничего не убегает! – вспыхнула в ответ. – И... и... не твое дело, понял?!»

Что это с ней?

А, не важно.

Важно, что и для мужа почерк у нее никакой. И что просто «я», а не «Целую. Я»...

Через 2 часа.

Прибыли.

Портал Одессы наплыл.

«ОДЕССА – ГОРОД-ГЕРОЙ» – по крыше вокзала.

1971, раннее утро 14 февраля, Одесса.

Зима тут дрянь, каша континентальная.

На привокзальной площади холки трамваев искрились тёплым электричеством.

Но трамвай – это блицкриг. 5-6 минут – и ты на месте. На Карла Маркса, 12.

А Лазареву не хотелось комкать.

Нырнул в подземный переход.

Рефлекс новизны, перемены, молодой бодрости управлял им.

«Давай разбираться!» – сказал себе (Лазарев-1).

И легко, с настроением, пропустил по переходу.

Лазарев-2: Согласись, авантюрой пахнет...

Лазарев-1: Зато окрылен!..

Лазарев-2: Все наверняка всё поняли – еще там, в учительской!..

Лазарев-1: Да ну их! Я сплетен не боюсь!..

В центре города побросано было по тротуару много чёрного льда, камнями и тёсами, с налипшими мусором и травой. По бесснежной погоде угрюмые эти торосы сходили за городской инвентарь сродни угловым фонарям и газетным киоскам.

Лазарев-2: Сплетни это полбеды! Но у нее муж и сын! И положение в школе – завуч как-никак. Докажи, что это у тебя серьезно!..

Лазарев-1: Огороды, Ботанический Сад... тебе мало?.. Дождь, свитер через голову... – не достаточно тебе?..

Центр был двухэтажный, с траншеями подвальных этажей. Ставни и занавески в них почему-то все были отведены. И от исподнего выворота жизни, сочившегося из подвальных окошек, Лазареву сладко колело в сердце. С тротуара дано было разобрать неподдельную обстановку комнат, и Лазарев то брезгливо отводил глаза, то взорчиво шурился, проникая сквозь световой лиман в тёплые топи жилого.

Он понял, что влюблён, влюблён вразнос – по тому, как ему стало больно от этих видений, столь прямо говоривших о физич. стороне жизни, о Наде и её муже, а не о нем и Наде.

«Ладно, я не загадываю! – ответил себе. – Будет жизнь, а с ней и какие-то шаги, поступки!.. Мне 32! Пора жить набело!..»

И вдруг он бесстыдно представил себя и Надю в такой вот жарко натопленной подвальной комнате в утренний и бездельный час зимы. Мебель и ворс обоев на стене – и те увиделись ему.

И – мысленно – он прикоснулся к ней...

Почувствовала ли она на расстоянии его поцелуй?

Да!

Не могла не почувствовать!

Все последние недели, месяцы (а именно с 14-го ноября, с того самого похода 8-х и 9-х классов в Ботанический сад на огороды) ему казалось, что он обрел над ней власть, внушил ей чувство если и не любви, то... тайного сообщничества.

Во!!! Верное определение!!!

Он сумел внушить ей ту волнующую не-простоту, в которой если и не любовь, то волнующее предверие любви, и теперь она относится к нему зеркально-непросто, он не безразличен ей.

Лазарев-1: Интересно, где она сейчас? Вспоминает ли обо мне?..

Лазарев-2: О тебе?!! Нарцисс!!! У нее с папой беда, при чем тут ты?..

Но Лазареву и вправду верилось, что – *при том!* При том!

Пусть *беда-семья-завуч*, пусть множество других предрассудков и помех, но она думает о нем, пересыпает в воображении золотой песок его образа, любовная мечтательность их обоюдна. Какие иные чары породили бы в нём этот взаправдашний вкус поцелуя, принятого ею за 177 км?..¹

До сего дня Лазарев не целовал, не касался Нади, но, переходя с Кирова на Карла Маркса, убеждён был, что узнал ее объятие, сдающееся тепло губ...

Мужа её он не видел никогда. Не представлял его внешности. До сего момента мужа как бы и не существовало в природе, было лишь формальное знание о нем – ну да, его любимая женщина замужем, есть сын.

Но теперь Лазарев любил впропалую, и ничтожный размытый образ Лёвы... Лёвы... как его... Лёвы Пешкова... всё страшнее гремел в воображении.

Отыскав Карла Маркса, 12, он по шерботому бульжнику вступил под каменную дугу, оформлявшую входную арку, и сразу в боковой стене обнаружил дверь с медным кв.2, а также коврик под порожком и тёмное окно в серых перьях занавески.

Муж его любимой женщины обитал за этой занавеской.

Надя не просила сообщать мужу лично. Только опустить письмо в почтовый ящик.

Но Лазарев... превысил полномочия. Позвонил в дверь.

«Он всё поймёт, этот Лёва! – думал он при этом. – А не поймёт, тем хуже для него. Ведь я ничего не буду скрывать! Расскажу и про дождь, и про Ботанический!.. И тогда хоть на кулаках!..»

¹ 177 км - расстояние Кишинев – Одесса.

3.

Муж его любимой женщины.

Пешков был один в квартире, когда возник этот тип. Нога́ уехал в Жданов на переговоры (Нога́ это Славка Ногачевский, друг с детдома, Пешков прятался у него), Лида, Славкина жена, в больнице на круглые сутки (она медсестра), детей у них нет.

И, значит, было так. Утром Пешков вышел на угол, купил мясную кость, овощи, лавровый лист. Сварил обед...

И вдруг этот тип.

Сначала ходил взад-вперед мимо окон, косился на занавески. Худошавый такой блондин с красным лицом. Потом выпал из поля зренья – в арке прячется, наверное.

Вот ёлки! Окно кухни выходит в арку, дух борща валит через форточку, выдаёт, что в квартире кто-то есть.

Пешков на носках ушел в кладовочку, прикрыл за собою дверь.

Звонок.

Одинарный, вкрадчивый.

«Я никого не жду, Надька не приедет (в последний год плохо жили), у Скобикайло подписка о невыезде!.. Решено, не открою!..»

Не открыл.

Кажется, позвонили еще.

И стихло.

А через пару часов приходит Лида с работы – «Смотри, что я в почтовом ящике нашла!».

«С папой беда!»

Пешков аж присел.

Пётр Фёдорч!

Жив-не жив?

Но уже в следующую минуту выволок из-под кровати баул, стал бросать в него личные вещи!
«...приезжать тебе, не приезжать – смотри по обстоятельствам...»

«По обстоятельствам? Ну смешная! (Бритва где?) Заплатили, ждем, вот и все обстоятельства (Так, носки!.. трусы!.. чистая майка!) Скобикайло под подпиской, а мне адвокат сказал: в кладовке сиди – пока сигнал дам! (Надька-а!.. Соску-учился!..)!»

Утром следующего дня.

...И хотя ликующий Пешков не верил, что доживёт до этой минуты, – она пришла.

Вагон качнулся, как напольный кувшин.

Электрический свет погас и зажёгся – точно с короточек встал. А темнота за окнами так и осталась сидеть.

Тронулись плавно.

Дождик, как обманутый, зацарапался снаружи.

Было пять утра.

15 февраля, 1971-го, Одесса.

Бросив под лавку баул, Пешков отправился искать туалет. В полчетвёртого утра, покидая квартиру, не воспользовался уборной, не побрился, не выпил чаю. Чтобы Лиду не разбудить.

Минуя буферные кабины, тамбуры, вагоны, встречался глазами с сонными пассажирами на жёлтых лавках, и перевозор этот со стороны Пешкова был исполнен интереса, наступления и при-

ятия. Не верилось, что скоро, через каких-то 3 часа, увидит жену и сына. Разберется, что там с тестем («Петр Федорч! Ты жив?»). И, главное, обрадует новым делом жизни.

Что это за дело было...

Ну, со смеха началось. С того, что Нога...ха... к Лиде приревновал!..Псих!.. Хотя -да: по работе он в командировках все время. Три недели в месяц – в командировках. Вот и говорит: иди ко мне в бригаду («чем с бабой тут моей под одной крышей вошкаться» – такой ход мысли!)... В октябре-ноябре ездили в пос. Березовский на птицефабрику, запускать систему контроля за температурой. Работа мужская, травмоопасная (наладка называется). Но если в электричестве сечёшь и руки не крюки, то ничего, работаешь. Претензий к работе Пешкова не возникло, и Нога после 2 недель говорит: готовься, едем в Жданов на меткомбинат!

«В Жданов? – поартачился Пешков. – Ты забыл, я от прокурора прячусь?!..»

Но он бы все равно поехал. Чем в кладовке хиреть.

Вот такая новое дело жизни! Такая наладка!

...В туалетной кабинке надувало из откидного люка, пахло смазкою путевых креплений, сырой землей. Пригородные заводы зыблились сквозь известь замелованного окошка. Пешкову чудилось, он слышит, как обрушиваются цеховые пресса, как гудят станки. И никогда прежде счастье существования не открывалось ему полнее, чем в заводских, честных шумах этого утра... Прощай, торговля! Спасибо, наладка!..

«Н-да, зигзаги жизненного пути! Простит ли Надька? Женаты 12 лет (С Петра Федорча легкой руки!), а я все такая же матросня. Все такой же неровня ей. Да еще с торговыми наклонностями (позор в их семье). Да еще под следствием за торговлю!.. Но теперь всё будет не так. Слово даю, Надь!»

Надя была стыдлива, холодновата, ограничивала его в телесной любви, не допускала экспериментов в позициях, но, воображая в разлуке все ее женское: полный затылок, пахучие волосы, кожу у ключиц... – он обмирал от благодарности и счастья. И волновался о встрече.

Вот только – теть?

Хоть бы не умер.

Бросит меня Надька – если умрёт!

И ведь, главное, знак был!

Был знак!

Знак.

Жил в темной кладовке у Ноги. Все развлечение – ВЭФ «Спидола» (экспортная модель! Вашингтон-Мюнхен пролезают в кладовку без окон!). И вот, недели 3 тому, пролезло через ВЭФ: «Передаем главы из романа писателя *Ша*. О насильственном советском захвате Молдавии в 1940-м году»!

Послушал 1-ю главу (в 13.05 после новостей).

Так себе.

Не Бредбери, не Станислав Лем.

Но то ли из-за вкусного шипенья ультракоротких волн, в которых и самое стертое русское слово поворачивается бочком поджаренным и ароматным, а может, от того, что сам он, Лёва Пешков, помнил себя не раньше марта 1942-го (карантин-детприемник в Куйбышеве), а все, что до 1942-го, – погружено в кисельный туман... – но в 20.00 того же дня ловил повтор...

И так всю неделю – 13.00, 20.00... 13.00, 20.00... 13.00, 20.00... – глава за главой.

Пока подозрение не зацарапалось.

«Писатель Ша» – это что еще за писатель Ша?

Уж не Шор ли Петр Федорч?!

Кто не знает – он по паспорту Шор (а «Ильин» – только по газетам).

..Но постучали снаружи, и замечтавшийся Пешков укатал шнур, продул ножи, завернул электробритву в попонку. Пошлепал «Детским кремом» по щекам.

Двинулся в обратный путь по вагонам.

Как раз въехали на мост.

Под мостом неповоротливая излучина Днестра вытянулась в даль. Складки горизонта – размыты в снежном паре.

Пешков засмотрелся.

Не здесь ли, над этой излучиной, по переправам, наведенным советскими военными инженерами, происходил в реальности тот самый шипяще-запретный, из «ВЭФ Спидола», «насильственный захват Молдавии 28.6.1940»? Не здесь ли клубился и его собственный кисельный туман – от беспомощности первых лет жизни до карантина-детприемника в Куйбышеве?

«Да нет, вряд ли! – подумал. – Чтобы тесть – и “Голос Америки”?!.. Он ведь коммуняка. Работник органов (4-е управление). Не стыкуется никак!»

Шум отвлек.

В тамбур из сцепной кабины поспешно вышли люди.

Они одинаково хлопали себя по карманам.

За ними, преследуя их, шёл сухонький старикашка-контролёр в кителе.

«Приготовиться к проверке билетов!» – произнес голос за спиной.

Это второй контролёр надвигался сзади. Молодой, бычачий.

Они сходились, как ножницы, – эти 2 контролера, молодой и старый.

Как стены пещеры – в «Али-Бабе».

Все проснулись в вагоне.

Поезд шёл, как и раньше, но даже березки за окном перестали мелькать.

Как раз возле Пешкова оба контролёра сошлись.

Пробитая компостером, картонка билета вернулась к Пешкову.

– Здравствуйте, Андрей Иванович! – произнесли вдруг его язык и небо.

– Чего?.. А!.. Ну здравствуйте! – отозвался один из контролёров.

Тот, который старикашка.

– Пэ-пэ-пэ... – пригляделся он после заминки.

– Пешков! – подсказал рот Пешкова. – Пешков Лёва!..

– Пешков! – зафиксировал Андрей Иванович. – Ну и что?.. Ты чего тут?.. Проживаешь?.. Работашь?..

– Проживаю!.. И работаю!..

Это был Андрей Иванович, директор детского дома (Чувашия, село Троицкое, 1944–48).

Он не меньше Пешкова был удивлен встрече.

От удивления в нём даже испуг чувствовался.

2-й контролёр переводил взгляд с одного на другого, и выражение его лица следовало за выражением Андрея Ивановича.

В вагоне все молчали из-за них.

– Так ты местный, что ли? – Андрей Иванович повертел головой по сторонам. – И это по какой ты тут работе?..

Как будто 24 года не прошло.

«Наладка!» – хотел просто и доступно объяснить Пешков.

Но язык точно сорвался с приводных ремней.

– Автоматика на заводах!.. – забормотал он. – Э-э-э... Коммутация проводов ... э-э-э... на кросс-плате... счётчики...

И ужаснулся тому, что говорил.

И – не зря!

Изумление, испуг окончательно ушли с лица Андрея Ивановича.

– А, пролез! – верхняя губа его открылась, железный обруч зубов показался.

Это он улыбался так.

– А чего к нам в детдом попал? Если местный!..

– Эвакуировали! – рассказал Пешков страдая. – Тут же немцы были!..

Это «эвакуировали» было той же породы, что и «коммутация проводов на кросс-плате».

– А вы?.. – попробовал перевести разговор.

– Я?.. – удивился вопросу Андрей Иванович. – А что я?! Я к пенсии переехал!.. Я ведь всю жизнь там, где холодно и голодно!.. Можно мне хоть на пенсии фрукты поесть?.. или это только твоей нации можно?..

В лице его стояло теперь прочное и властное выражение. Как в детдоме когда-то. Что-то вроде «Ну вот, я же говорил!».

И у 2-го контролёра лицо перестало быть настроженным, но подпустило ту же улыбку всезнания («Ну вот! Я говорил!»), а потом и вовсе стало злым.

И они пошли себе не попрощавшись в сторону головного вагона. Два твердых карандаша в кителях.

Пешков засопел, загрустил, засмотрелся в красный пол.

«Пролез!.. – повторил про себя. – Пролез... а?!..»

А может, это сон?..

Может, Славка Нога наколдовал?

Потому что как раз отмечали его д.р. недавно (в общаге птицецеха в Коммунарске), а Нога дуреет с одного стакана: «Ну всё, тридцатник, молодость прошла, жизнь кончена!..»

Такое понес! Мол, только молодость (до 30) и стоит того, чтоб на свет родиться...

«Ты, что, Славк, ну прям молодость! – рассердился на него Пешков. – Ты детдом забыл?..»

«А мне в детдоме хорошо было!..» – заявил Нога.

«Еще бы, тебе ведь тёмную не делали! – подколот Пешков. – Тебе там конечно за...сь было!»

«Да, за... сы!» – отвечал Славка с вызовом в голосе.

«Особенно когда в спальне печку переложили!.. или когда авиапланеры с моторчиками стали клеить!»

«Точно! Авиапланеры!..» – обрадовался воспоминаниям Славка.

И даже локоть поднес к лицу – слезу утереть.

«А как нам Сталин коньки и лыжи прислал, помнишь?.. – всхлипнул он. – На весь отряд!..»

«Я всё помню! – подтвердил Пешков. – Золотые дни!.. Плюс тебя ташкентским партизаном не дразнили!.. И Андрей Иванович тебя в грудь не бил!..»

И показал пальцем – куда-то в район ложбинки по центру груди.

«Не бил! – подтвердил Славка. – Зато в техникум учиться направил! И картошку в общагу посылал! А в сезон огурцы со свеклой!»

«Красиво! – пробовал съязвить Пешков. – Рад за тебя!».

«А когда каникулы, – расцвел Нога, – и мне из техникума ехать некуда, то я – в детдом на все лето! И ведь принимали! Ставили на питание! И не только меня! Кто в ремеслухах, кто в взу¹, и тех Андрей Иванович на каникулы принимал!»

Вот так и наколдовали Андрея Ивановича. Вызвали дух.

(«...пролез... пролез... пролез...»).

Пешков попросил газету у попутчика.

Затулился в тамбуре.

Пробовал читать, забытья.

Не выходило.

Ну, вот где справедливость, а?!

Одним – огурцы со свеклой.

Другому – тёмные с малых лет!

И, главное, это «пролез».

Проле-е-ез!

Обида всей его жизни!

Начиная с марта 1942-го, с печеной картошки в куйбышевском детприемнике («И откуда ты, французик такой, в СССР пролез?»... и – горелой кожурой об лоб и щеки!).

И потом, с 1954-го, на военно-сторожевом траулере «Сергей Киров», когда в и.о. боцмана пролез...

И к Надьке своей любимой в мужья – пролез. По версии друзей и подруг ее университетских...

Повертел картонку билета.

Всё, не удалась жизнь. Во-первых, сирота. Да. Все люди от отца и матери идут, а он, Пешков Лева, пролез. Пролез.

Во-вторых, Надька не любила никогда (Пётр Фёдорч насильно замуж выдал!).

Отшвырнул газету.

«Я только объясню ему на словах... – побежал по вагонам, – что это за работа мужская, травмоопасная – наладка! Ничего общего с ташкентскими партизанами!.. А бить не буду, нет!..»

«Ну что, Андрей Иванович!.. Проле-ез?» – запомнил собственный вопль (и железнодорожный китель – за обшлаг!).

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года

Статья 191.5. Посягательство на жизнь военнослужащего, сотрудника органа внутренних дел, а равно должностного лица, осуществляющего таможенный, иммиграционный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный, автогрузовой и иные виды контроля... – *наказыва-*

¹ взу – военные училища.

ется лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а при наступлении тяжких последствий – смертной казнью.

(введена законом Союза ССР от 18.05.58 N 79-ФЗ – Собрание законодательства союзных республик, 22.05.58, N 21, ст. 1927)

4.

Надька (та, что «...не любила никогда...»).
10 месяцев тому назад.

Журнал регистрации входящих документов.

1. Рапорт-РНО-99904

24.3.1970.

8.02 утра.

«В КГБ МССР. Вострокнутову Н.В.!

От Пешковой (Шор) Н.П.

Николай Владимирович!

Вы папин ученик и друг, поэтому я поделюсь.

Вот что было:

– *В отделе культуры ЦК обсуждали папину новую книгу (в рукописи).*

– *Обсуждение проходило в оскорбительном для папы ключе.*

– *Рукопись конфисковали.*

В результате перенесенной обиды в папе как будто что-то сломалось:

– *он ушел из семьи (от моей мамы),*

– *отдал папку с рукописью Фоглу (из иностранной делегации).*

Поэтому я прошу Вас принять меры. Срочные!

Ведь папа не Пастернак, не Синявский-Даниэль.

Он коммунист. Патриот своей страны.

Но у него срыв из-за оскорблений в отделе культуры.

Николай Владимирович! Коля!

Эта иностранная делегация еще 3 дня в СССР (завтра в Одессе, послезавтра в Киеве, послепослезавтра – в Москве). Я не знаю, из какой они страны, но, судя по виду этого Фогла, явно не социалистической.

Перехватите рукопись, прошу Вас!

Надя.

ПС. И не надо мне, чтобы этот Фогл за моего мужа хлопотал.

2. Рапорт-РНО-99904 (приложение 2)

24.3.1970

Кишинев. Отдел Культуры ЦК КПМ.

Протокол обсуждения рукописи нового романа тов. Ильина (Шор) П.Ф.

В обсуждении участвовали: «...»

Заключение:

Тов. Ильин (Шор) П.Ф. один из основателей молдавской советской литературы. Член Союза Писателей СССР с 1947 г. Секретарь Правления Союза Писателей МССР. Лауреат ГосПремии МССР по литературе (1952 г.).

Тов. Ильин кандидат в члены ЦК КПМ, депутат Верховного Совета МССР 4 и 5-ого созывов и депутат кишиневского Горсовета (с 1964-ого по наст. время).

До сегодняшнего дня тов. Ильин в своем творчестве последовательно опирался на прогрессивный метод социалистического реализма, убедительно отстаивал передовые идеи коммунизма и пролетарского интернационализма.

Тов. Ильин фронтовик, офицер старшего комсостава, кавалер боевых орденов и медалей СССР. Тем озорчивей грубые идейно-художественные просчеты, допущенные т. Ильиным в его последнем романе.

Список пунктов, по к-м т. Ильин допустил грубые идейно-художественные просчеты и прямую фальсификацию:

1. О румынско-бессарабских «перебежчиках» в СССР (1935–37 гг.).
2. О вынужденной подделке румынско-бессарабскими перебежчиками своих оригинальных документов.
3. О воровстве и личной наживе сотрудников НКВД при проведении национализации частного имущества в МССР (июнь 1940 г.).
- 4...
- 5...
- 6...
- 7... О тяжелом моральном климате и признаках морального разложения среди партизан Одессы, скрывающихся в Нерубайских катакомбах (1942 г.).
-
27. О насильственной репатриации в СССР бывших советских граждан на территории Румынии в 1945–47 гг.

Принимая во внимание прежние заслуги т. Ильина (Шор), Коллегия при отделе Культуры ЦК КПМ в конструктивной форме высказала ему свои замечания. Но в связи с вызывающе-грубой ответной реакцией т.Ильина и, учитывая серьезность идейных ошибок, допущенных в романе, Коллегией принято решение направить рукопись на экстренное рассмотрение в Отдел ЦК КПМ по идеологии.

3. Рапорт-РНО-99904 (3).

Записан со слов Пешковой (Шор) Надежды.

Ул. Роз, 37, кв. 29 (прописаны я и мой муж, Пешков Л.И.).

25. 3. 1970.

6 утра.

Ильин (Шор) П.Ф.: «Могу я у тебя пожить – пока нервы успокоятся?!.. Не хочу, чтоб Соня (мама) видела меня в таком состоянии!..»

Пешкова Н.: «Где ты ночевал?..»

Ильин (Шор) П.Ф.: «У друзей. Не хочу Соню волновать! Товарищи из ЦК правы насчет книги! Сам не пойму, что со мной было! Затмение какое-то! Как я мог допустить подобные идеологические просчеты! И так нескромно вести себя на Коллегии! Ну что же! Буду работать над собой! Буду каяться перед товарищами!»

А наутро он является: «Могу я у тебя пожить? Я от Сони¹ ушел!»

И проходит в комнату не разуваясь.

Кидает портфель в углу.

«Новости дня! – Надя осмотрела его с ног до головы (время 6 утра). – А ночевал-то где?..»

¹ Соня – жена.

– У Марьи¹, где! – папа поднял лицо, и ее поразили черные круги у него под глазами и вместе какое-то накаленно-веселое, совсем не утреннее выражение лица. – Значит, увидишь Соню, передай, что – всё!.. Передай, что – убила!.. Убила наповал!..

Слова его казались бредом. И не только слова. Сам голос его с той минуты, когда, разбуженная и напуганная ранним звонком в дверь, в халате поверх рубахи, открыла и впустила его... – сам голос его шел, как заваливающийся из стороны в сторону трактор поперек пашни. Поперек того, какой он был всегда.

– Новости дня! – только и повторила в растерянности.

Кишинев, Роз 37, март 1970 г.

– Знаешь, что она говорит?! – он прошел в ванную. – Нет, лучше тебе не знать!..

Открыл кран в умывальнике.

– Мстит мне! – обмыл лицо. – Но за что?!.. За любовь?.. За верность?..

Был он в служебном своем, но сильно помятом костюме, обе штанины потемнели внизу, точно он по полям всю ночь разгуливал, по колено в росе.

– Она моя единственная!.. – высморкался под краном воды. – Других я не знал!..

Кажется, он слезу дал, когда про *единственную* говорил.

А если и не давал слезу, то во всяком случае Надино сердце кубарем полетело с шестка – от боли за него.

– Вот пускай и любит, кого хочет! – прорычал. – А я – всё!.. Убила!.. Убила!..

Тут будильник прозвенел.

Пошла сына будить, собирать в школу.

Папу на балконе нашла.

Там все тонуло в рассветных хлопьях.

«Что ты спрятал там?» – показала на плиту шифера.

«Ничего!» – выпрямился среди бельевых веревок.

«Я видела, ты прятал!»

Съел.

Только голова затренькала мелко и воинственно – точно из нее отстреленные гильзы отлетают.

– Ладно! Перепрячу! – пообещал с угрозой.

И вывел... какую-то папку из-за шифера.

– Вот тут вся правда! – сдул с папки пыль. – Про то, что она на 3-м месяце была, когда из ка-
такомб вышла!.. А ей не верь!.. Это месьть ее ко мне!..

– Чья месьть? – не поняла Надя. – За что месьть?..

И... примолкли оба.

Потому что сын (Витька), ушки на макушке, смотрел из-за занавески.

– Как краси-иво! – протянула Надя.

И повела рукой перед собой – над бельевыми веревками.

Верно, красиво было: Долина Роз намылена рассветом. Небо пожелтело от солнца, заслезилось от лучей. Морщинки тепла в нем обозначились.

¹ Марья – домработница с 1954 года.

– Витя, завтракать! – опомнилась.

Загнала ребенка в кухню, чтоб не слушал всех этих странных разговоров.

5.

Вечером того же дня.

Послышалось «делёнь-делёнь!» со двора.

Это мусорщик с погремком шел вдоль 5-этажки.

За ним «Горьковская Автозаводская» подтягивалась.

Воздух всего двора был поражён ее мусорным зловонием.

Из подъездов сходка с вёдрами началась.

В кузове ГАЗа среди смрадного живагнива блестела винтовая спираль, прессовая мышца огромной и свежей силы.

Двое рабочих с лопатами утыкивали народные приношения под её давящую.

Протолкавшись к кузову, Надя отдала рабочему свои вёдра.

Быстро и добросовестно он выбил их об борт кузова.

С пустыми ведрами Надя стала пробиваться наружу из наседавшей толпы.

На 3-м этаже двое мужчин стояли возле электросчётчиков.

Старый и молодой.

Старый вертел в руке записку с адресом, сверял с номерами квартир.

– Здравствуйте, дядя Шура! – громко сказала Надя. – Наконец-то!..

– Привет! – отозвался старый. И осмотрел ее с ног до головы.

– Я Надя! – представилась зачем-то она. – Левушкина жена... И я вас только завтра ждала!..

– Завтра ему поздно! – багроволицый, плотный, с серо-стальными, широко разведенными по краям лица глазами, дядя Шура кивнул на молодого. – Это Фогл!.. По Левкиному вопросу!..

– Очень приятно! – Надя подняла глаза на гостя и покраснела. – Спасибо Вам!..

Гость был аполлон: плечи, грудь, икры, вьющиеся волосы на большой голове – всё какое-то выставочное, восклицательное. И смотрит на тебя так... точно с ладони на ладонь перебрасывает.

Вошли в квартиру.

Вьетнамский бамбуковый «дождик» разделял прихожую от гостиной.

– Я виновата, не направила Левушку по верному пути! – зашептала Надя, слушая, что там, за бамбуком. Не идёт ли папа из комнаты.

Папа не шел. Вообще никак себя не выдавал.

– Поддержала, когда из цеха огнетушителей уволился, – шептала Надя, – потому что там никель, а у Левушки лёгкие слабые! Это было давно, еще Витька не родился! Левушка тогда приходит и говорит: «Я женскую обувь шить буду!» А я ему: «Давай!» Не знала, что это с торговлей связано...

– На! – перебил дядя Шура. – Сыну конфеты! – протянул бумажный кулек. – И это... покажи мне Витьку!..

– Сейчас! – засуетилась Надя. – Он во дворе!..

Кинулась было к двери... но... не с кульком же конфет во двор.

– Чем это пахнет у вас? – принялся дядя Шура. – Мастика?.. Я дышать тут не смогу!..

– Мастика, да!.. Левушка взялся паркет класть! И не закончил!..

– Все планы сбили мне! – наклонившись так, что живот выкатился до пола, дядя Шура стал расстегивать сандалии. – Думал квартиру на Кишинев менять – к вам поближе!..

При разговоре он сопел астматически.

И обильным потом обливался.

Молодой гость дождался, пока он разуется, и пошёл за ним не разуваясь – в бамбуковый дождь.

Окно в гостиной заголилось без занавесок.

Солнца было столько, точно каша из горшка сбежала.

Худенький папа в измелованной рабочей одежде сидел спиной к вошедшим. Возился над битумной темнотой пола.

Он не обернулся на голоса, и Надя решила: так лучше. Пусть гости думают, что это паркетчик работает.

– Идемте в кухню! – позвала. – Есть полный обед!..

И пропустила гостей вперед.

Дядя Шура ходил вразвалочку – как для внушительности многие невысокие люди ходят.

Тогда как у спутника его походка была без сверхзадачи: просто идет себе рослый, физически убедительный человек.

Надя вошла в кухню последняя. Прикрыла за собой дверь.

В кухне.

– Ну что, – сказал дядя Шура, – военный совет... объявляю... открытым!..

– Спасибо!.. – только и ответила Надя, косясь на второго гостя.

И стала греметь суповым половником. Чтоб слёзы подавить.

В кухню тоже навешивалось избыточное солнце: точно к носу кулак поднесли.

– Значит, это Фогл! – дядя Шура качнул головой в сторону гостя. – Из иностранной делегации!.. Они сегодня в Кишиневе, завтра в Киеве, а послезавтра... в Кремле их принимают!.. Правда, Фогл?!

– Да, правда! – подтвердил гость. – Возможно, сам Брежнев примет нас! А если не Брежнев, то заместитель Брежнева!..

Надя чуть не упала от звуков его голоса.

Речь его была понятной, но какой-то невозможной.

Как если бы слово *дыня* означало *арбуз*.

– Ну... давай думать, – обратился дядя Шура к Наде, – что там Фогл Брежневу объяснит... про Лёвку!..

– Спасибо! – только и повторила Надя.

– Да что вы! – удивился Фогл. – Ведь когда я был совсем молодой человек, то Иосиф Стайнбарг принял меня на работу!.. Я должен вам!..

Он был загорелый, пожилой. С бараньими глазами навывкате. Само телосложение – какое-то полунеприличное, конское.

– Объясняй тогда, – велел дядя Шура, – чтоб понятно было!.. Иосиф... Стайнбарг... это отец... Лёвки...

Почему-то его лицо стало недовольным.

– Ага, отец Левки! – повторила Надя.

И посмотрела на гостя.

Как будто ждала чего-то.

Как будто его очередь была – произнести «отец Лёвки».

Но он только заморгал часто.

Будто паузу выдерживал. Или в карточной игре ход пропускал.

– А вот в *Chantal*, маму Лёвки, – сказал он отморгавшись, – весь Орегов был влюблен! Но, увы, она... одного мужа своего любила!..

– Это про мою... – пояснил дядя Шура, – сестру!.. Ладно, где бумаги? (словоохотливость Фогла сердила его). Из прокуратуры бумаги неси!..

– Несу! – с черпаком в дрожащих руках Надя стала разливать суп в тарелки на тесном столе.

Все-таки слезы текли и текли у нее из глаз.

Выходило смешно и жалко: слезы над кастрюлей с супом.

Тогда она и заговорила (чтобы полной душой не казаться!) во все припасенные слова.

– Дядь Шур, вы меня простите, – заболтала черпаком в кастрюле, – но Левушку всегда задевало, почему вы про семью его скрываете! Не делитесь совсем!..

– Получил? – перебил дядя Шура (и на Фогла посмотрел). – Болтун находка для врага!..

И кивнул на Надю.

– Я не враг! – воскликнула она. И – мало ей было восклицания – еще и кулаком потрясла. – Но мне за Леву больно! Он же сирота вечный! Не верит никому! Ни в коммунизм, ни в доброту человеческую! Он бы торговать не пошел, если б верил! Почему Вы все скрывали от него?..

– Значит, было что скрывать! – дядя Шура отодвинул тарелку.

Прямота его ответа поразила Надю.

– Стойте!.. – бросила черпак. – Не уходите!..

Но – поздно.

– А отец твой не скрывал?! – загремев табуретками дядя Шура поднялся из-за стола. Выбрал кусок хлеба из хлебницы. Закатал в салфетку. Спрятал в карман.

– На выход! – приказал Фоглу.

– Мой отец?.. – Надя перегордила ему дорогу. – Вы что?!.. Моему папе нечего скрывать!..

Невысокий дядя Шура стоял перед ней так, точно сейчас таранить будет.

– Вы что?!.. Мой папа честный! – одной рукой Надя ухватила за стол, другой за газовую плиту. – Он только попросил, чтоб я за Леву замуж вышла! Зачем-то ему надо было, чтоб я за Леву вышла в 18 лет!..

– Да уж, пора и правде выйти на свет! – вмешался вдруг паркетчик в гостиной. – Хотя бы и нелегкой правде!..

И тогда сам паркетчик возник на пороге кухни.

– Это папа! – очнулась Надя.

– Ну что, Шурк, – сходу заговорил папа, – с могилой для Иосифа я вам помог?!.. Шантал вам отпустил на четыре стороны?!.. Теперь ты мне помоги!..

– Вы знакомы? – ахнула Надя.

– С этим бандитом? – рассмеялся папа. – Ха!.. С детства!..

И вывел папку из-за спины.

– Сможешь, – протянул Фоглу, – Брежневу отдай!.. А не сможешь – вывези, припрячь!.. Это про то, что Соня беременная была, когда я ее из катакомб выпустил!.. **Уже** беременная, понял?!.. **Уже** на 3-м месяце, вот так!..»

4. Рапорт-РНО-99904 (пр-е 4).

Записано со слов Пешковой Н.

Ул. Роз, 37, кв. 29.

25. 3. 1970. 18 ч.

Дядя Шура (фамилию не знаю): «Познакомься, это Фогл из иностранной делегации! Сегодня у них Кишинев по программе, завтра Киев, а послезавтра их в Кремле принимают! Правда, Фогл?!..»

Фогл: «Правда! Возможно, сам Леонид Ильич Брежнев примет нас! Я постараюсь поднять вопрос о вашем муже!»

Пешкова Надежда: «Спасибо!»

Фогл: «Оставьте! Я в долгу у отца вашего мужа. Когда-то, еще до прихода Советской Власти, он принял меня на работу! И жена его была добра ко мне!»

Ильин (Шор) П.Ф. (выйдя из соседней комнаты): «Здравствуйте! Я слышал, Вас примет руководитель Советского Союза! 20 лет тому назад мне довелось работать под его началом! Передайте ему эту книгу. Пусть он рассудит, нужна ли она советскому народу!»

Вручает рукопись Фоглу.

Часть III

I.

Хвола. По ту сторону Днестра. 1935.

Когда в Рыбницком НКВД Хволе Москович предложено было самой определить свою национальность на основе нац. самосознания, она определила себя молдаванкой. Так Софийка научила (с которой вместе *перевезали*). И впрямь это ускорило процедуры (ИИП-42¹). Численность молдаван в Молдавской АССР уступала численности украинцев и русских. Местный НКВД был заинтересован в притоке коренного населения.

Записали в училище сахарного завода, поселили в общежитии.

Все другие учащиеся были из советских сёл (одесская Бессарабия). Хвола пробовала завязать с ними товарищеские отношения, но поняла, что отпугивает их своим внешним видом: полнотой, рыжими волосами.

Даже спецодежда, единая для всех, не сделала её *как все*.

Город Рыбница, Молд. АССР, февраль 1935.

Софийку меньше избегали. Она была с гладким волосом, худая. В разговоре произносила слова быстро-быстро, чтоб утопить акцент. К тому она еще и стала называть себя «*Соня*». Это вполне советское имя.

Не то, что «*Хво-о-о-ола*».

По воскресеньям Хвола уходила на рынок – говорить по-русски с молдаванами, русскими, украинцами. Подражать их разговору.

¹ ИИП-42 – спец. справка о временной регистрации перешедших (нелегально) в советское подданство из подданства капстраны.

Софийка высмеяла её за эту старательность: мол, с ними не говорить надо!

«А что же тогда с ними *надо?*» – удивилась Хвола.

И... отвела глаза.

Столько пугающей ясности выступило в лице подруги.

«С *ИИП-42*, – внушала она Хволе, – мы всегда будем *перебежчики!* До гроба! Особенно в этой дыре! Но – рванули в Тирасполь, а?! Там набор кадров на заводы, обучимся советской специальности! Получим паспорт СССР! Будем как все!».

«В Тирасполь? Без открепления? – ужасалась Хвола. – Я не могу!»

Тогда Софийка пригрозила: ну ты как хочешь, а я рвану!

Поражал ее авантюризм: наврала в НКВД, что ей 19 лет, чтоб в детприемник не посадили. Нанялась на поденку в дом советского инженера и все деньги тратит на духи-помаду. В суповой кастрюле варит тушь для ресниц. А теперь вот – в Тирасполь без открепления!

Хвола не могла без открепления.

Она оделась, привела голову в порядок, чтобы идти к секретарю училища откреплением. Но, едва представив себе его: в белой украинской рубашке, толстого, с бородавками по всему лицу – охнула и не пошла. Такой он крикун.

Но Софийка права: нужна советская специальность! В училище – не то. Объявляли, что выучат на технологов (сахарного пр-ва). А на деле? Буртованье свеклы в подвалах с крысами.

И насчет *ИИП-42* – Софийка опять права: клеймо на всю жизнь.

Уехали без открепления.

2.

В Тирасполе не знали их прошлого. Но сюда съехались толпы из бывшего вольнонаемного состава армии. Этому контингенту всё доставалось в 1-ю очередь: работа, профтехшколы, расселение по общежитиям.

Снял комнату у сторожа кладбища, вдовца. Он был жлобáн. Но согласился не брать денег за постой, а чтоб с поденкой помогали (стирка, огород). Угадал, что Софийка проворная. Сам он занимался незаконной выпечкой опрессенок и открытым попрошайничеством. И не скрывал сионистских взглядов, неприемлемых для девочек.

...В марте город наводнили многодетные семьи с Украины. Про них распускали страшные слухи – будто бы они ели человечину в голодное время и с них взята подписка о неразглашении.

Обстановка в городе стала тревожной.

Тогда сын сторожа говорит: бегите в Харьков, я там учился на электромеханика и мечтаю вернуться. Это огромный город, в нём жизнь кипит.

И дал адрес своего дружка в Харькове. Некого Петра.

«Это золотой парень, тоже с *ИИП-42*, но выправил метрику и теперь *как все!*.. Попросите, чтоб и вас научил!..»

Между тем он не отходил от Софийки. Ну просто ни на шаг.

Лица их сделались как одно. Ресницы – и те хлопают одновременно.

Перед сном в темноте Софийка заплакала тоненьким голоском и, дождавшись, пока Хвола встревожится и станет задавать вопросы, открыла, что она и *Шлёма* (сын сторожа) стали супруги,

и ее планы поменялись. Завтра она едет в Харьков, где выправляют метрики на *как у всех*, а на другой день назад к *Шлэме*.

«Но только не оставляй меня, Хво!.. – ударились она в слёзы. – Ведь ты мне как сестра!»

«Не оставлю! – пообещала Хвола. – Но только... не понимаю я тебя! Вчера – *господин Адам...* Сегодня – *Шлэма!*..».

«А завтра? – шмыгнула носом Софийка. – А послезавтра?..»

В темноте рассмеялись обе.

Бежали в Харьков в вагонах с фруктами.

Духота – в 5 утра дышать нечем.

Харьков. Июнь 1935.

Отыскали дом, где Шлёмовский дружок.

Марля на дверях.

Блаженный дух сырости из темноты квартиры.

Стали стучать по дверному косяку в коричневой тусклой краске.

Косяк мягкий, стука не слышно.

Наконец шлёмин дружок вышел.

Хвола... ахнула.

Это был Сёмка из Резены (сын Шора одноглазого).

Ну тот, чтов матросы сбежал.

– Не Сёмка, а Пётр! – стал оправдываться он. – И не в матросы, а в судовые механики! Пока не увидел, что и в открытом море имеет место эксплуатация человека человеком!.. Ладно, зачем пришли? – и выставил грудь, преграждая вход в квартиру.

Сбивчиво объяснили ему – зачем.

– Вранье, я не выправлял себе метрику! – гримаса стыда прошла по его лицу. – Я закончил ФЗО автотранспорта и вам советую! Только автотранспорт даёт путёвку в жизнь и военное звание! Мой совет: бегите в Ленинград, там женщин тоже мобилизуют!

А в дом не впустил. Хволе передалась неловкость, исходившая от него.

Но Софийку так просто не выставить.

– Молодой человек! – пропела она. – Мне нужно, во-первых, помыться с мылом и горячей водой!.. а во-вторых... выправить метрику!..

Есть в ней такая способность – заставлять считаться с собой.

Через месяц – с выправленными (*Место рождения – пос. Лидиевка, Богдановский р-н. Круглая печать Сов. хоз-во «Красный виноградарь», УССР*) метриками и спецлитерой для получения паспорта СССР бежали в г. Ленинград.

Спасибо, Пётр (*бывш. Семён*)!

Хотя – редкий случай! – чем-то он Софийке не понравился.

(«*Не обижайся, Хво, но у меня прям колики в животе – от его голоса!*»)

Такая лапка со всеми мужчинами, с ним она завела тон грубый, даже издевательский.

Зато Пётр явился на станцию.
Губы дрожат.
В глазах мокро.
Не выпускает Софийкину руку из руки: «Я уверен, мы будем вместе!.. Мы обязательно скоро будем вместе!»
(Тоже мне. Шлёма №2. Господин Адам №3.)

«Ну хорошо!.. ну будем вместе!.. ну чего расплакался-то?!» – пела ему Софийка (строая при этом издевательские рожи за спиной!).

Эх, если бы он видел, как она в дороге себя поведет!
Все вагонные проводники ей мужа.

«Поступлю в ФЗО автотранспорта, – планировала Хвола, – получу паспорт СССР, и – даже видеть эту *фреху* не хочу!..»

Потому что Софийка совсем потеряла стыд.

В поезде проводники ей покоя не давали. А она потешалась над Петром, над его любовью. И над тетрадкой стихов, которые он отдал ей на харьковском перроне.

Оказывается, он стихи публикует!

Под именем «*Петр Ильин*».

Хвола не знала, верить или не верить, но Софийка уверяла, что... («Только никому не говори, ладно?!»)... так вот... она уверяла, что («по заданию ОГПУ!.. но только молчок, обещаешь, Хво!»)... вот так... Пётр (*бывший Сёмка*)... возвращается домой, за Днестр – для разведработы.

3.

Дома, за Днестром.

Chantal.

Всем кажется, что Иосиф С. равнодушен ко мне.

Он завел моду подходить к нашей компании.

Нас целая орава, но все уверены, что это из-за меня.

Это потому что я *особенная*: только-только из Кишинева, с *diploma ku distinctie*¹.

Оргеев. 1935.

Ну, я не отрицаю: от Иосифа С. исходит непростота.

Вот пример.

Стоим мы у гастрономии Франта. Вдруг разнеслось: «Жаботинский² едет!.. Жаботинский с конгресса едет!..»

Я не знала, кто такой Жаботинский, но помалкивала о том.

Мы толпились у гастрономии, ждали, пока все наши соберутся, чтобы гурьбой на станцию.

За витриной «Франта» был кафеинный уголок с единственным столиком. Хаим Лопатин и оба брата Воловские обедали там. Потом к ним Боберман подсел, заместитель мэра... Им не понравилось, что мы с улицы глазеем на них. Они подозвали Мойшу Франта, и он, не удостоив нас взглядом, но с важно поднятой головой и преувеличенно-прямой осанкой, приплыл к витрине и закрутил штору на струнах.

Я думала, что Жаботинский один из них. Откуда мне помнить всех оргеевских мануфактурщиков или заготовителей зерна.

¹ диплом с отличием – рум.

² Владимир Жаботинский, лидер сионистского движения 1920–30 гг.

Вдруг шторка снова отъехала.

И в выпахе папиросного дыма Иосиф С. выставился в витрине.

Щурясь, он папиросу курил.

Впервые я видела его задумчивым. Даже печальным. Без этого веселого удивления хорошо выпавшегося человека на лице.

Но задумчивость ему не шла.

Но не в этом дело.

А в том, что он стоял в витрине и курил, а все повернули головы в мою сторону.

Июнь 1935, Оргеев.

– ...Но ты действительно *нравишься ему!* – заявила мне Изабелла Броди, когда шли от станции домой.

Изабелла – это подруга по гимназии, потом по фельшерскому училищу. Балованная форсунья с вечно поднятыми бровями. Из-за этих полувыщипанных, капризно поднятых бровей всё ее лицо кажется туповатым. Но Белка далеко не глупа, и выгоды своей никогда не упустит. И мне даже нравится ее безразличие к тому, что о ней думают. Вот пример. Гуляли мы у жирного Унгара на именинах, и, пока танцевали на веранде перед сладким, кто-то надкусил все, я повторяю, все (!!!) яблоки в вазе. Бедный Унгар опомниться не мог. А Белка и запираться не стала: ну да, а что такого, подбирала себе по вкусу! Уникум, ха!.. Но Кишинев нас навеки породнил. Сон золотой.

– *Нравлюсь ему?* – возразила я ей. – Тогда почему он не трудоустроит меня в больницу?..

– Хорошенькая идея! – воскликнула Белка.

И подняла свои недовольные, свои капризные брови.

– А ты к нему обращалась?..

– Еще чего! – отрезала я. – Стану я! Из-за такой ерунды!..

Ничего себе «ерунда»! Трудоустройство в больницу занимало все мои мысли. Приехав из Кишинева, я на другое утро подала прошение в попечительский совет уездной больницы, но про меня забыли. Несмотря на *diploma ku distinctie*.

Но тут мы поравнялись с грошн-библиотекой и... право, я не знаю, как это объяснить... но там Иосиф С. стоял с решительным видом. Да, он стоял на крыльце и читал газету. Улыбаясь, он смотрел на нас.

Белка ему ответнопросила.

Он спросил о Жаботинском, и я решила не отмалчиваться. Чтоб не разделять непростоту, идущую от него.

Я стала рассказывать, что, когда дрозд-фигур «Яссы – Кишинев» остановился у перрона, то разнеслось, что Жаботинский спит, но следом – ах! – мы увидели его в открытом окне 3-го вагона. Что тут стало! Поалеи Цион засвистели «Бу-уз!.. бу-у-уз!»¹, но бейтаристы не дремали. Встав цепью у вагона, они выставили локти с сжатыми кулаками над головой. Я думала, будет драка. Но вмешалась третья сила: «*Gidan keratc ve afara la Palestina!*.. – закричали в головном вагоне – *Să trăiască Octavian Goga!*»². Там фашисты ехали...

Я трещала так, что забила Белку.

Иосиф Стайнбарг слушал меня не перебивая.

Но он слушал как-то очень странно. Как будто у меня мыльные цветные пузыри от лица идут...

¹ «позор!» – ивр.

² «Евреи, убирайтесь в Палестину!.. Да здравствует Октавиан Гога!» – рум.

Но мы исчерпали тему Жаботинского.

Наступило молчание, и... Белка в самых простых словах попросила Иосифа С. устроить её на работу.

Неслышанно, что об устройстве на работу говорили с такой простотой.

Моя мама плачет с утра до вечера о том, что я не устроюсь на работу. Она уверена, что папины неудачи в делах перекинутся на меня.

Спустя 2 недели.

Поэтому я утаила от мамы, что Изабелла Броди – со вчерашнего дня – рентген-лаборант в уездной больнице. Благодаря Иосифу С.! Хотя в училище у нее были самые средние отметки.

Просто плохие отметки по сравнению с моими.

Я ушла в лес и плакала.

Мама считает, что если я не устроюсь на работу, то и замуж не выйду.

Испугала! Проживу одна.

И Иосиф Стайнбарг мне не нравится нисколько.

Вертявый, старый.

И этот нос с кружочками наружу – фу!

...Мама уже заговаривает о том, чтоб научить меня шить на пару с ней: рейтузы, нижние юбки... Если уж не выходит с медициной.

Не бывать сему!

Не собираюсь хвастать, но *professor Kosoi*, читавший нам анатомию и малую хирургию в Кишиневе, сказал мне по окончании курса: «Пусть этот разговор останется между нами, но, *Mademoiselle Chantal*, с Вашей стороны будет ошибкой: застрять на фельдшерском уровне!.. Да-да!.. Это будет непростительной ошибкой – с Вашей стороны!»

Вот такие слова.

Всякую ночь я вспоминаю их.

Всякий поздний вечер на сходе в сон...

И неизменно переносюсь туда, где улицы так длинны, что загородняя даль – Яловены... Мунчешты... – поливает им на руки из своего наклоненного кувшина...

О кишиневолшебный!

Его фонтаны, его штормящие парки!..

Его Арка Победы с золотым циферблатом... зверинец братьев *Tonzi* со львами и тиграми... тревожные оперы *Пушкина* на летних сценах...*армяне* с улицы Армянской...

И вправду, кого тут можно встретить, в нашем захолустье? Разве деревенских молдаван в базарные дни или подгулявших русских в зимние праздники?!

Вот так и проживешь – не увидав армян, не услышав об их существовании!.. И я не говорю о *греках* и *одесситах*!..

Эх, если бы не мамино больное сердце (и подозрение на наследств. д-т) и если б не папин большой пузырь... – только бы видели меня тут!

Только бы и видели.

4.

Chantal. Мнимая простуда Иосифа С.

Но этот Иосиф Стайнбарг...

Точно фруктовая пыльца, разносится он повсюду.

Например, сегодня... возле клумбы примэри¹.

– Я простужен, – сказал он, – не могли бы Вы прийти поставить мне банки?..

Ноябрь 1935, Оргеев.

«Изабеллу Броди позовите! – подумала я. – Пускай эта выскочка ставит Вам банки!»

С трудом я слёзы переборола.

Но... мама заняла банки у соседки.

Пришлось мне идти.

...Иосиф Стайнбарг снимал особняк у m-me Резник.

Большеглазый подросток-денщик встречал меня на пороге.

И коротконогий, с веселым лицом, бранештский молдаван вошил полы тряпкой с жиром.

В одних байковых шароварах Стайнбарг улегся на диван возле пианино.

Все позвонки на спине выступили.

Я запалила фитиль и... а-а-а!.. а накрыть затылок полотенцем?!..

Забыла, идиотка!..

А-а-а!..

Застыла с пламенем на весу.

Пианино скалится по-лошадиному.

Услыхав мой вопль, подросток-денщик явился.

Перехватил огонь.

Дальше – хуже.

1-я банка... 2-я банка... 3-я банка... 1-я банка отваливается... 1-я банка... 2-я банка отваливается...

2-я банка... 3-я банка отваливается... Банки не прилипают. Почему?..

Краем глаза я видела, что, постелив чистые коврики на пол, молдаванинуходит в дверь.

И подросток-денщик удалился и того ранее.

Тогда я сбросила все банки в сумку.

Унеслась не попрощавшись.

45 минут спустя.

Посыльный от Иосифа Стайнбарга доставил мне конверт на дом.

Мама открыла и ахнула.

¹ городское управление – рум.

50 лей! (Красная цена – 15.)

Мама: «Эх, если бы ему каждую неделю нужно было ставить банки!»

«Но он нисколько не простужен! – дошло до меня. – Не кашлянул ни разу!.. Так вот почему банки не прилипали!..»

5.

В те же дни.

Хвола.

После 8-часовой испытательной смены Софийку приняли в ФЗО автотранспорта, прописали в комнату к другим уч-ся на улице Ядвиги Самодумской.

Хволе отказали.

Она вернулась в Рабочий Поселок-2 к Кушаковой.

Ноябрь, 1935, Ленинград.

Кушакова, бывшая перчаточница, жила тем, что брала к себе приезжую деревню на короткий срок. Отлавливала на перроне вокзала. Брала деньги вперед. Обещала работу: шить шпильки для завивки волос из обрезков кожи. Врала, что Рабочий Поселок-2 это близко, 30 минут от середины города (а оказалось 2,5 часа по ж.д.). И что там прописку дают. Но по приезду стала пугать историей об убийстве Кирова и о бандитских случаях. Показала 2-этажный барак из серого дерева, где изнасиловали и задушили молодую крестьянку.

Но она устроила Хволу на фабрику-кухню в ночную смену. Всё выгоднее, чем шпильки шить, на пятак 100 шпυлек.

На фабрике-кухне Хвола и 2 приезжие девушки-башкирки мыли котлы и разборные детали хлебрезки. Чистили картошку в чёрной оцинкованной ванне. В помещении не было окон. Воздух проникал через вентиляционное гнездо под потолком. Смена – с 7 вечера до 7 утра.

Утром у водоколонки Хвола разговорилась с элегантным, но очень грустным блондином («Антон Козловский, 35 лет!») с тёмными глазами. Острая челка молодила его. Видимо, он стеснялся своей молодой внешности и потому объявлял возраст, когда представлялся.

Жил он в Ленинграде, учился в Пищевом. В Рабочем Поселке-2 – из-за сестры, ослепшей после скарлатины.

Он попросил Хволу ночевать у сестры, пока из деревни мать придет (через 2 недели, когда посадит огород). В благодарность обещал устроить на кондитерскую ф-ку им. Самойловой. Черно-рабочей на первое время. Но с переводом в завёрточники. Когда-то он и сам так начинал. Но проявил себя. И вот – фабрика направила его в филиал Пищевого на учёбу. А в Пищевом его в комсомольское руководство выбрали.

Хвола и одной минуты не колебалась.

Конечно, фабрика!

Но так, чтоб Кушакова не пронюхала.

Потому что Кушакова не хотела терять жильцов и говорила: вот, я заявлю на тебя (на Хволу) в связи с убийством Кирова.

Кондитерская фабрика.

Мастером цеха был Лёва Корчняк, из дворянской семьи, но комсомолец.

Он выдвинулся из школы ФЗО. На фабрике ему сочувствовали из-за бывш. жены, психически ненормальной, скандальной. Она трепала ему нервы из-за их 3-летнего сына: то отнимет через суд, то приведет к проходной: «Забирайте этого выродка, он меня измучил!» А когда горсуд лишил её материнских прав, стала писать доносы, что у Корчняков польские иконы в доме.

Но Корчняка все любили на фабрике. Не очень красивый внешне (сутулый, с узким лицом и большими ушами), он покорял добротой и деликатностью. Без него не освоили бы вакуум-аппараты, варочные котлы и другую новую технику.

Хвола оценила его светлую душу, когда из чернорабочих ее в заворачивальщицы перевели. В то время цех как раз переходил от ручной заправки к машинной. Хвола прилагала все старание, но у нее плохо выходило. Пальцы, локти, суставы плеч не умели выработать правильные движения. Руки уставали. Реакция подводила. Она была в отчаянии. Боялась, что ей вынесут порицание. Скажут, что не способна к советскому труду.

Но Корчняк покорила её своей деликатностью..

Он легко выговаривал «Хвола», но когда от фабрики оформляли представление на советский паспорт, предложил перейти на «Ольга». Так всем будет понятней.

Корчняк.

В марте поехали в Вырицу, где работникам выделили участки.

Жена Корчняка привела ему сына к грузовикам.

У неё была внешность смещённой королевы класса: красивой, но уязвлённой, растерянной.

...Ехали часа два.

Сидели на узких бортовых лавках в кунге.

Проезжали над какой-то рекой.

Речной лёд шкварился в лучах солнца. Множественные дымки вились на нём, точно в поле ботву жгут.

Над береговыми посадками солнце летело, как каток в блоке.

Грустный Лёва Корчняк с 3-летним сыном на коленях сидел рядом.

Хвола не могла отвести глаз от низких дымок над речным льдом.

Еще бы! Ведь сегодня – ровно год с *того* дня (зима... Резена... Днестр... в белых простынях по белому льду... Ах, мама-папа-Адасса! Увижу ли вас когда?..).

И тогда – что-то поменялось в мире.

Как будто прикоснулся кто-то. Как будто за руку взял...

Хвола похолодела.

Осторожно повела головой по сторонам.

Это был Корчняк.

Одной рукой он придерживал на коленях сына Витеньку... но свободная его рука... нашла Хво-лыны-Ольгину руку.

Неужели это *он*?

Тот, кого она с детства рисовала в мыслях.

О ком папа говорил: «Хволэ, не грусти, *твой* человек уже родился! *Он* уже ходит по земле!»

Простое ли это совпадение – что именно сегодня... *его* рука?

Нет, не простое.

Это *он*.

Хотя и с большими ушами.

Это для встречи с *ним* – я перешла через Днестр.

Часть IV

Г.

Через 40 лет.

Лазарев. Стажировка в Москву.

Лазарев целовал Надю за колонной аэропортовского буфета.

Они были скрыты от глаз, и только буфетчица, когда отступала к зеркальной полке с ассорти-ментом, могла видеть рыжие борты лазаревской дублёнки.

За буфетной стеной полигонный шум самолетов не смолкал.

Прислушиваясь к нему, Лазарев уговаривал себя, что не боится отрыва от земли и 8000 м воздушной пропасти.

Кишинев. Аэропорт. 1974, февраль.

Он целовал... нет, скорее тыкался подбородком, ртом и носом в пятно Надиного лица. В общественных местах она была недотрога. Но теперь ему показалось, что его поцелуи и беспокойные руки делают свое дело, его плотское пламя перекидывается на неё, вот и плащик смягчается и губы рождают ответный вздох...

Но, покосившись на её поднятое лицо, увидел открытые глаза, терпеливо глядевшие в сторону, и щепки помады на губах.

– Ну вот! – отстранился он. – В чём я виноват?..

В новой дубленке ему стало неповоротливо, душно.

– Ни в чём! – поправила она волосы.

– Я ведь не развлекаться еду!.. Вот вредная!..

Помолчали.

Лазарев ожидал, она скажет: «А чего! Можешь и поразвлечься!»

Но она не сказала.

– Ты ведь знаешь, что для меня Москва! – заговорил он сбивчиво. – Для моего роста! Для всего будущего моего!.. И нашего!..

И, ничего не добившись этой глуповато-взволнованной тирадой, принужден был добавить:

– Обещаю, Надьк! В Музей Толстого в первые же дни!.. А хочешь – прямо с самолета!..

Вот это было в точку!

– Найди все письма Льва Толстого в Молдавию! – захлопала она ресницами. – Ты понял – все! До единого! Не важно, какого года!..

– Найду все письма Льва Толстого! – подтвердил. – С сотворения мира – и по наши дни!..

– И с этим... Шлёмой поговорить! – добавила с холодком в голосе. – Про харьковский период!..

– Святое дело – про харьковский период! – согласился охотно.

Прижалась благодарно.

– А это правда, – заулыбался, – что в детстве ты без спроса, одна, ездила в аэропорт?!.. Посмотреть, как самолёты взлетают!..

– Было дело! – подтвердила. – Возле той решётки стояла!.. – кивнула куда-то вбок.

Лазарев посмотрел, куда она кивала.

Глухая стена.

– А вообще-то неправда! – передумала. – Так, приезжала с папой за компанию – покупать автодетали у таксистов! Таксисты тут из-под полы спекулировали, а я просто с папой любила ездить – все равно куда!..

«С папой любила ездить» было произнесено с нажимом, обидным для Лазарева.

И потому он мог бы себе позволить ответный сарказм. Что-то вроде: «Еще бы! С таким папой!».

Но не позволил. Пощадил.

– Автодетали? – спросил нейтрально. – Зачем?..

– Папа своими руками «Победу» собирал!.. Купить – денег не хватало!..

И Лазарев снова почувствовал укол. Как будто он виноват в том, что ее папаша (военный в чине и писательский секретарь) на «Победу» не накопил.

– Ну вот чего ты дуешься? – расстроился он.

– Представляю, какой ад был в его душе – из-за мамы!..

Наконец в ее голосе яда не было.

Потом, в самолёте, пока разогревались турбины, он вспоминал, как поразили его открытые Надины глаза, глядевшие в сторону, их терпеливо-скорбное выражение.

Его затрясло от обиды.

«Хохотушка! – подумал сердито. – Баба-ураган!.. Мастер показухи на самом деле!.. Мол, как ей важно всё, из чего я состою: мои мысли и вкусы, учителя, друзья, Кастанеда-Гуржиев-Беркли!.. Хм-м. Пока не прихлопнула, как комара. Штампиком ЗАГСа по голове! А теперь и притворяться не желает!..»

Выехали на взлётную полосу.

Взлетели.

Пришлось отвлечься.

«Что держит самолет в воздухе?» – вопрос, так и не решенный Лазаревым, неизменно лишавший его сна в ночь накануне вылета.

Помнится, даже конспект завел с выписками из «Науки и жизни»: что-то там про плотность воздуха, уравнение Бернулли, расчет подъемной силы крыла...

Фигня.

Утробный страх пересиливал.

Это когда идешь себе на земле, увлекаешься, мыслишь, и вдруг – самолет...

Давно он понял: одна его собственная воля к жизни (молодость, жажда славы, инстинкт будущего...) заставляет самолет лететь. Воля к ночным пляжам Планерского, воля к тартусским лекциям Лотмана о структуре стиха, воля к покорению Мунку Сардык в восточных Саянах...

И не дай бог постареть.

Постареешь, утратишь вкус к жизни – никакой Бернулли не вытянет!

Итак, взлетели.

Пламя целой жизни заколебалось... и уравновесилось.

Моя взяла.

Так на чем же я остановился...

Ага. Надя.

«Всё показуха! – возобновил свое ожесточённое размышление. – Прямота, крупность! Отчаянность и бесшабашность. С голой шеей в любой мороз. Прыжки с парашютной вышки в ЦПКиО. Выпуклый лоб, роговая гребёнка в волосах – всё на простакон!.. И сам голос, вечно охрипший от эмоций, щёки, надутые со сна... Хм-м, и эта её искренность в интиме (вместе и темперамент, и целомудрие), так трогавшая меня... И как это ей удалось: что еще и не жили вместе, ещё не переспали ни разу, – а я уж в курсе, когда у неё месячные, хотя не спрашивал! Гипноз? И потом, когда

стали вместе жить, спать в одной кровати, всегда её тяжёлая нога на мне, куда ни повернусь: на правый бок, на левый!.. Ну и самое главное... этот ее папаша из озера, *Третий Ша* (сам Исаич¹ так припечатал!), из-за которого теперь по архивам ходить и письма Л.Толстого откапывать!.. Надоело!.. Ух!.. Ну и значит все к лучшему: стажировка, отъезд, прививка разлуки в отношения!»

Самолёт набрал высоту.

Из-за занавески возникла стюардесса с подноском: газировка, леденцы.

Все пришло в равновесие.

Мысль о прививке разлуки понравилась ему.

Он повеселел, хмыкнул и, сунувшись в проход между креслами, стал делать знаки Виле К., бывшему однокласснику, 2-му дирижеру Оперного, сидевшему в пяти рядах сзади.

В аэропорту Виля был с молодой особой, очень эффектной. И лишь кивнул издалека. А теперь запросто пришёл и сказал: «Привет, Лазо!»

Лазарев тоже поднялся, и они удалились в хвост самолета, где было два свободных кресла через проход.

Разговорились – кто, чего.

Вилю взяли в аспирантуру Гнесинки. Вот, летит.

– А я в «Известия» на стажировку! – поспешил отбить Лазарев. – Ну и еще там... в Ленинку да в музей Толстого с тайным поручением!..

Говорили пригибаясь друг к другу через проход, пока Лазарев не осознал, что подсчитывает, кто пригибается дальше и вытягивает шею сильнее. Черт возьми, выходило, что – он.

Тогда он приклеился к подголовнику.

Виля был давний кент, хотя один на один дружили только в детстве, со 2-го по 4-й класс музыкальной школы. Пока отец не застал Лазарева занимающимся на скрипке... лёжа. Поверх заправленной постели (что усугубляло). И не перевёл в 3-ю мужскую на Садовой.

Ха! Нашел чем наказать!

В 3-й мужской было интересней в 100 раз.

Один Усов Иван чего стоил! Сын того самого Родиона Усова из ЦК. Прогульщик и хулиган, искатель тайников с немецким оружием на боюканской горке. Защитник уличных собак, предводитель банды, нападавшей на гицелов².

Благодаря Усову пересеклись вторично с Вилей – спустя 12 лет. На почве туризма. Усов теперь был скалолаз, боксер и жестокий бабник. Со сдвоенной фатерой на Ленина. Это 6 (шесть!) комнат в лучшем квартале города. И уже не дворняг бездомных, а красавца-дога держал для полной упаковки.

Усовский стиль жизни распространялся на Лазарева вплоть до женитьбы на Наде.

В браке Лазарев полагал себя счастливым, но теперь, давясь распахнутым Вилиным лоском, готов был пересмотреть итоги десятилетия.

Спасала стажировка в «Известиях». Она не уступала аспирантуре Гнесинского.

Виля не обязан знать, что стажировка выпала не за красивые глаза. А благодаря третьему Ша (посмертные связи секретаря Совписа и... подполковника КГБ!).

¹ В какой связи Солженицын так припечатал ее папашу, было непонятно. Как и то, что означает это «3-й Ша». Но Солженицын и вправду так припечатал в интервью по лондонскому ВВС. Сам Лазарев не слышал, но несколько знакомых подтвердили, что – да, было дело, припечатал.

² гицелы – люди, нанятые для отлова бездомных собак.

А вот про то, что Надя «англичанка» с иняза... как раз неплохо бы вернуть.

Летели славно.

Самолет точно зашит был в небо.

Жгли анекдоты. Виля – два неприличных, потом политический. Значит доверяет. Видит равного.

Польщенный Лазарев чуть было не поделился про харьковский период и музей Толстого. Уже на языке вертелось. Но... не сболтнул, молодец.

Стал развивать про «The Catcher in the Rye».

Дал понять, что читал в оригинале. Пускай и не без помощи жены-«англичанки» (выпускницы иняза).

Но Виля тронул за рукав.

– Посмотреть дашь? – спросил он понизив голос. – На одну ночь? – и даже поозирался по сторонам.

– Сэлинджера?.. – удивился Лазарев. – По-английски?..

– Тестя!.. – одними губами нарисовал Виля.

– Изъяли! – так же по-рыбы неслышно отвечал Лазарев.

И еще не веря удаче, перевороту, подарку судьбы (исторически третий Ша никогда не был его тестем, просто не успел в этой роли побывать), дошептал:

– Копирки от пишмашинки – и те!..

И крест-накрест повел ребром ладони в воздухе.

В глазах Вили непонимание боролось с восторгом.

Он не понял, что означает этот секущий полет лазаревской правой ладони. А спросить – постеснялся.

Лазарев был доволен собой. Тем более что про копирки... ха-ха... придумалось на ходу.

Бесконтрольный выброс фантазии!

А что?!

А если это случай такой: когда необходимо все козыри – и поживее – на стол!..

2.

Для Вили забронировано было в поспредстве, а Лазарева ждала родня (или кто они нам?): баба Дуня и Шлёма. Это в р-не Пл. Ногина в переулках.

Но Виля позвал в поспредство, и Лазареву стоило трудов не выдать удовольствие, с каким он это приглашение принял.

1974, февраль, Москва. Внуковский аэропорт.

Виля придержал приглашение до последнего. Было видно, что рассказ об изъятых копиях понравился ему, но он хотел перепроверить себя. Понаблюдать, как Лазарев поведет себя при входе в столицу. Не запаникует ли, как провинциал. Не затрещит ли крыльями по воде, как селезень.

В ответ Лазарев поскучнел, напустил флегму. Даже позволил себе пропустить 2-3 Вилины реплики мимо ушей, оставить их без ответа.

Во-во!

Правильная линия!

Вышли из аэропорта. Сели в 511-й радиальный.

Лазарев смотрел в окно, в сторону.

Окраинные лесосеки в пепельном снегу были растрёпаны, как капуста. В берёзах, выдавленных из леса на шоссе, зияли мокрые черноты. И за всем этим, сахарно и зубко, качанела Москва.

Во всю автобусную дорогу от Внуково до Юго-Запада Виля что-то говорил, острил, и время от времени понижал голос, чтобы забросить еще крючки на тему тестя, но Лазарев как бы ушел из себя. В собственную спокойную значимость.

Он знал, что прошел проверку.

В посредстве МССР.

Спальня была на 6 мест, с дебильно-высокими потолками.

Вечером выбежали в гастроном на Кузнецкий.

«Не мороз, а суповой концентрат мороза! – заметил Лазарев на бегу. – Разводить в пропорции чайная ложка на цистерну!..»

И облизнулся от вкунности определения.

От того, что выбил ещё пол-очка в глазах Вили.

Не так уж мало очков за неполный день.

В спальне было слабо натоплено. Лазарев загодя подложил кальсоны под подушку, чтоб нажить в темноте. Не красоваться же в кальсонах перед Вилей.

Перед сном ходил в кабинку – звонить по талону в Кишинев.

У Нади был слабый голос. Именно такой голос, от которого (и она об этом знает) у него портится настроение.

Она удивилась, узнав, что он ночует в посредстве («А как же – с этим... Шлёмой поговорить – про харьковский период?!»).

– Уф-ф! – обмяк Лазарев. – Вот на днях зайду и поговорю!.. Про харьковский период!.. Но умоляю – обойдись без сарказма!..

– По-моему, я говорю своим обычным тоном!..

– Это только по-твоему!..

– Я говорю как умею! – уныло и по-прежнему с подвохом отвечала Надя.

Во тип!

– Да прилетай же на каникулы! – загремел он. – Надька-оладька!.. А?.. Вот вместе и насядем на Шлему. И в архиве Толстого – вместе! – будем рыться!..

– Я бы прилетела... – голос Нади звучал безадресно, тускло, – если б не... – тут она еще запнулась, и Лазарев угадал, что она удаляется от чужих ушей (теща Соф.Мих.? Витька?) в спальню, и провод телефона путается под ногами, – ...если б не за-ле-те-ла!.. Прости за каламбур!..

Последняя часть фразы была произнесена ею совершенно по-другому.

Звонко. С твердой артикуляцией.

В голосе её краски проявились.

– Я рад!.. – выпалил он.

Он читал, что женщине важна 1-я реакция.

...Он не разбирал, что в нём: восторг или удручённость.

Если восторг, то леденящий.

Если удрученность, то в блеске победы.

Ах! Ох! Ух! Эх!

Можно подумать, он сам родился!

Узнал о собственном зачатии!

Все, что до сих пор, не то! Не считается за Жизнь.

Зато теперь!

Подумать только: всего только 3 года т.н. влюбиться в женщину. Чужую. С набором каких-то своих, посторонних тебе свойств.

Не говоря о том, что – завуч и мать семейства!

И вот, сегодня, 19.2.1974, принять известие о капитуляции.

О том, что ты есть.

О том, что Жизни не отвертеться от тебя.

Он помнил, как влюбился в Надю.

В октябре 70-го.

В Ботаническом Саду на Бююканах.

Там, где огородные участки, закреплённые за школами.

Была осень, поход 9-х классов на огороды...

А до того – ну едва знакомы. Просто коллеги по педсоставу.

И вот – влюбиться, навеять ей свою любовную волю!

Вернувшись в спальную залу, он храбро извлек кальсоны (розового, позорного цвета) из-под подушки.

Надел при Виле.

Плывать, что Виля подумает.

Надя зачала от меня. Черноглазая, смелая... Смешная! – до сих пор треть зарплаты в фонд помощи Вьетнаму. Нет, теперь в фонд помощи Анголе и Мозамбик...

А походка! Всегда с разбега. Всегда из гущи дел, споров, битв за справедливость! Просто подойти и усесться на стул – и то с разбега! Столько искреннего наступления. И это синее платье на Новый год – выше колен. Роговая гребёнка в волосах!..

Спасибо, Надька!

Значит, придется все-таки задрать штаны и... в архив Толстого... в Исторический музей... в Ленинку... – спасти 3-го *Ша* (посмертно!).

И на неведомого этого Шлёму – тоже придется время убить. Расспросить про харьковский период.

Ну Надька!

Надька-оладька!..

И ведь всего-то 3 года как знакомы.

3.

Надька-оладька. 3 года назад.

Первый «Ша» – это Шекспир (1564–1615).

Второй – Шолохов М.А. (1905–...)

Третий – Шор (Ильин) Пётр (1908–1969).

Теперь понятно – откуда «Третий Ша»?

Только в чем тут фишка?..

В проблеме авторства.

В том, что на всем выгоне мировой литературы именно эти три экземпляра: 1. столбы шекспировских томов, 2. донской горько-попынный эпос, 3. картонное, с тесемками, ДЕЛО № цвета стружки, нелегально вывезенное за кордон... – взбесились и понесли, задурили и закипели, сбросив с себя седоков, считавшихся их творцами.

Но если с первых 2-х – как с гуся вода, то 3-й – дорого заплатил. Слух о плагиате, реактивно-быстрый, моментально-международный, прикончил его.

«Николай Леонтьевич! Коля! – написала Вострокнудову (папиному воспитаннику) на домашний адрес. – Помнишь, как я ломилась к тебе в прошлом году? «Остановите Фогла!»... «Конфискуйте рукопись!»

В ответ – тишина.

Только через месяц позвонили мне из твоего отдела – что «все под контролем»!

Эх, если бы!

В курсе ли ты, что с той рукописью стало?!

Теперь-то помоги. Пускай с непоправимым опозданием.

Сердце глохнет... – когда слышу это «третий Ша...».

Вспомни, Коля, как папа тебя любил (и принял в тебе участие).

Вспомни, что для меня ты не только офицер КГБ, но еще и друг юности, не дававший мне прохода весь 1-й курс, пока я замуж не вышла.

Короче, надо что-то делать!

Надо опровергнуть клевету!»

Коля наутро позвонил.

– Не вопрос, – иронически пролаял в трубку, – будем опровергать!..

«У-у-у!» – только и всхлипнула в ответ.

Рапорт-РНО-99904(12). Разговор по телефону.

Н. Вострокнудов: «Архив-то остался после Петр Федорча? Бумаги там какие-нибудь?.. Черновики?..»

Н. Пешкова: «Все пропало при переезде!..»

Н. Вострокнудов: «Кто переезжал?.. куда переезжал?..»

Н. Пешкова: «Мы переезжали!.. С Ботаники в Центр!..»

Н. Вострокнудов: «Зачем переезжали?»

Н. Пешкова: «У сына травма из-за всего, что с Ботаникой связано! Особенно с озером!.. Ведь папа утонул на его глазах!..»

Н. Вострокнудов: «Что еще пропало?.. кроме бумаг?»

Н. Пешкова (вытирая слезы): «Вот только бумаги и пропали!.. Они в картонке были!..»

Н. Вострокнудов: «А картонка – где хранилась? У тебя – хранилась? Или не у тебя – хранилась?»

Н. Пешкова: «У мамы хранилась! Картонка такая зеленая от мужских ботинок.»

Н. Вострокнудов: «Мама не ликвиднула?»

Н. Пешкова: «Мама?! Зачем?!..»

Н. Вострокнудов: «А развелись почему – Пётр Федорч с женой на старости лет?.. Ну ладно, не по телефону!..»

Назначил свидание... на футболе.

Коля был большой, быстрый. И эта его хаотическая быстрота в движениях, как и короткий точный разговор (остро нарезающий твои встречные фразы), – все это поражало тебя, стлкнувало с рельс. Еще тогда, в университетской юности (он с юрфака, старше на курс), просто потреться, анекдот рассказать, – и то нужно было заранее привести мысли в порядок. Сгруппироваться. Наметить что можно, что нельзя – в разговоре с Колей.

Но при этом он был свой. Преданный. Влюбленный. Узнав, что она кровь в поликлинике сдает (50 руб. за два укола – чтоб у папы с мамой деньги не тянуть!), поймал в университетском буфете и заставил принять конверт (со стипендией за 2 месяца!). Но... давно это было. Теперь он другой. Один румянец прежний! Непонятно, как в КГБ (с их культом незаметности) держат офицера с таким ярким, таким взволнованным румянцем!

Короче, он славный.

Другое дело, что его по рукам нужно бить: «Коля, не наглей!.. Коля, руки убери!»

Такой он ловелас неисправимый.

В 18 ч. встретились на Бендерской, возле телефонной станции.

Пересекли тонкий, под тополиным шатром, проспект.

Достигли Дома офицеров с фонтаном под фонарями.

Сигаретный дым стоял там коромыслом.

Это целую роту срочников согнали – со штык-ножами поверх шинелей.

– Если черновиков нет, – спросил Коля, – то как мы его авторство докажем?..

И, не слушая ответа, выступил первый.

– Есть газетка с их заявлением о плагиате!.. – рассказал он. – Есть перепечатки с той газетки в Англии и в ФРГ!.. Есть, наконец, данные о подписантах! Всего 7 человек, включая Фогла! Но где они и где мы?!..

– Руки убери! – увернулась Надя.

Вот кадр!

– Чего – убери? – обиделся Вострокнутов. – Нет, чего убери?..

Но руку – с талии – убрал.

– Я... замужем, Коль! – напомнила примирительно.

23 мая 1971 г., Кишинев.

И тогда народ повалил – в сторону Стадиона.

Много и густо.

До того не выдавали себя, шли по-двое-трое, смешаны с городской толпой.

И вдруг – сорвали маски!

Сильное это было превращение. Если бы улицу Ленина (местный Бродвей) разбить на условные квадратики, то, скажем, на 4 квадратиках от Пушкина до Болгарской – это обычная городская толпа: дядьки-тетьки, старики-старухи, собаки, дети. А вот от Бендерской и вверх к Стадиону – одни мужики! Сотни и тысячи мужчин на одном квадрате от Ленина до Киевской.

Их ждали.

Конная милиция выцокала на Искре.

Строй солдат забухал от Дома офицеров – по тротуару на опережение.

– Я не хочу на футбол! – Надя вцепилась в локоть Вострокнутова.

– Страшно? – засмеялся.

И оттащил к темному тополю на тротуаре.

Солнце еще каталось по миске неба, но тополя уже темнели.

– Я за-амужем! – передразнил под тополем. – А с сыном скульптора кто встречается?..
– С каким сыном скульптора? – ахнула. – Коль, ты что?!..
И поневоле встала ближе к Кольке. Потому что со всех сторон мужчины наступали.

– Если ты про Лазарева, – заорала Кольке в ухо, – то ты дурак!.. Мы с ним просто коллеги по работе!..

Тогда Колька прижал ее к тополи и стал орать так же буквально-близко, чуть ли не выедавая лицо:

– Просто коллегу по работе... на Новый год в семью не приводят! А потом к Ивану Усову на квартиру!..

И, пока пораженная его осведомленностью, Надя приходила в себя, доорал жалея:

Рапорт-РНО-99904(13). Ул. Бендерская, возле Дома офицеров.

Н. Вострокнутов: «Этот Иван Усов меня и интересует! А Лазарев твой так... постольку-поскольку!..»

Н. Пешкова: «Он никакой не мой!..»

Н. Вострокнутов: «Этот Усов, это ж самого Родион Петровича¹ сын, а компании водит плохие! Вот при тебе кто там еще был?»

– Ты... ты... – пролепетала Надя, – вербуешь меня?..

– Не надейся! – перебил. – Женщин я использую только по прямому назначению!.. Куда-а-а? – ухватил за локоть. – Жить надоело?!..

Это потому что, вдрызг оскорбленная, она выпрыгнула из-под тополя. Как в открытое море с корабельной мачты.

Колька – следом.

Втеснились в толпу.

Вот и Стадион показался: крепостной вал с бойницами касс.

Крепость уже пала к этому часу, если судить по роковому уууу, идущему из-за стен.

– Что касается Лазарева, – объявила Надя, – ...значит, что касается Лазарева...

Ей трудно было говорить, она не слышала себя.

– Значит, что касается Лазарева... то тут нет секретов!.. А вот про Усова... извини!..

Паника забирала ее. Потому что, если б не Колино объятие, не уцелеть ей в этой мужской колонне.

– Надя!.. – еще надавил Коля. – Ради отца!..

От обиды его трясло.

– Нет!..

– Тогда хочешь знать, кто такой **Фогл**? И чего это он вдруг, с другого конца света, приехал мужа твоего спасать?..

Рапорт-РНО-99904(14) (на стадионе).

Н. Пешкова: «Хорошо!.. Но я про Лазарева только!..»

Вострокнутов: «Добро!.. Начинаем с Лазарева!..»

Н. Пешкова: «Хорошо!.. Но сначала у меня вопрос!»

Вострокнутов: «Какой вопрос?»

Н. Пешкова: «А эти семеро, включая Фогла, они что говорят? Кто настоящий автор, по их мнению?»

¹ Усов Р.П. – в то время зампредсовмина МССР.

Вострокнутов: «Плевать на их мнение! Захотим, докажем, что в природе такого не было! Подумаешь, Лев Толстой ему написал!»

Н. Пешкова: «Вот как?!.. Лев Толстой ему написал?.. Ну то есть он был?!.. Раз Лев Толстой ему написал!»

Вострокнутов: «Я не говорил – что не был!.. Я говорил: захотим – докажем, что не было!..»

Н. Пешкова: «Как его зовут?»

Вострокнутов: «Стоп! Твоя очередь!»

Н. Пешкова: «С Лазаревым мы в Ботаническом саду подружились! У нас там огороды, закрепленные за школой!»

4.

Огороды, закрепленные за школой... 1,5 года тому назад.

Рапорт-РНО-99904(15)

«Шли на разметку. Шеренгами по ул. Искра (8А, 8Б, 8В). На перекрестках сдерживали напор школьной толпы. Лазарев нес зонт над собой и Вербицкой Е.М. (преп. истории). Зонт выворачивало от ветра. Лазарев новый в коллективе. Да и в педагогике новый. Он не понимал, что можно, что нельзя педагогу школы. На ул. Мичурина, возле зубной поликлиники, бросил Вербицкую Е.М. с зонтом, а сам кинулся через дорогу за сигаретами (там киоск). При возвращении в колонну ему было сделано строгое замечание. И указано выбросить сигарету немедленно. Потом шли через магалу (старые Боюканы). Здесь всё как при царизме: немощёное, кривое. Из-за дождя земля едет под ногами. В Ботанический вошли с тылов. Красные лоскуты стали попадаться в траве: разметки других школ. И тогда вдалеке острая молния выдала себя в темном небе. Затяжная, в 3 ступени. Затем гром стукнул. Раскат его был такой близкий, что колонну потрясло. Какие-то девочки заревели от страха. Дождь стал опрокинуто-сильным. О том, чтоб в таких погодн. условиях производить разметку участков, не могло быть и речи...».

Но за платановой роцей показалось каменная городня.

Целый блиндаж, полузарытый в землю.

Завели всех вовнутрь. Объявили привал.

Теперь Лазарев вольно курил в дверях.

Небо заросло водой. Мутные медузы напоротника плыли по его течению.

В отдаленье на холме парили Новые Боюканы: строительные каркасы, подъемные краны со стрелами.

Здесь же, в Ботаническом, вода прибывала.

Похоже на потоп.

Лазарев стал искать взглядом дуру-англичанку (обругавшую его за сигарету). Она – старшая по отряду. Думает ли эвакуировать детей?

Увидел её в противоположном углу комнаты.

Она через голову снимала мокрый свитер.

Свитер буксовал на её лбу.

Все её тело присягнуло усилию, и фуфайка, выбившись из рейтуз, оголила мясную полоску живота.

А далее произошло вот что: скорчевав свитер и угадав, откуда наблюдают за ней, она посмотрела на Лазарева. Через всё просторное помещение, через десятки голов, затылков, спин – определила его. И в лице её была одна смущённая женственность. В 1 минуту она женщиной себя почувствовала. Впервые. Как так? А вот так. Замужем 11 лет (один сын, 9,5 лет, один выкидыш, были аборты...). И вдруг, вот только сейчас, женщина. Прикосновения захотелось. Поцелуя. Как так?!

Вот стыд. Когда с Лёвой... ну близка... то поцелуи только мешают. Хотя Лёва - он теплый. За всей этой внешней зрubbостью. Но его поцелуи всегда не к месту. А этого... незнакомого... вдруг захотелось прижать к груди, поцеловать¹.

– Возвращаемся в школу! – задиристым хриплым голосом объявила Надя.

Она объявила это учащимся 8А, 8Б и 8В классов (79 чел.) и сопроводж. учителям (4 чел.) Но сам голос ее – отныне – звучал для Лазарева одного.

*Вечером Лазарева доняли слабость, резь в глазах. Он слёг в родительской квартире на Лени-
нина, 64.*

Только через неделю вышел на работу.

*Перед дверьми учительской ему попалась Надя, и он улыбнулся ей в воспоминание о смятении,
причинённом ею.*

Рапорт-РНО-99904(15)

«Вот и всё, Коля. Как пришли, так и ушли из Ботанического сада. Нам дождь все планы спу-
тал! А что на Новый год с Лазаревым была, так это педколлектив наш такой: опекают меня после
гибели папы, ареста Лёвушки!..»

5.

Левушка. Амнистия. 3 года спустя.

Заскучали. Встали.

Перхоть между рамами.

Пешков отдал попутчикам газету, стал смотреть в окно.

Но заискрил ветер.

Снег повалил.

Поезд стоял как распряжённый. Как будто телегу забыли в поле.

Наконец в метельной коже встречный родился.

Тронулись по-черепашья.

Через 1,5 часа.

Кишинёв белел, как курятник.

Снегоуборочные ЗИЛы наново чертили городской план в снежной непаши.

Ботаника была отрезана от города.

Троллейбусы в горку не шли. Они останавливались на кругу перед «Комфортом» (магазин
мебели).

Целая ходынка горожан одолевала Ботаническую горку.

Пешков тоже пошел.

Но его бросило в жар после сотни метров. Лёгкие не качали.

Постоял.

Собственная немощь озадачивала. Посмотреть со стороны: шея, грудь как у быка. А дышалка
дрянь, с кислородом не справляется.

Вернулся в «Комфорт» погреться.

¹ Все, что выделено этим шрифтом, – Коле Вострокнутову не рассказано.

Здесь брали румынский гарнитур в 66-м. Сын Витька плющил нос о тёмно-коньячную поли-туру буфета. Распилы-деки околдовывали его. Под блестящей политурой они казались деревьями в объёмном изображении... И у Надьки тоже был свой бзик: мебель переставлять. Буфет, сервант, 2 односпальных дивана, 2 кресла возили по квартире то так, то этак. И одного месяца не проходило, чтоб не возили.

Ладно. Проехали.

Пешков походил по залам с мебелью, пока – от запаха лака – не раскашлялся до колец в глазах. До тяжелой испарины.

Вернулся на ж.д. вокзал.

Там все запроблено народом, присесть негде.

Вспомнил про Марью-домработницу. Она жила на Мунчештской, рядом.

На Мунчештской. 25 минут спустя.

Шел вдоль заборных штакетин, заглядывая во дворы.

Он не помнил, где Марья живёт.

Печные дымки над домами все клонило на одну сторону. Тишина, как в поле.

Вдруг смотрит: Яков Марьин! с папироской возле калитки.

Тот и бровью не повел при появлении Пешкова с чемоданом. Как будто Пешков каждый день тут мимо калитки ходит.

Вошли во двор.

Струны винограда в снегу.

Самой Марьи не было, она и в бурган на подёнке.

Яков рассказал, что она уж не убирается у Пешковых.

– Надька уволила? – догадался Пешков. – Новая квартира, новый муж, к чему старая домработница?..

Вошли в дом.

Яков не проявлял ни радости, ни недоумения.

– Я посижу, ничего? – спросил Пешков. – Пока троллейбусы пустят!..

Будь это не Яков, а кто-то другой, то одним только «посижу, ничего» не обошлось бы. Многими и утомительными словами пришлось бы говорить: амнистия, то да сё, в честь 50-летия МССР, тырым-пырым... А пока сидел, Надька себе кадра нашла, квартиру сменила, сами в центре теперь, а меня в 1-комнатную на Ботанике...

Но ничего такого говорить не пришлось. Потому что Яков – он такой: сам лишнего не спросит, но и от себя не оторвет.

Молчание воцарилось.

– Вы сколько тут? – спросил Пешков (чтоб тупо не молчать). – С до-сорокового или после¹?.. И показал на потолок, стены.

– Э-э! – махнул рукой Яков.

– Что – э-э? – удивился Пешков. – Я спросил: с до или с после?..

¹ Он имел в виду 28.6.1940 – когда Молдавия перешла от Румынии к СССР.

Чучело иконное темнело на комодe.

– Мыкола Угодник?.. – показал на него Пешков.

И – не поленился, встал со стула, подошел разглядеть.

– Та-и-сий! – прочитал по слогам. – Таисий какой-то!.. А говорите, что Мыкола...

Хотя Яков ничего не говорил.

– А чья власть на дворе, вы хоть в курсе? – Пешков посмеялся его молчанию. – Никита Хрущев? Или Маршал Антонеску?..

И выглянул в окно, скучая.

Через 40 минут.

Марья пришла.

Батрачка батрачкой. И глаза без грифеля. Из того же тонкого сукна, что и все лицо.

– Вот, на свободе! – поприветствовал ее Пешков. – По случаю 50-летия МССР!..

Заварила ему терновник от кашля.

Яков спустился в погреб.

Принёс кувшин с вином. Струганину, брынзу, соленья на тарелке.

Разговор, взгляд в глаза, правила гостеприимства – в нём всё включилось с приходом Марьи.

– Тут в Молдавии русский царь Николай до какого года правил – до одна тыща девятьсот шестнадцатого, так? – Пешков и за кувшином вина не сворачивал темы. – До отречения, правильно?.. А потом этот ваш Carol von Hohenzollern, так?..

Справившись с трудной фамилией, он покраснел от удовольствия. И целую минуту молчал – вслед произнесенному.

Но потом очнулся энергично. И даже пальцы стал загибать.

– Потом Йоська-усатый с июня сорокового, так?.. – загнул палец. – Потом снова этот ваш фашистский кабинет... Гога, Сима и другие красавцы, правильно?..

Хозяева только слушали.

Только моргали нейтрально.

Не говоря о том, чтобы отвечать «так – не так», «правильно – неправильно».

– Нет, мне нравится, какие вы скромные! – заключил Пешков. – Хата с краю, так сказать!.. Не то что Пётр Федорч, тесть! Помню, Пётр Федорча послушать, вы тут sub jug¹ боярским жили – до 40-го года! Пока он вас не освободил!..

И понурился. Не знал, о чем дальше говорить.

Он ушел в свои мысли и, конечно, не перехватил никакого там особенного перевзгляда между Марьей и Яковым после упоминания о бывшем тесте.

А между тем – перевзгляд такой имел место.

– Гриша, Зина?.. – поднял голову. – Ромка, Лена?.. Где все?..

Детей, он помнил, было 6.

– Зина замужем! – Марья подала мясо с домашней лапшой. – Гриша поженился!..

– Поздравляю, поздравляю! – обрадовался Пешков, но примолк с угрозой. Теперь его черёд был рассказывать, а ему не хотелось.

Да и кашель не оставлял.

– Бронхи! – объяснил. – Варили шины, и всякая другая гальваника... там!.. – и ткнул пальцем в неопределенном направлении.

¹ под игом – рум.

Тогда Яков, ни о чем не спрашивая, встал из-за стола. Вышел из комнаты.

Снег рос. Тишина необзорная.

– Так себе работа! – добавил Пешков. – Зато мозги отдыхают! Работай себе руками и думай, о чем хочешь!..

С кувшином, наново наполненным, Яков из погреба вернулся.

По поверхности черного вина седые пузырьки плясали.

Из-за пляшущих этих пузырьков Пешков опять-таки упустил момент, когда на табуретке рядом с ним возникла обувная коробка.

Ну коробка – так коробочка, Пешков не придал значения.

– Давай всего хорошего! – Яков поднял чашку с вином.

Ели молча, без неловкости. Марья обработана чувством такта. Всё понимает, но не выносит сужденья.

Только один раз Пешков помнил ее сбитой с толку. Лет 7 или 8 тому назад. Когда Витька вернулся со двора и сказал, что любит отца Вовы Елисеева больше, чем Пешкова, потому что елисеевский отец ходит с другими папашами пить вино в «Бусуйок»¹, а Пешков не ходит.

– Марья, – спросил Пешков, – а помните, как Витька приходит со двора и говорит, что он другого папашу любит больше, чем меня! Из-за того, что я с соседями не бухаю!..

– Не помню, – сразу отвечала Марья. Хотя видно, что помнит.

Ещё попили-поели.

– В Бога верите всерьез или для порядка? – Пешков кивнул на Николу-Таисия.

– Всерьез для порядка! – отвечал Яков.

– Ясно!.. – Пешков потянулся. – А вот и снег... – он широко зевнул... – весь кончился! – встал из-за стола. – Пойду к троллейбусу?..

Вышел под навес.

Темно. Курыми пахло.

Во дворе Яков шарчил снег фанерной лопатой.

Лицо его было такое, точно Пешков уже 3 дня как уехал.

И у Марьи, прибиравшей со стола, лицо было такое же.

Как будто и не ели-пили вместе.

– Коробку забрал? – спросил Яков, не поднимая головы от лопаты, от дворового снега. – Давай, коробку там забери!..

Теперь он говорил по-другому. Небрежно-повелительно. С заведомой нетерпимостью к отказу.

Хотя какой там отказ: Пешков просто не понял, о чем он говорит. О какой такой коробке.

– От Петра Фёдорча коробка! – опершись на лопату, Яков смотрел теперь с вызовом. Почти нагло.

Он смотрел так, как, наверное, некрасивая девочка смотрит на мир, когда открытие собственной некрасивости уже произошло, и успело отболеть, и родило ответный вызов: «А вот вам! А вот такая как есть!»

– Мне?.. От Петра Фёдорча?.. – не поверил Пешков. – С того света?!.. Ха-ха!..

¹ «Бусуйок» – гастроном с винной палаткой на ул.Зелинского.

– Давай, давай! – велел Яков. – Иди забирай!..

В одну минуту он стал другой. Сам разговор его стал таким недобро-повелительным, наглым, точно здесь и сейчас, под кровом его дома на Мунчештской, обитали царь Николай и король Karol von Hohenzollern, Иосиф Сталин и весь румынский фашистский кабинет, и, вынужденный кое-как выживать под всей этой чередой сильных мира сего, под хищными этими орлами и совами, он в то же время не отпускал Лёве Пешкову и малой крупницы подобного страха и почтения, отвергал и самый малый риск беды, могущей из-за Лёвы Пешкова для его дома произойти.

То есть, выходит, попрятали у себя коробку и – будет.

– А что там, в той коробке? – удивлялся Пешков, идя в дом. – Ботинки, что ли, мне свои за-вещал?..

– Бумаги! – отвечала из комнаты Марья.

Воинственная перемена в муже не укрылась от нее, отчего ее собственный голос звучал теперь виновато.

– Бумаги?.. У него дочка есть! – возразил Пешков, заглядывая под картонную крышку.

Из под коробки на него фотография глянула. Какого-то старичка лупатого. С веселым, не-серьезным лицом.

– Мне-то его бумаги на что?.. – пробормотал.

– Дочка мы теперь не знаем где живет! – сказал Яков из-за спины. – Забирай, забирай!.. А то в милицию сдадим!..

– Сдавайте, мне-то что! – пожал плечами Пешков. – А снег-то, – показал на окно, – по-новой сыпет!..

И пока, следуя его пальцу, Яков с Марьей поворачивали головы и смотрели в темное окно, он еще покрутил *лупатого старичка* в руках и... сунул в карман, пока не видят.

– А переночевать можно?.. – спросил.

Марья стала готовить ему постель.

– А кадр Надькин хорош или так себе? – Пешков подсыпал в голос всю иронию, на какую был способен.

Марья стелила по-городскому, с наволочками-пододеяльниками.

– Как настроение у ней? – еще спросил Пешков. – Мебель по квартире не таскает больше?.. Успокоилась, наконец?..

И... махнул рукой.

Здесь Марья закончила приготовление постели и распрямялась.

Пошел за нею в кухню к плите.

В кухне Марья брала сваренные яйца из кастрюльки и очищала от скорлупы. Занятость позволяла ей помалкивать.

– Ей всего 17 с половиной было, когда встретились! – рассказал Пешков. – Ребенок совсем!.. Да и я нищий, только с флота! До сих пор не пойму, что там за интерес у Петра Федорча был!.. Вроде бы он отца и мать моих знал!.. А толку?!..

Но тут его поразило, что Марья, перенося нагретую кастрюльку с плиты на стол, брала её голыми пальцами.

– Не горячо? – взял ее ладонь, потрогал сработанную кожу.

– Я быстро! – объяснила она.

– Не важно! – хмыкнул. – Нервному сигналу хватает доли секунды – чтобы мозг перевел горячую температуру в сигнал боли!..

И отпустил ее руку.

Он обожал задумываться о физическом устройстве мира. О чудесной сложности его. Оскорбленный дух его умягчался тогда.

– Там нейроны в коже! – объяснил он Марье. – Они прилегают друг к другу так тесно, что один моментальный сигнал «горячо!» – и мозг оповещён!..

Собирался еще что-то рассказать в этом духе.

Но вошел Яков со двора.

Встал на пороге.

– Коробку, – напомнил он, – забрал?..

6.

50-летие МССР.

Витя Пешков.

Лазарев приехал из Москвы и привёз мне джинсы «*Miltons*» и приемничек «Спорт» на кроне.

Но мы сели обедать, и он принялся выговаривать мне за скучные хроники.

Кишинев, октябрь 1974.

Я-то надеялся, он забыл.

Мало у меня других неприятностей!

Начну с того, что мама перевела меня из 2-й английской в 37-ю, к себе под крыло.

Это зверская, дурная школа *с научным уклоном*.

Мама надеется, что и я стану химиком, как она. В химии, мол, перспектива! Полно белых страниц. Взять простую воду, например. Ей 4 миллиарда (!!!) лет, но химический состав ее открыли совсем недавно.

Ну, я не против. Химиком так химиком.

Но если б я знал, как меня будут парафинить из-за мамы – в 37-й! Я бы упёрся рогами и не перешел. Потому что мама там слишком активная, лезет на рожон с хулиганами. Её грубый, вечно охрипший от скандалов голос гремит на всех этажах. И вдобавок у неё живот растёт.

Вот тогда Лазарев приехал.

«Известия» откомандировали его – освещать 50-летие МССР.

Пока они с мамой ехали из аэропорта, я заперся в комнате и развёл наспех пару страниц в хронографе.

Разными чернилами.

Все-таки я надеялся, что он не вспомнит.

Но не тут-то было.

Чуть не с порога Лазарев потребовал тетрадку.

– Подделка! – пробормотал он, разлистав пару страниц. – Причем небрежная!..

Сели обедать.

– Всемирная история началась тогда, – сказал он, купая столовую ложку в бульоне с рисом, – когда ее записали!.. Поэтому, Витька, сам решай!.. Не будешь записывать хроники в хронограф... – растопырив пальцы, он полил на них (!!!) бульоном с ложки, – останешься страной зыбучих песков!..

(Теперь понятно, за что я Лазарева люблю?!)

– Лёша-а! – возмутилась беременная мама. – Лёша!..

Но в её голосе злости не было.

– И уж на Геродота не надейся! – еще добавил он. – Ни фига он не напишет о тебе, этот Геродот!.. А если и напишет, то одну густую клюкву!.. И развесистую!..

Уф-ф, опять он с этим Геродотом!

К счастью, телефон зазвонил.

«Москва! – подскочил Лазарев. – Из секретариата!»

Заперся он в кабинете, а потом выходит и говорит: «*Лёню* подтвердили!.. Наместника бога на земле!»

И выражение лица такое деланно-глуповатое, точно он сам себе рожки ставит.

Лёня. Через 2 дня.

Наутро всю школу сняли с уроков и выставили у парка Пушкина.

Проспект вздулся от безмашинья.

На фонарях ветерели флажки: союзный и молдавский.

Толпы людей как фальшивые усы были наклеены на тротуары.

Но мостовая была гладко выбрита.

По ней расхаживали мильтоны с шепталками-рациями.

День был расправленно-солнечный, без единой складки. Точно воротник белой рубахи выпущен поверх лацканов пиджака.

Ждали.

Ждали...

Я во 2-м ряду. В 1-м – Софа Трогун, Оля Даниленко и другие отличницы в белых фартуках...

Ждали.

Верзила Стрежень бил меня сзади по уху и прятался за других.

Я был новенький, но все знали, что моя мама та самая крикуха-завуч, и меня парафинили.

Но душа трепетала от набывания праздника.

В последнее время все только и говорили о приезде *Лёни*.

Кишинев стал неузнаваем в порфире юбилейных украс.

Лёня был гость, а я обожал, когда гости.

Вот, даже бабы Сониных подруг с скрипучими голосами, и тех обожал.

А ведь *Лёня* еще и знаменитость. То есть наместник бога на земле.

А я до сих пор видел только 1 знаменитость: пугливого толстяка Кислярского из фильма «12 стульев» в доме отдыха в Иванче.

Нет, я также видел Николая Табачука, правого атакующего защитника «Нистру», кандидата в Олимпийскую сборную СССР. Но я не знаю, это считается или нет. Потому что я видел его 3 секунды, не больше. Да и то через зеленую кольчугу на окне.

Вот как это было.

После матчей на Республиканском мы с толстым Хасом всегда пролезали под Восточную трибуну к раздевалкам. Туда полстадиона сбегалось, не пробиться. Но однажды, после «Нистру-Шинник», мне повезло – я пролез к зелёной кольчуге.

Смотрю, а там (!!!)...

...голые игроки в креслах...

...полумертвые после матча...

«А вы чего?.. Мужские я-ца не видели?» – заорал пожилой дядька-мильтон и стал отпихивать нас от окон.

Но я даю слово, что я узнал Николая Табачука в кресле. В одних белых плавках.

И я бы хотел, чтоб это считалось.

Потому что, хотя я и не верю в бога, но все-таки это интересно – увидеть его наместника на земле.

7.

Его наместник на земле. 1974. Октябрь.

...Принаряженные мильтоны ходили вдоль тротуаров и говорили в рации.

В их поведении был ленивый туск, усыпивший мое внимание.

Едва я главное не пропустил!

Сначала – с брызгами сирен и мигалок – валмилицейских «Волг» наехал.

За ними правильный ромб мотоциклов, плывший медленно и парадно.

И сразу – в привстое улыбки и приветствия! – Лёня в брюховине «Чайки».

И как после прохода речного катера поднимается и идет в берег волна, так милицейские цепи по-акульи впрокус приникли к приполоскам тротуаров, заветеревших приветственными флажками. В 2 секунды все произошло.

Я ещё провожал взглядом праздник... обаятельного стратилата страны моей, приглаживавшего растрепанный русый волос... ещё бликующая волна асфальта не поглотила удаляющийся кортеж... как мильтонская белая фуражка выставилась передо мной.

Глаза в глаза.

Крупным планом.

Я попятился, он – за мной.

Я прободнулся в толпу, мимо Таисии-математички, толкнул Стрежению и схлопотал от него кулаком в грудь.

Побежал в аллею классиков.

Вокруг уже сдавали флажки.

Пасха проспекта расслаивалась.

У фонтана я оглянулся.

Мамочки!

Он за мной!

Подгорев от нового язычка страха, я – за кустарник, оттуда в каштановую посадку. Оттуда уже близко до просоловых прясел ограды, там троллейбус подхвачу.

Но троллейбусы пока не пустили.

Тут меня и слапили.

Вот и все, страх посох, стало больно от одного единственного тубаха́ под дых.

Мильтон тубахнул мне под низ живота, накрутил ухо.

И... исчез, как не был.

Я не мог перекатить в себе ни единого двоха, все встало во мне, как помидоры в банке.

Одно утешало: своё я отхлопотал.

Ну, я ещё расскажу эту историю.

Вечером того же дня...

...к нам пришли гости: Петровы с сыном Гришей.

Мы с ним утащили телефон на проводе и закрылись в детской (звонить чувихам из его класса).

А потом нас позвали есть сладкое на родительскую половину.

За столом баба Соня расписывала нашу встречу с Кислярским из «12 стульев» – этим летом, в д.о. «Иванча» под Оргеевом.

Я с восторгом вмешался, прибавив, что в жизни Кислярский выглядит точно как в кинофильме: пугливый толстяк с маленькой как болотная кувшинка головой.

«Да-да, у Вити с ним завязались свои особые отношения!» – подтвердила баба Соня.

«Просим!.. Просим!.. – потребовали Петровы. – Расскажи!».

Ну я и рассказал, как встретил его в безлюдной боковой аллейке после ужина. Время было 20.30, ну, может, 20. 45, и было слышно, как музыканты настраивают гитары на танцплощадке... И вот, гляжу – идет на меня! В темно-синей мастерке на короткой змейке. С графинчиком кваса в руках. Увидя его, я сразу вспомнил, как в кинофильме он бекает-мекает «*А сто рублей не спасут отца русской демократии?*», и чуть не заржал. Но я не заржал, а только сказал «Добый вечер!».

– «Заржал!» – фыркнула мама. – Что за манеры, сын?..

– Не перебивай, пусть рассказывает! – Петровы за меня вступились.

Пришлось мне дальше рассказывать.

В Доме отдыха никто не догадывался, что с нами тут отдыхает киноактер: он не ходил ни в столовую, ни на пляж.

На другой вечер я снова повернул в ту аллейку.

Колючая акация глушила её. Лесные голуби ухали.

И вот.

Опять он со своим графинчиком.

Мы кивнули друг другу как заговорщики, и он дал мне отпить прямо из стеклянного носика: за то, что его тайну храню...

А потом он уехал.

Вот и все.

«Даже мне не рассказал!» – упрекнула мама, а Лазарев захлопал в ладоши и, уловив момент, увёл меня в кухню.

«Сочинял бы хроники в таком духе – давно бы имел абонемент на “Нистру”!» – сказал он. – А что! Я приятно изумлён! Тебе удалось не просто изложить событие – встреча с популярным киноактером – но передать атмосферу! Сам посуди! Темная аллейка периферийного дома отдыха, вечер, лесные голуби!.. – и он показал большой палец в знак одобрения. – Ещё ты упомянул о теплостойкой мастерке (в середине июля!), дав понять, что твой герой не молод! Ну и, наконец, мне передался вкус охлажденного кваса в стеклянной посудке, легко предположить, что от директора дома отдыха лично! И поверь, я бы дорого дал... – он слотнул слюну, – чтобы отпить из того графинчика!»

«Ха!» – хмыкнул я польщенно.

– И, главное, никакой Плутарх *такое* не придумает за тебя! – заключил он. – Никакой Геродот!.. Поэтому не валяй-ка дурака! Берись за хронику! О чем? Неважно. Хотя бы о сегодняшнем *Лённом* явлении народу!..

Воодушевленный, я побежал в свою комнату.

Раскрыл хронограф.

8.

Но, бойко принявшись за изложение, упёрся в мильтона.

Без него и полстраницы связалось с трудом.

Кишинев, октябрь 1974.

– Лазик! – позвал я с порога.

– Слушаю! – откликнулся Лазарев.

«Лазик... ха-ха... Лобзик!» – Петровы развеселились.

– Всё лучше, чем Лазо! – стал оправдываться он.

– Я не могу про это письменно! – сказал я глухо. – Могу только устно рассказать!..

– Устно не считается! – отверг он.

Петровы спросили, на какую тему сочинение.

– Хроники, а не сочинение! – поправил Лазарев и, привстав с чёрной бутылкой «Каберне», стал разливать по фужерам. – Меня вот не заставляли писать хроники в детстве – теперь не помню ничего!.. Как будто и не жил!..

– Ну прямо! – басила мама. – *Не жил!*..

– А кто их будет читать, – подколот Петров, – ну эти твои хроники?..

– Читать? – удивился Лазарев.

И забарабанил пальцами по чёрной статуэтке «Каберне».

– Ну да, читать! – Петров подтвердил вопрос.

– Вот пускай «Каберне» пьют!.. – объявил тогда Лазарев. – Да-да, «Каберне» чумайского разлива!.. А читать... никто не просит!..

– Согласен! Только чумайского! – перебил Петров. – Если «Каберне» – не чумайского разлива, то это перевод продукта! Я вот в Туле заказал – просто ради интереса! Наклейка один в один! И что же – никакого сравнения!..

– Потому что чумайский розлив из республики не вывозят! – подтвердила его жена. – А с кем это ты там «Каберне» угощался в Туле? Можно спросить?..

– С заказчиком, мамочка! – развел он руками. – Заказчики с завода в ресторан повели!..

– *Заказчики с завода?* – переспросила его жена.

– Так вот, читать это лишнее! – напомнил Лазарев. – И пишут вовсе не для читателя!..

– А для кого? – покрасневший Петров гакнул от смеха. – Для кого тогда пишут – если не для читателя?..

Но Лазарев уже стоял с запрокинутой головой и пил из фужера.

Петров смотрел на него.

Но Лазарев пил и пил с красивой алчностью.

Тогда мама вмешалась.

– Можно я отвечу?! Я знаю, что он думает!..

– Вот это боевая подруга! – восхитилась жена Петрова.

– Можно! Давай! – зашумел и сам Петров.

– Значит, Лешкин ответ на вопрос *для кого пишут*, – начала мама, – выглядит так: а ручей в лесу для кого? А полевой василёк? Я права, Лёш?.. Правильно я идею передала?..

И пихнула его локтем.

– Передатчица! – Лазарев допил вино и отложив фужер наконец.

– А на какую тему сочинение? – спросил Гриша Петров, когда мы в детскую вернулись.

Покосившись на закрытые двери, я выложил ему всё как есть.

О том, как в прошлом феврале я помирился с жирным Хасом. И о том, что дальше было...

...

– А ...ся... только когда ребенка хотят? – спросил Гриша, когда я закончил. – Или не только?.. Он был только в 4-м классе. Что с него взять.

Часть V

I.

Витя Пешков. О том, как я с Хасом помирился (незаписанная хроника)

Я бы не мирился.

Но он первый подкатил.

До того мы не разговаривали весь год: не забуду, как они мою форму с гетрами увели.

Но вот он подкатывает на перемене: «Здоров, куда пропал? Приходи играть, у нас теперь тренер есть, ты не поверишь, кто!..».

Как ни в чем не бывало.

Как будто вчера только расстались.

И... выдерживает паузу.

– Ну, – спрашиваю нехотя, – кто?..

– Игорь Надеин!.. Первая тренировка – в воскресенье!

Что-о-о?!..

Что-о-о-о?!..

– Да, Игорь Надеин!.. – подтвердил он. – ЖЭК ему квартиру в нашем доме дает!..

И, довольный моим потрясением (Игорь Надеин был десятый номер «Нистру», диспетчер с хитрым пасом и правой ногой-пушкой, не зря его пробовали в московском «Спартаке»!), подкинул еще козырь:

– И мы теперь ходим в 3-ю секцию по вечерам!.. Там новая семья в подвале, муж и жена! Через шторку всё видно!..

И... снова запускает паузу.

Кишинев, февраль 1974.

Я не искал с ним примирения.

Но, *во-первых*, Игорь Надеин.

А *во-вторых*, я влюблён был в Т.Р. из класса и не знал, что с этим делать.

До того я влюблялся только в самых красивых: в Ячменикову в 3-м классе, в Мещерскую в 4-м. Но в них разве что классные парты не были влюблены. Разве что портреты Ленина и Пушкина на стенах и ведро со шваброй в углу.

А вот Т.Р. не была красива. Но во мне восковые соты ломались от одного воображения ее.

Это подвигало к познанию.

И потому я помирился с Хасом. И ответил, что... – приду.

Вечером того же дня.

Никто из пацанов не спросил, где я пропадал целый год.

Мы дотемна рубились в хоккей у фотоателье.
А потом пошли к 3-й секции.

Темнота, и хвиль, и сумлунь, напитанные опасностью, всё было открытием в этот нетабельный час. Все было началом познания.

2.

Chantal. Осада.

В Приюте требуется младший персонал, и я пришла наниматься.

М-ме Тростянецкая из опекунского совета встретила меня там.

Ей понравилось мое замешательство при виде её: такая grande-dame – и в таком несчастном месте.

Июль 1935, Оргеев.

Она посочувствовала мне, но вид её был весел.

«Я кормлю этих несчастных с ложки, купаю их в ванне, хотя и не обязана! – говорили её весёлые глаза, её увлечённая фигура. – Что тут делать, если я такая!..»

Признаться, и я была рада встретить ее здесь.

Её красивые руки, плечи, её рубиновые серёжки в маленьких ушах рассеивали скорбную унылость помещения.

И разговор её со стариками был так весел, что и самые олежалые оживали в своих матрасах.

Вечером того же дня я видела её в центре города.

Она была в собственном выезде.

С высокой причёской.

Другие серьги гороздились в ушах – теперь из матового золота.

Она помахала мне рукой из экипажа.

Её оголённая рука показалась мне бела, как субботняя хала.

Трудно поверить, что 2 часами раньше эти руки вываривали гадкие приютские простыни в кипятке.

Ещё я отметила новое выражение её лица. При виде меня оно сделалось ласково и значительно. Как если бы ей стало известно что-то важное, имеющее ко мне отношение.

Придя на следующее утро в Приют, я повстречала там... Иосифа Стайнбарга.

Смущенно улыбаясь и глядя в сторону, он объяснил мне, что сегодня его день в опекунском расписании.

3.

Витя Пешков. Ул. Ленина, 64. Третья секция.

Луна горела так, точно ей пощёчину врезали.

Телевизионная программа «Время» курилась из всех окон.

Я шел за Аурелом.

Он не держал ветки, и они били мне по глазам.

Деревья находили на подвальный этаж.

Но сквозь голосвисую их черноту я видел жилое окно в подвале.

Но троллейбус продудел на проспекте.

С остановки во двор какие-то люди вошли.
Мы стали темнотою.
Потом троллейбус уехал.
Люди скрылись в подъезде.
Мы вышли из укрытия.

Кишинев, февраль 1974.

В очередь я прибил к окошку.
Впоследствии, перебирая действительную порнографическую картинку, представшую мне в том окне (Хас не наврал), я неизменно думал, что... нет, нет, это не так. Это всего только частное их помешательство. Надчувствие мое к Т.Р. не могло быть выражено таким способом... Но это потом, потом...

А пока что, раздвигая ветки, поднимался я к подвальному окну в 3-й секции и готовился к великому раздвижению горизонтов.

Для пацанов это был 4-й вечер подглядыванья.
От скуки они клюшками в окно стучать.
В комнате слышали.
Раз – и голый мужик у окна. Мы встретились глазами.
Он бросился к одежде на спинке стула.
Я увихнул в темноту вместе со всеми.

Но его лицо преследовало меня целые 7 месяцев.
Оно было широкое, с пунктирными усиками.
И... оказалось милиционером в парке Пушкина.

4.

В приюте.

Иосиф С. моет хлебрезку, подметает в саду... лишь бы к старикам не входить.
Ну, мне все равно.
Хоть я и не одобряю такого поведения.
Брезгуешь – сиди дома. Но если уж пришел, то – не отлынивай. Работай как все!..
Июль 1935, Оргеев.
Но его аж корчит от брезгливости.

Вдобавок у него тут деловые встречи (нашел – где!).
Смотрю, устроился за плетеным столиком на веранде. С каким-то представительным мужчиной (Октавиан Попа, городской прокурор!).

Из озорства я решила потревожить их. В 3-й комнате лежачий старик обделался. Я могла бы санитару позвать, но позвала богача Иосифа Стайнбарга из попечительского совета.

Он встал из плетеного кресла и пошел за мной.
Ноги не несли его.

В палате я попросила его усадить обделавшегося старика.
– Ёш! – сказал вдруг Стайнбарг рассмотрев несчастного.
Чудесная перемена случилась в нем. Решительность и доброта перекоренили страх и гадливость.

– Ёш! – повторил он с нежностью. – Иеошуа!..
– Ёшка! – возразила я. – А не Иеошуа!..

Ёшка был на последних стадиях Паркинсона.
Болезнь, немощь – лучшее, что было в нём.
Но давно пора пересадить его на поганое кресло. Рук не напасёшься – убирать за ним.

– Ёшенька! – запричитал Иосиф С. – Я не знал, что ты здесь! А вы... отвернитесь!.. – приказал он мне. – И отворите окна!..
– Не отвернусь!.. – возражала я.
Раздетого Ёшку я не видела!

Но происходило что-то неслыханное.
Стайнбарг опустился на колени перед Ёшкой и стал стягивать с него исподнее.
– Этот человек моего папу разорил!.. – с отвращением сказала я.
– Этот человек спас меня в Гусятине!.. – перебил Стайнбарг. – Ну-ка! Полотенце найдите!..

– Не было никакого Гусятина! – сказала я, вручая ему полотенце.

А потом подошла и встала перед ним:
– Вы слышали?!-повысила я голос. – Я с вами говорю!..
– Что? – поднял он на меня глаза.
– Не было никакого Гусятина!.. Не было!..

Произнеся это, я стала считать (1... 2... 3... 4...) про себя. Если успею досчитать до 10, то спор окончен! В мою пользу!

– Но я родился в Гусятине!.. – рассмеялся он на счете «восемь».

Как безногий, сидел он перед Ёшкой на полу.

– Не было Гусятина! – повторила я с обреченностью.

(1... 2... 3... 4...)

– Что же тогда!.. Выходит, и меня не было? – он смеялся во все зубы.
– Если вы... – крикнула я, – любите... меня...

Мы обмерли.

Даже парализованный Ёшка охнул.
Новозеленое выражение пробилось в прошлогоднем его лице.

– То... что?.. – отозвался Стайнбарг. И пересохшие губы облизнул. – Договаривайте!..

Я выбежала из комнаты лежачих.
Испуганный санитар нёсся мне навстречу.
Взбешенный прокурор Октавиан Попа гнал его по коридору – вызволять своего делового партнёра.

5.

Chantal. 1935.

Маме понадобилась почтовая открытка – написать своему брату в Резену.

Я вызвалась пойти.

В лавке на углу продается 1 000 000 открыток, но ни одна мне не понравилась.

Ноги понесли меня в аптеку Ясилевич в центр.

16 июля 1935, *Оргеев*

Я прошла мимо витрины «Франта».

Занавеска была повёрнута на струнах, но я чувствовала, что *он* там, за занавеской. Обедает за кофейным столиком.

В аптеке явзялапервую жеоткрытку с вращающегося шестка. Протягиваю деньги Лёле Ясилевич.

Поворачиваюсь.

У дверей – *он*.

– Извините меня за сегодняшнее, домнул Стайнбарг! – сказала я ему.

Мы вышли из аптеки.

– Извиню, но при одном условии! – пробовал он шутить. – Почему Вы полагаете, что Гусятина не было?.. Объясните!..

Вся площадь наблюдала нас.

Лопаты садовников перестали звягать у дома суда.

– Не могу объяснить! – ответила я. – А только не было и всё!..

Прошли несколько шагов.

Остановились.

На крыше мужской гимназии кровельщики перестали стучать по листовому железу.

– Так вот, – сказал он своим веселым голосом, – несколько слов про Гусятин!..

Мы тронулись дальше.

– Я даже не был еще бар-мицва¹, когда русская армия вступила в город! Русские несли потери, были озлоблены! Первым делом они сожгли дом ребе!..

Долгий пружинный зёв заглушил его слова.

Это в «*Comedy Brody*» дверки распахнулись.

В одну минуту стало шумно под плющом.

Целая банда гимназистов из зала выбралась.

И Шурка среди них.

Они шли, выделяваясь друг перед другом, дурачась, как клоуны, но, увидев *нас*, встали как вкопанные.

Я знала, что Шурку дразнят (из-за Иосифа С. и меня). Но до сих не придавала этому значения.

И вот..

Но у них достало воспитанности – встать перед Иосифом С. и поздороваться с почтением.

Чтобы тотчас разлететься со смехом.

¹ 13-летний – ивр.

Один мой Шурка не улетел со всеми.
Вид его был грозен.
Мы постояли втроем.

«Как дела, Шура?» – спросил Иосиф С.
Шурка только пыхтел в ответ.

«До свиданья, Шура!» – приказал ему Стайнбарг.
И поправил шляпу на голове.

Лютая краска бросилась в лицо моему брату.
А глаза заблестели и стали белые.

Меня пугают *такие* его глаза.
В *таком* состоянии он способен драться один с 5 молдаванами...
С ужасом я увидела, как его приземистый корпус отклоняется, как у гусака – сейчас атакует.
Я схватила Стайнбарга за локоть.

– Ну вот... – обрадованный Стайнбарг тотчас повернулся спиной к Шурке, лицом ко мне. –
Значит, русские солдаты сожгли дом ребе! Это был сигнал к началу убийств!..

Шура стал бледен. Пот выступил у него на лбу.
Испепелив меня взглядом, он отошел (но недалеко – всего на полшага).
Сомнения преследовали его.
Зачем-то он посмотрел себе под ноги.

– Не буду говорить, что с моими родными стало! – продолжал Иосиф С. – Но меня Иеошуа
спас! Он был маркитант казацкого полка. И иностранный поданный!..

Слушая его, я за Шуркой следила. Не выпускала его из виду.
Вот он направился к новому мосту.
Ускорился.
Побежал.

Я была готова бежать за ним – предупредить мамин нервный приступ.
Стайнбарг остановил меня.
– У меня назначен телефонный разговор с Кишиновом, – рассказал он. – Идемте!.. После я
проведу вас домой!..

Как зачарованная я потопала за ним.

– И вот, как иностранный поданный, Ёш выдал меня за своего сына и вывез из Галиции! –
рассказал он по пути. – В Яссах он устроил меня в монастырский приют!.. Там ко мне проявили
сочувствие как к сироте!..

6.

Стайнбарг прошел в комнаты не разуваясь.
Я присела на стул в прихожей.
Входная дверь оставалась открыта.
Полоса закатного света подбежала оконные ставни.
Дролфирер «Кишинев – Яссы» прогудел на станции.

Стайнбарг встал возле пианино.

– В монастыре меня отдали на лесораму, – рассказал он, смотря на телефонный аппарат. – Я проработал там 4 года. Механист, потом помощник управляющего. Моя первая сделка по аренде леса произошла при содействии ясской епархии. Затем я арендовал лес у Гербовецкого монастыря. И очутился таким образом в вашем уезде!..

16 июля 1935, Орзеев.

– Впоследствии, когда дела мои пошли в гору, – Стайнбарг убил комара, взявшего в воздухе, – я решил отблагодарить Ёша. Доллар тогда продавался по курсу 117 немецких марок. С моим австрийским паспортом я мог брать кредиты в Германии. Я предложил Ёшу кредит! – Стайнбарг часто заморгал. – В Европе я знал место, где в тот год курс был 7 марок за американский доллар! Но увы. Ёш не захотел. А меньше чем через год повсюду в Европе курс был 4500 (четыре с половиной тысячи) марок за американский доллар!..

И он стал смотреть на меня, ожидая признаков арифметического потрясения.

– А на свиньях заставляли ездить? – спросила я.

– Что? – не понял он.

– Я спрашиваю, заставляли или не заставляли евреев ездить на свиньях в Гусятине? И танцевать голыми на площади?..

(1...2...3...4...5...)

– Да! – отвечал он. – Заставляли!..

Телефон позвонил – болотным лесным звуком.

– Buna Seara!¹ – сказал Стайнбарг в телефонную кость.

Я вышла.

Двор был голый, чисто выметенный. И если Гусятин правда, то...

Стайнбарг появился.

– Петров звонил! – объявил он так, будто это имя мне что-то говорит. – Есть мельница в Ниспоренах, какие-то русские отдают! – он поднял локоть и сдул пушистую гусеницу с рукава. – Одна проблема: *хлеб, таксация!*.. А с другой стороны... своя земля, а?!.. – и посмотрел испытующе. – И значит, мои дети не услышат «Gidan' keratc ve afara la Palestina!»².

– И женщинам груди вырезали? – с обреченностью я посмотрела вверх. Ив сторону.

Глаза его округлились.

Он улыбался.

– Я круглый сирота! – сказал он наконец. – У меня вот тут... – он провел рукой по левой икре, – онемение тканей из-за плохого кровоснабжения!.. В нашей семье это наследственное по мужской линии!.. и это всё, что осталось у меня от отца, от старшего брата!.. И хватит! – он повысил голос. – Всё, что Ёш наговорил вам про Гусятин, правда!.. До последнего слова!.. И хватит!..

– Нет, не хватит! – поникла я.

– Вас не учили, что бывают несчастья? – спросил он с угрозой.

¹ «Добрый вечер!» – рум.

² «Евреи, убирайтесь в Палестину!» – рум.

Его тон был обиден.

Обида удерживала меня от обморока.

– Учили!.. – выдохнула я.

– Не похоже!..

И он подобрался так, точно готовился мне лекцию прочесть.

– Послушайте, мы малообеспеченные из-за папы! – сказала я, воспрянув для последнего боя.
– Это раз!.. У мамы больное сердце и... подозрение на диабет!.. это два!.. Но с этим я согласна жить!.. А с Гусятиным не согласна!..

– Но вы живете! – наседал он.

– Но я не согласна!..

– Но вы есть! – засмеялся он. – Куда же деваться?..

– Не знаю!..

Темнело.

Я торопилась домой.

– А я знаю, куда деваться! – сказал Стайнбарг поспешно. – Выходи за меня замуж!..

Я не давала согласия быть, но я есть.

Я не знала, куда деваться, а он знал.

Поэтому я вышла за него замуж.

7.

Т.Р. пригласила жирного Хаса на день рождения.

Это случилось на физкультуре в подвале старого здания.

Мы сидели на гимнастических скамейках вдоль стен.

Сигизмунд (преп. физ-ры) выкликал к брусьям по одному.

И тогда Т.Р. подходит к нашей скамейке и... приглашает Хаса на д.р. (при мне!).

А я и не знал, что у нас в классе чувихи уже приглашают пацанов на д.р.. Упустил момент, когда это началось.

И вот, под бой чешек и кед о кожаные маты, под азартные хлопки страхующего Сигизмунда возле брусьев, под многолетний запах пота, настоявшийся в физкультурном подвале, она подошла и пригласила.

В воскресенье, на 2 часа дня.

Кишинев, март 1974.

Дома я подготовил открытку (без подписи, чужим почерком). Чтобы Хас ей вручил.

Но чувство шумело, гнулось. Подавило буквы.

Оставил бы как есть. Так нет, стал тереть резинкой, подчищать лезвием. Грязи развел.

В воскресенье вечером.

Я не мог дожидаться, когда Хас вернется и позвонит.

Места себе не находил.

Наконец, не выдержал – сам набираю (2-58-56).

А он дома давно.

И, главное, голос такой флегматический.

Я, говорит, открытку не отдал – из-за её помойного вида!

Уф-ф-ф!

Гора с плеч.

Но если честно, то меня не наружность моей открытки смущала, а что потом будет.

Пока я эту открытку сочинял, мир по заведенному порядку крутился в маточке воздуха.

Но, отдав её жирному Хасу для вручения Т.Р., я приостановил мир – до тех пор, пока судьба моя не будет решена.

А он и не вручил.

И тогда я художыко, но прямо объяснился ей в л-и.

Объяснение в л-ви.

Я звонил ей из автомата на Ленина-Армянской возле магазина «Ткани».

Впереди 8 Марта, 3 выходных. Это успокаивало.

К тому же толстый Хас пыхтел рядом.

6 марта 1973, Кишинев.

«Ты мне нравишься!» – объявил я ей.

«Я знаю...» – грустно отвечала она, и, пожав плечами, я повесил слезницу трубки.

...Три выходных прошло.

В школе я ожидал самого плохого, вплоть до публичной казни. Ведь там, в телефонной консерве, я раскрылся как есть. И кто знает, какой мощи противодействие мог разбудить самим фактом своего явления!

Круглые часы под козырьком Политеха показывали 8.10 утра,

Полшколы покоряло парадную лестницу вместе со мной.

Наверху, в проеме дверей, торчала Алина Ячменикова, подружка Т.Р.

Её отрядили как лазутчика.

Вот и она вызенькнула меня в толпе и... аж пятки засверкали – в сторону класса!

О, лучше б я не рождался на свет.

Но я не мог не отметить и интригу, скрутившую спортивное тельце Ячмениковой.

И уже одно то, что объявление моих чувств вызвало если и позор, то вдобавок и интригу, подбодрило меня, и я вступил в класс.

...Из мальчишек никто не знал, ну, может, Букалов и Мотинов, но они не были мне враждебны.

Первый урок.

Перемена.

Второй урок.

Перемена.

Третий урок.

Перемена...

Только на пятом уроке встретился с ней глазами.

Как баржи на реке – встречным курсом, без гудков.

Ура: она не оскорблена моим объяснением!

А между тем...

...объясняясь предмету страсти... чего я искал-просил, каких призов добивался?

Ведь не женитьбы в 12-то лет!

Не интимной близости – в 6-м классе!

А добудь я взаимность, во что б это выгнулось?

Борька Букалов, самый симпатичный и ловкий среди нас, прижимал *их* возле вешалки с куртками и плащами, даже целовался *с ними* в парке Пушкина после уроков и потом взахлеб рассказывал про какие-то «засосы».

Я так не умел.

Куда же я рыл?..

Не знаю. Я только чувству внимал духозейно.

Штуф любви горел, множился.

«Ты мне нравишься!» – сказал я ей по телефону. Точно глыбу руды, душившую издревле, вынес наружу.

И вот – красивая, ладная личность её уже не причиняет мне боли.

Теперь я и законным дали и шири смогу объясниться в любви.

В любви и приятье.

КНИГА ВТОРАЯ

Часть I

I.

Хвола. Война.

По радио передали обращение «*Ко всем трудящимся города Ленина*».

На фабрике провели митинг.

Было решено: записываемся в дивизию народного ополчения (ДНО), комплектующуюся во Фрунзенском р-не.

Лев Корчняк подал заявление одним из первых. Он был мастер цеха, видная фигура.

В графе «*семейное положение*» он записал «*жена – Корчняк Ольга*».

И проследил, чтоб оставили без исправлений.

– Ты моя жена Корчняк Ольга! – внушал он Хволе. – И не слушай никого!.. Что бы ни говорили – не слушай!..

– И Ариадну Меркурьевну... не слушать?! – не верила Хвола.

– Ариадна Меркурьевна... – вздохнул Лёва, – тебе свекровь!..

– Так уж и свекровь! – не преминула уколоть. – А чего вздыхаешь тогда?..

Как будто и так не ясно.

«Хотите развод через ЗАГС – отдавайте Виктора!» – шантажирует Нелли, законная жена.

Поэтому ЗАГС отпадает.

– Ну и ладно, проживу без ЗАГСа! – уверяла себя Хвола. – В ЗАГСе та же милиция, только не в портуях!.. Еще возьмут и спросят про убийство Кирова!..

Пройдя ускоренную 3-дневную подготовку, отряд Фрунзенского ДНО выступил маршем на участки Онежско-Ладожск. перешейка, в р-н Лузского рубежа.

Июль 1941 г., Ленинград.

И Ариадна Меркурьевна, Лёвина мать, признала Хволу наконец (хотя и католичка): «Добрó, хватит по чужим углам! Переходи! Но только без этих своих... *мешков!* Комната хотя и большая, но всего одна!»

Переходить???!..

Из фабричного общежития с мышами и клопами – в благородный дом на ул.Марата с дубовой дверью! С чугунной решеткой вдоль лестницы! В комнату с греческими вазами на буфете и навощенными звездами в паркетной мозаике! С 2 шкапами польских книг и дуплом камина в мраморной глазури!..

А *мешки?* Какие у меня мешки! Так, чемодан один.

Ур-ра!!!

Тем более что АМ женщина суровая, несентиментальная. К ней всё подцарапывалась родня, какие-то переселенцы из Белорусии – дальше коридора не пустила.

«Нам самим выжить надо!»

И – на цепочку! – входную дверь.

Хвола училась у неё.

Женщины конфетной фабрики выбыли по трудовой повинности в район пос. Лебяжье. Строили там оборону.

Хволабаялась, что в её отсутствие неуравновешенная Нелли попытается Витеньку переманить. Даже сны такие снились: о том, как Нелли приходит и переманивает: «*Сынок! А у меня патефон с иголкой есть! И пластинок целая коробка!*» И как бессловесный Витенька уходит к ней – ради патефона с пластинками.

В воскресенье отпустили в город (помыться, постираться).

Прибегает на ул.Марата.

Мальчика нет.

«В четыре утра, – сообщила свекровь, – собрали всех у школы. Для организованной отправки из города! Только и успела нашить метки на одежду!»

– Метки на одежду? – переспросила Хвола таким голосом, что старуха внимательно посмотрела на нее.

– Ну, чего носом сморкаешься! – заметила недовольно. – Спасибо надо сказать!.. Тут война будет!..

Хвола утерла слезы.

– И еще что! – поменяла тему старуха. – Милиционер тебя искал!..

И показала на клочок серой бумаги в вазе на буфете.

– Если что, ты на окопах, я тебе не видела!..

– Да, я на окопах!.. – Хвола попятилась к дверям.

Но остановилась.

Собралась с духом.

– Дайте повестку!.. А то изведусь!..

– Правильно! – одобрила свекровь, подавая ей повестку. – Иди!.. И не дрожи там перед ними!..

По повестке. В тот же день.

На улице, возле застекленного щита «Разыскиваются...» курил худенький военный в синей гимнастерке.

Он обернулся и оказался... Антоном Козловским.

Гора с плеч!

– Это только на военное время! – оправдывался он, когда шли по коридору. – Войну выиграем, в пищевики вернусь! Паспорт при себе? А метрика?.. Отлично!.. Давай сюда!.. Значит, ты где? В Лебяжьем на окопах?.. – рот его не закрывался. – Хочешь, поближе переведем? На мажорировки памятников, например! Всё дома ночевать будешь!

– Был запрос! – рассказал он, когда в комнату вошли. – На *Москович Хвола*! Ну ты-то Ольга, вопросов нет! А только в связи с положением на фронте приказано также и однофамильцев проверять! – и сунул какой-то лист для прочтения.

– Познакомься, золотая девушка! – рассказал он военному за вторым столом, при этом близко-близко поднес к глазам Хвольну метрику. – Верку, сеструху мою, с того света выходила! Верка от скарлатины загибалась, помнишь?!..

– А-а, помню! – протянул тот доброжелательно.

– И на фабрике передовик! – еще добавил Антон, чуть ресницами не задев метрику. – У мастера цеха правая рука и, главное, работу с учебой совмещает!..

Только на слове «совмещает» Хвола поняла, что это про нее Антон говорит.

«12.7.1941 на Николаевском КПП г. Одесса, – прочитала она по листу, – задержана гр. Москович Адасса (постоянное местожительство – пос. Резена Молдавской ССР)».

Здесь буквы заплясали в глазах, читать стало невозможно.

«Предъяв-ле-но слу-жеб-но-е удостове... удостове... предъявлено служебное удостоверение "Заготзерно МССР", – зашевелила губами по слогам. – А пас-порт не предъ-яв-лен, эва... эва... эва-ку... эвакуационный лист не предъ-явлен!»

– Прочитала?.. – Антон мягко потянул у нее лист из рук. – Москович Адассу знаешь такую?.. Не знаешь?.. Тогда распишись!..

И подсунул бланк для росписи свободной рукой.

Получилось так, что две его руки совершают два одинаково важных действия на противоходе: левая отнимает запрос Николаевского КПП г. Одесса, а правая вручает бланк Фрунзенского райотдела НКВД г. Ленинград.

Левая – отнимает маму-папу-Адассу.

Правая – присуждает все права на Витеньку.

Возвращая запрос, Хвола скользнула глазами по тексту и уже без дробления на слоги, без мельтешения печатных знаков в глазах вобрала в душу и в мозг все недочитанное:

«...гр. Москович Адасса утверждает, что из-за быстрого немецко-румынского наступления вынуждена покинуть территорию МССР и направляется в г. Ленинград к сестре.

В силу объявленного режимного профиля г. Одессы и усиления борьбы с засланными немецко-румынскими диверсантами, просим установления личности сестры или подтверждения отсутствия таковой в городе.

Имя сестры: Хвола Москович, возраст: 1915 г.р. На территорию СССР проникла в 1935-м году с территории боярской Румынии (ИИП-42)».

Подпись. Печать.

– Ну да ты вообще не с тех краев! – подвел итог Антон. – Садись, чего стоишь!.. Садись, пиши спокойно!..

Хвола уселась.

– Одессу трясут! – рассказал он своему товарищу, пока она пером по бумаге вела. – С Молдавии туда гражданское население побежало!

– Молодцы Одесса, – одобрил его товарищ, – четко просеивают!..

– Ого! – подтвердил Антон. – Через самое мелкое сито!..

– Не моя это работа! – посетовал он на улице, когда прощались. – Я по фабрике скучаю!.. Ладно, бывай! – пожал ей руку.

– Стой! – закричал ей в спину.

Остановилась.

Медленно вернулась.

– Ну а личные-то просьбы... – подошел вплотную, – есть?.. Давай, пользуйся моментом!..

Личная просьба была.

Даже 2 просьбы:

1. Эвакуировать к чёрту Нелли (в составе облфилармонии, потому что нельзя ей сына доверять!).

2. Пасынка Витю из эвакуации вернуть. Потому что пропадет он без присмотра.

Если бы Антон потребовал объяснений, она объяснила бы как есть: Нелли для Вити родная мать, но при этом бабочка безытная, все сколько-нибудь ценные вещи давно в ломбарде на Бассейной. Перья из подушки, и те в ломбард снесены. Чего тут говорить, если и областная филармония, где у нее трудовая книжка, не включила ее в списки эвакуируемых, до того низкий авторитет...

Но Антон не задавал вопросов.

А только переспросил: «Как пасынка полное имя?».

И записал – *Корчняк Витя* (10 лет) – в блокнотике.

Он как бы занавес обрушил на сцене – этим своим росчерком в блокнотике.

Как бы пресек новые, дополнительные просьбы.

Поэтому про перевод с рытья окопов в Лебяжьем на маскировку памятников в центре города Хвола не стала напоминать.

Выживу и на окопах.

2.

Спустя 34 года. Витя Пешков. Желтуха.

Я заболел в воскресенье, в кухне.

Вот как это произошло.

Баба Соня искала грецкие орехи в пенале с крупами и зацепила штормку.

За окном сверкнуло.

Там – неуверенно и густо – первый снег шел.

И тогда мама взяла мою голову двумя руками.

Лицо её всеми порами выставилось над моим лицом.

«Жёлтые!» – ахнула она.

Декабрь 1975, Кишинев.

Еще никогда она не смотрела в мои глаза так долго.

А с тех пор, как родилась Весна (сеструха), не смотрела даже мельком.

И вот она стоит и изучает мои глаза так, точно я тут не при чем. А только глаза.

Потом подвела к подоконнику, «на свет», и опять изучает.

И, главное, взгляд такой цепкий, точно пацаны с гвоздячими сапками идут поморскому пляжу и протыкают песок в поисках сокровищ.

А тут и баба Соня на очереди. Вытирает руки о фартук. И ей моя голова понадобилась.

Бабы Сонин *загляд мне в глаза* был неодобрительный. Как будто в нашем доме ей одной можно болеть.

«Ну хватит!» – я стал вырываться из ее рук.

Окошко в кабине «Скорой» было в серых штормках на леске.

За ними город окривел, стал неузнаваем.

Тот ли этот город, где я родился (влюблялся... играл в футбол)?

Те ли это улицы, по которым Брежнев пролетел в открытой «Чайке» и по которым Пушкин с тросточкой гулял?!

Стемнело так быстро, точно из ведра окатили.

Через 20 минут. В приемном покое.

Пижама была с дымком.

– А потолще белья нет? – возмутилась мама. – Где кастелянша?.. Кастеляншу позовите!..

В приемном покое все посмотрели на нас.

Пристыженная кастелянша появилась.

В первый момент я чуть не треснул от ужаса: подумал, это Вовы Елисеева мамаша (он хвастал, что она вбольнице работает).

К счастью, не она. А только похожа.

Мама заставила её шупать мою пижаму а потом заговорила по-молдавски – довольно складно. Я не знал, что она умеет.

Кастелянша ушла и вернулась с пижамой поновее. Было видно, что она боится маму. Потому что мама на этом своем молдавском... точно охотник в утиный манок дует. Вроде бы *кря-кря*. А на деле – *пиф-паф*.

И тогда ко мне санитар подошёл – увести как арестанта.

«Ты Лазареву позвонишь?» – спросил я маму на прощанье.

«Зачем?» – удивилась она.

«Ну рассказать... что я в больнице!..»

И, заметив ее растерянность, выпалил еще вопрос (мучавший меня всю дорогу):

– Я не умру?..

«Новости дня! – засмеялась она. – Ты только вступаешь в жизнь!»

Если бы.

Санитар повел меня через больничный парк.

Уже стемнело, и старинные деревья паслись, расседланные, под крепостным валом. Тонкий покат ветра («у-у-у-у... у-у-у-у») подгонял их в спину.

А вот город ничем себя не выдавал. Ни звуком, ни сигнальной ракетой. Точно там, за каменным забором, фабрики и заводы больше не дымят, магазины не торгуют, автобусы и троллейбусы вымерли.

Как будто там голая тундра без огонька.

И хотя я помню, что там проспект Ленина, самое устье его над Скулянской горкой, а чуть ниже кондитерская фабрика «Букурия», пышущая огненным какао днем и ночью, это не обещает ничего.

Я умираю.

3.

В палате.

Никто и головы не повернул, когда я вошел.

Только с дальней койки спросили, какие у меня билирубин и трансаминаза.

На всех койках стихли, ожидая что я отвечу.

Я не знал, что это такое – «билирубин», «трансаминаза».

«Всё ясно, на Новый год с нами будешь!» – повеселели кругом.

И мне понравилось, как они распорядились мною.

Улегшись в койку, я взял с тумбочки газету и стал читать с 1-й полосы.

Палата была в 2 грядки, по 5 коек.

Окно забинтовано на зиму.

На тумбочках шашки-шахматы-домино, старые «Огоньки», чай без подстаканников...

И я подумал, что, если смерть выглядит вот так: под выпуклой луной, в отдельной от всего мира комнате, где не происходит ничего, кроме болезни, где ты иглолка в яйце, а яйцо в утке, утка в зайце, земля в космосе, а сама жизнь в далеком прошлом... – то все не так плохо. Есть даже преимущества. Они там за забором еще живут. Еще только боятся смерти. А ты уж встретил ее. И – ничего. Терпимо!

Одно только плохо: никогда я не выйду отсюда.

Ночью я извелся без сна.

Как это так: никогда не выйду?!

А вот так, не выйду.

Более того: не увижу ни бабушку, ни маму (тут инфекционка, посетителей не пускают).

За что это мне?!

Думаю, это из-за Весны (сеструхи моей).

С тех пор, как она родилась, я пофигу всем.

Особенно Лазареву.

В последнее время он меня и к телефону не зовет, когда по междугородке звонит.

Предатель!

Если бы он с самого начала объявил, что поживет с нами всего 2 года, родит мне сестру с таким дурацким именем, а затем улетит в Москву за 1000 км, то я бы не стал с ним водиться.

Ни единой бы хроники не написал.

Даже в уме.

Не говоря о том, чтоб в «Общей тетради».

4.

Лазарев. За 1000 км.

За спиной шептались, распускали слухи.

Мол, *блатной*.

Это потому что на ВЛК¹ берут до 35, а ему 37.

Вот дураки, он же по квоте «Известий»!

Дальше – хуже. Был его день читать на семинаре прозы, пришли одни калмыки с бурятами. И никого из *центровых*².

И что особенно задело: центровые собирались на квартире у Б. на читку «*Этногенеза и биосферы Земли*»³, а от него скрыли.

Почему?

В прошлый вторник все стало ясно.

В перерыве между парами вышел покурить со всеми – умолкли.

Отошёл – сразу «Третий Ша! ха-ха! Третий Ша! хи-хи!...» за спиной.

Да вы что, ребята!..

Это был плевок в душу. Удар по сокровенному.

Дело в том, что поодиночке в большое искусство не входят. А входят поколеньем, волной! 2-3 раза в столетие! От того и оставил дом, семью, уютную провинцию, от того и кинулся в океаническую стихию Москвы, что именно сегодня, сейчас (по многим приметам!) – фаза собирания волны. Проморгаю – останусь один и никому не интересен.

И что же – не берут?! Выталкивают из поколенья?!

Декабрь 1975, Москва.

От Нади поступало по 2 озабоченных письма в неделю:

¹ ВЛК – Высшие литературные курсы.

² центровые – москвичи и питерцы.

³ «Этногенез и биосфера Земли» – историко-философский трактат Л.Н. Гумилева (гвоздь сезона!).

«...Весна плохо развивается, мелкая моторика отстаёт от возраста... Витя безнадежный троечник... Мама – колит, гастрит... В гостиной потолок течёт... И ты обещал Шлёму навесить! Разузнать про харьковский период!..»

«Убил бы, – поморщился Лазарев, – за этот харьковский период!.. За этого третьего Ша!..»

Но он и вправду решил выбраться в гости к Шлёме.

Тем более что других планов на вечер не было.

И тем более что – помимо харьковского периода – имелся еще и собственный интерес.

Но сначала про харьковский период.

О том, что имеется в виду.

1-й Ша не оставил после себя ни единой рукописи, ни единого клочка бумаги, надписанного его рукой. Его отец и мать, его жена, его дети (!!!)... были неграмотны. Сам факт его существования – под вопросом.

2-й Ша в возрасте 20 (!!!) лет создал величайший эпос века. Без единого черновика (!!!). Сам факт его существования под вопросом (уж слишком не похож на гения испившийся, изолированный от мира казачок с малограмотной речью).

3-й Ша начинал свою литкарьеру в Харькове, во время учебы в автошколе (в одной группе со Шлёмой). Вот об этом и надо Шлёму расспросить. И записать документально. Чтобы снять все вопросы.

Теперь про собственный интерес.

Шлёма как таковой!

Загадочная личность! Инвалид на скрипучих протезах и... Дон Карлеоне – судя по богатству в доме (Фаберже в буфете, Левитан с Поленовым на стенах, 1000-ватный «Sony» в спальне...) Потерял ноги в Ленинградской ДНО. И при том часовой мастер с исполкомовской лицензией на ИТД¹ в сердце Москвы (это какие связи нужны!). «Вот дурак!..»

И Лазарев со всех ног побежал на Кирова – к Шлёме в «Ремонт часов».

«Вот дурак!» – относилось к себе. К тому, что до сих пор не влез в душу к Дону Карлеоне. Не выцарапал материал для книги.

Вот что необходимо выцарапать:

1. Верно ли, что, если по-хорошему да по-умному, то Ленинград надо было немцам сдать – вместо того, чтоб заморить треть населения в блокаде?

2. Верно ли, что необученных салаг из ДНО (где Шлема воевал) бросили на Ладожский лед без запаса патронов, без артиллерийской поддержки, не давши отдохнуть после 3-дневного пешего марша?

3. Верно ли, что и в самые смертные дни блокады в Смольный – спецсамолетом – доставляли рябчиков и устриц из Кремлевской кухни?

4. Верно ли, что на победных улицах 1945-го года происходили облавы на безногих инвалидов (дощечки на подшипниках, упор-отталкивание кулаками об землю...) для выселения на северные острова (чтобы парадный вид не портили)?..

¹ ИТД – индивидуальная труд. деятельность. Лицензия на нее выдавалась Мосгорисполкомом в исключит. случаях.

И еще.

5. Безногий Шлёма (еврей, 55 лет) и худая басовитая баба Дуня (из самарских купцов, 80 лет), контролирующая каждый его шаг, – кто они друг другу?

И последнее.

6. Безногий Шлёма и теща Сонь Михайловна (со следами бывлой женской прелести)... – их-то что связывает?!

Во материал!

Во – «пятый угол»!

Под «5-м углом» Лазарев понимал некое литературное открытие колумбовой дерзости и масштаба, некий художественный архипелаг в пелене литературной дали, вроде того, что *Исаичу* открылся. «Эх, мне бы так!» – представлял он. Чтоб никакого поколенья – без него – не поколенья! Чтоб никакого собирания волны – без него!

На Кузнецком мосту фонари были погашены.

Тусклые цепи автомобильных фар не разгоняли тьму.

Замечтавшийся Лазарев переживал красный свет на углу Кузнецкого и Трубной, когда его – точно цветным рисом в лицо! – атаковало встречное лицо женщины...

5.

...Рифлённое стекло светофора стало зелёным.

Бесплотные тени припустили по «зебре».

И только Женщина ступала наземисто, широко, мятежно.

Шаг ее гремел, как лопасть.

Витрины Кузнецкого едва мрели на обочинах, тусклявые, как табачный лист.

И только Женщина польхала, как пятерня.

Лазарев перевел дыхание. Оглянулся.

Вошел в «Книжную Лавку».

Он заходил туда на прошлой неделе, предлагал 50 рублей за «Этногенез и биосферу Земли» (*ротап rint*). Ему обещали. Ну и...? Подойти, напомнить?..

Но уже в следующую минуту развернулся и побежал.

За *Ней*.

Удаляясь от Дона Карлеоне и харьковского периода.

Где Она?

Пропала из поля зренья.

Побежал к Неглинной, к ЦУМу.

С тылов – к Театральной площади.

Болезненней всего была тайна. От неё происходили чувства потери, бреши, необладания.

Вынырнула!...

Наява!

5-метровая Касатка Тигровая!

Шел за ней на расстоянии вытянутой руки.

Шел, подкорнав шаг. Рассматривая с такой цепкой силой, что в висках шум.

Как быть?

Красота, помимо его, лазаревского, обладания ею, была мучительна. Лучше б ее не было вовсе.

Наява была выше среднего мужского роста.

Осаниста по-оперному.

Шуба жуёт светлыми губами мехов.

Голова непокрыта, и красные волосы текут раскалённо, как шлак.

Гончарное лицо расписано, как ендова.

Свернула к гостинице «Берлин», заплескалась в беге.

Швейцар окаменел, когда она поравнялась с ним.

Она так обреченно, грузно шла в гостиничные двери, точно валилась под речной лед.

Но как хороша!

И мнения Ваньки Усова не нужно.

В других случаях Лазареву, чтоб определиться с собственными оценками, помогало мнение кого-то, кто сёк. Например, Ваньки Усова мнение, если о тёлках или о Шопенгаузере.

Но сейчас – и без Ваньки все ясно.

Постоял на противоположной стороне.

Потом потурил в поспредство. Разбитый совершенно.

О визите к бабе Дуне и Шлёме не могло быть и речи.

О, Красота!

Если б в дверях гостиницы ее встречал муж, сияющий франт с дипломатической выправкой... Или кружок товаров... или молодой любовник (лучше, если старый)... или взрослая дочь... да кто бы ни встречал... – лазаревский столбняк исшел бы сам собою.

Но польмястая эта красота направлялась в оргию бессомненно!

Лицо швейцара, остановившееся, как глазурь, говорило о том.

Уж кому-кому, а Лазареву знаком был этот прозрачный, как ледок на ковшике, взгляд. Знаком по собственному прошлому. Пускай и без поправки на московские размах и бесстыдство.

6.

Собственное прошлое – это опять-таки Ванька Усов (младший сынок Родиона Усова из ЦК, для справки).

К Ваньке липли *машки*, рожденные для харева и дармового увеселенья.

Машек было много, целая пухлая записная книжка. Гуляли в «Порумбице», в погребке «Крa-мы», в обоих «бочонках». Догуливали на Ленина, 64. У Ваньки две смежные квартиры на 3-м этаже с ходами из разных подъездов. Он снял стенку, получилось 6 (шесть!) комнат, не квартира – американское кино.

В отношении *машек* Усов проводил чёткую ротацию. Чтоб не приваживать. Лазареву это подходило. Он сочинял пьесу, оставил службу. Не время для *чувств* (вот добьется мировой или хотя бы всесоюзной славы, тогда и позволит себе).

Впрочем, он дружелюбен был с *машками*. В нём усовского зверства не было.

И вот – Наява.
 Возмездие.
 За что?

Ну да, как Ванька, он не бил *машек*. Не натравливал Бенжамена на них (Бенжамен – Ванькин королевский дог. *Машки* его боялись. И не зря. Была у Ваньки навязчивая идея: встелку напоить одну из *машек*, и чтобы Бенжамен на нее залез).

Так вот, Лазарев не натравливал, не бил.

Но и к сердцу не брал.

Потому что не отмоешься от волос и помады, если к сердцу...

Но!

С тех пор как Веснушка родилась, страх не отпускает: что-то с ее будущей женственностью станет? Обойдет ли своего Ваньку-изувера? Да и дружелюбного растлителя вроде самого Лазарева – избегнет ли?!

Неужели поругают?

В отместку за *машек*.

За Танечку из Садово¹, снятую по ошибке.

Вспомнив о *Танечке*, Лазарев простонал. Ухнул, как от боли.

Танечка была воробышек. Её подруга была *машка* из общаги на Малой Малине. То ли техника, то ли ткацкой фабрики. Усов снял *машку*, а Танечка под руку попалась. Она из села на выходные приехала. Их прямиком повели на Ленина, 64. Минуту фазу ресторана. Усов не хотел тянуть... Но у него гитара висела на стене. Танечка увидела – попросила спеть. Усов знал много альпинистских песен, он в горы ходил. Танечка ему подпевала. Лазарев понял, что она здесь по ошибке. Она не знает, что ее ждет. Он хотел увести её, но Усов встал в дверях. Сцепились. Усов бывший боксёр. У Лазарева пошла кровь из носа. «Извини... извини...» – Ванька полез обнимать-ся, но Лазарев оттолкнул его и ушел. Взяв слово, что не обидит Танечку...

1965 год, Кишинев.

Наутро Ванька говорил о ней с уважением:

«Ты оказался прав, она по ошибке!»

Но он не стал врать. Он не пощадил её.

Она берегла девственность для замужества, и ему пришлось взять ее иным способом.

«А замужество? – вырвалось у Лазарева. – Она ведь не забудет того, что ты с ней сделал!..»

«Не будет у нее замужества!» – отвечал Усов.

«Откуда ты знаешь?».

«Знаю!.. Потому что её самой нет!»

У Ваньки было неплохое чувство юмора, но в данную минуту он не шутил.

Он лаконично, собранно, связно изложил свою теорию. О том, что никого нет. Ни вверх-вниз, ни вширь-в сторону. А есть только то, что я, Усов Иван Родионович, 1939 г.р., знаю, помню, чувствую. Всемирная история – песня в моих ушах. Звезды на небе – узор на сетке моего глаза. Устрани меня – их не станет.

«Прикалывается! – надеялся Лазарев, изо всех сил всматриваясь в Ваньку. – Умеет, гад, шутить с серьёзным видом!..»

А потом вдруг понял, что – ни фиги! Не прикалывается! Вон даже глаза потемнели от убежденности.

¹ Садово – поселок в Каларашском р-не (1400 населения), в 28 км. от Кишинева.

Во даёт!

Стояли возле гастронома на перекрестке Болгарской – Ленина, у телефонной будки, с пятнистым Бенжаменом на поводке. Дневные прохожие обтекали их. Все пялились на красавца-дога, терпеливо (пока хозяин с дружкой о чем-то спорят) сидевшего с высунутым языком.

И тогда Ванька показал на угол Ленина – Бендерская (где кафешка «Золотой Початок») и стал уверять, что за углом – пустота. Ничего нет.

– Да отвали ты – *пустота!* – завёлся Лазарев. – Что, и центрального рынка там нет? Ну-ка идем за угол, посмотрим!..

– Как только мы завернем за угол, рынок возникнет! – объяснил Ванька.

– Дурак! Этому рынку 200 лет! – разволновался Лазарев. – По нему еще Пушкин гулял! Пушкин с тросточкой!..

– Сам дурак! – отвечал Ванька с хладнокровием. – Пушкин – часть твоего сознания!..

– Скажи еще, что автостанции там нет! – возопил Лазарев. – И бочек с пивом!.. И цыган с инвалидами!..

Но Ванька всё отрицал. В том числе и существование Пушкина. Хуже того. Увлеченный спором, он еще и объявил, что все те люди, что в эту минуту, у них на глазах, огибают угловую витрину «Золотого Початка» и пропадают из виду, попросту... перестают быть.

Во как!!!

– А... фараоны египетские? – вскричал Лазарев (первое, что на ум пришло). – А... а... динозавр из Краеведческого?.. Что же, и динозавров не было?..

– А д-динозавр? – скопировал Ванька и очень смешно изобразил, как Лазарев заикается и как подборонок его тремолирует.

– Всё было, Лёх! – сказал он после того. – В том числе и динозавры! Но только сразу в виде костей, понял?!.. А фараоны египетские – в виде мумий в Долине Царей!..

Начитанный он был, зверюга. Таких книг по эзотерике, религии, философии во всем городе не было ни у кого. Плюс он за границу ездил. Фотки показывал. Сильней всего, даже сильнее Парижа-Вены-Рима, потрясли Лазарева фотки из гробницы Тутанхона: какие-то сваленные в кучу кувшины, сундуки, лежанки 3000-летней давности – фараонское приданное на тот свет. Вспомнишь о них, и какие тогда сомнения могут быть – вещественности мира?!

Но сомнение – стартовало.

Потому что если Ванька и врал, то это было величественное вранье.

Диковинное. Освежающее.

Есть только то, что я вижу-помню-чувствую. На что я санкцию даю.

К тому же, хоть Ванька про это не говорил, но предполагалось, что Лазарев есть в любом случае: и когда Ванька видит его и когда нет. В силу давней дружбы с Ванькой.

Не-ве-ро-я-тно!

Свихнуться можно!

Вот только в случае с Найвой... хм... Лазарев был определенно на усовской стороне.

Всей душой он желал, чтоб она перестала существовать – едва только скрылась из поля зрения – в дверях «Берлина».

7.

Витя Пешков. Инфекционная больница.

А в начале 2-й недели (я тогда еще следил за календарем, и дни еще не превратились в кашу), сразу после утреннего обхода вносят посылку: иностранное варенье из ягод. Из Москвы, от Лазарева.

Ну спасибо, удружил!

Теперь вся палата цепенеет от их запаха.

Хуже того, из-за ягод они догадались, что я еврей.

Делись-не делись – не поможет.

В палате новая эра началась: анекдоты про евреев.

Я уже заметил, что анекдоты про евреев принимаются просто так, без причины. Как осенняя погода – взяла и испортилась. Или как метельная поэмка – решила и поползла.

Еще любили спорить, кого среди евреев больше: гениев науки и искусства или спекулянтов и жидоморов.

Кажется, я не был ни тем, ни другим. Но в меня уже кинули разок подушкой после отбоя, после того, как обсуждали в темноте, почему евреи зашивают деньги в подушки...

Но анекдоты – это ладно. Полбеда. А вот дадут на завтрак плохой чай, – «еврейский чай!», так они смеются. Или лампа в потолке сгорит – «еврейская лампочка!», так они определяют.

Декабрь 1975, Кишинев.

...Ночью кто-то подсел на кровать.

Я подумал, это брать кровь из пальца.

Проснулся.

Забывтый дух свежести стоял в палате. Точно окно в больничный парк растворено.

Не разжимая век, я перевалился на спину, ожидая, что врачаха мою руку найдёт.

Но на кровати сидел военный в плащ-палатке.

В затхлости палаты веяло от него мелким зимним дождем, пыряющей рассветной свежестью.

Увидев, что яморгаю, обхватил меня вместе с одеялом, понес к выходу.

Это был «Пешков», отец.

15 декабря 1975, Кишинев.

В коридоре цинел кварцевый ночной свет.

– Уезжаю! – сказал Пешков, опуская меня на пол. – Далеко и надолго! Но я оставил деньги у матери – считай, твои!.. Тебе сколько сейчас, 14?.. Ну там хватит, чтоб встать на ноги!.. Лет за 10 встанешь?..

– Деньги из подушки?.. – возмутился я. – Не возьму!..

– Из какой подушки? – не понял Пешков.

Но в эту минуту короб со склянками прозвенел. Морозным воздухом опажнуло.

Это врачаха из лаборатории вошла со двора. В синем пальто с меховым воротником поверх медицинского халата.

– Вас кто пустил? – спросила она Пешкова.

И не слушая ответа (а он и не придумал еще ответ), захлопала ресницами:

– Тут закрытое отделение!.. Я дежурного позову!..

Голос она не повышала. А только ресницами хлопала.

– Все, все, все! – заторопился Пешков. – Вот только на пару минут с сыном попрощаться! – и кивнул на сына. – Уезжаю далеко, понимаете!..

– *На пару минут?* – переспросила она с иронией.

– Две минуты! – взмолился Пешков. – Пять минут максимум!..

– Значит, я в палату!.. – заключила она. – Вернусь – чтоб духу Вашего тут не было...

И пошла в палату.

– Спасибо! – в спину ей поклонился Пешков и, повернувшись к Виктору, зашептал, блестя глазами. – Запоминай меня, а?!.. Запоминай какой есть!.. Мяу!..

8.

Пешков. Какой есть.

Миновал целый год после амнистии. А жизнь так и не устроена. Ни по работе, ни в личном плане.

Ну, с работой – это так. Вопрос времени.

С личным – хуже.

По улице идешь – дергаешься: не сын ли это Витька – пьет газировку на углу?

Не жена ли это Надька... на скамейке возле бюста Пушкина... с *кадром* целуется?..

Надька, Надька ...

Вспомнить ее лицо в нотариальной конторе (первая-последняя встреча после развода).

Главное, что поразило, – спокойствие!

Какая-то скучная ясность в глазах, губах, подбородке, в прореженных тушью, невинно колеблющихся ресницах (раньше она не красила ресниц).

Поразило, что никакой тебе растрепанности чувств, скрытого усилия казаться спокойной.

Обидно даже. Весь если до сих пор он думал, что потерял ее любовь и уважение из-за того, что торговал обувью с грузовика (вместо того, чтоб ходить с ней по театрам-музеям), то теперь он видел, что торговля тут не при чем. Ну совершенно. А просто сам по себе, вот какой есть (рост, вес, краски голоса, цвет глаз...), он пофиг ей. Хотя бы и из музеев не выходил.

И еще она моргала как-то странно.

Допустим, встретились глазами. Она смаргивает. Но не так, как люди моргают. А медленно, с расстановкой. Веки этак вальяжно опадают на глаза. А когда поднимаются, то глаза глядят ужев другую сторону. Фокус-покус какой-то!

Всего один раз фотоны полетели из зрачков!

Когда о примирении заикнулся.

О том, чтоб... «*ну прости, Надёнок!.. Прости, наконец!.. Давай всё-таки сохраним семью!.. Мяу!..*».

Она: «С кем – семью?! С тобой – семью?!.. После Фогла?!..»

Он: «Какого еще Фогла?!»

Она (*вспыхнув*): «А то ты не знаешь!»

Он: «Не знаю я никакого Фогла!..»

Она: «Значит, это Фогл, который выманил у папы книгу, раз!.. это Фогл, который вытащил тебя из тюрьмы, два!.. ну и, самое главное, это Фогл, который твой биологический отец, три!.. И никакой я тебе не Надёнок, понял?! Я за тебя замуж вышла по просьбе папы! И чем *вы* отплатили ему?!»

– Мы? – растерялся Пешков. – Кто... *мы?*..

– Вы! – повторила она. – Фоглы проклятые!..

Вот так залепуха.
Вот так новости дня.

Хотя – спасибо!
Все-таки причина появилась: какой-то Фогл!
Пока причины не было, боль заедала.
Выходило, что сам по себе, как живая единица, он недостоин любви.

В итоге – снова Славка Нога́.
Таймыр, Дудинка, наладка систем вентиляции на предприятиях Морстроя.
И вылет – через 2 недели.

– Таймыр это где мамонты ходят? – схватился за голову Пешков, узнав о работе.
– Сам ты мамонт! – отвечал Славка. – Там контора уважаемая, и вся работа – дней 200, пока зимняя навигация открыта!..
Чувствовалось, ему самому беспокойно.

Что такое 200 дней – полгода всего, да?
Но затосковал отчего-то Пешков. Поддался меланхолии.
«А оттуда возвращаются, а, с этого Таймыра?.. Или... находят... мяу... вечный приют?..» – во какие мысли в голову полезли.
И рисовалось что-то вроде буквального предела мироздания, где зловеще-алое небо заправлено в черные сапоги земли.

Судьба, рок – это не вчера придумано. А еще в Древней Греции. Пешков там не ходил. Софокла не читал. Но вот, в свете предстоящего вылета на край земли (и кто знает, не на собственный ли край – при его-то астме), – все звенья прошлого понесли на себе печать рока, предопределеня.
Подумалось: в Оргеев бы... На родину, мяу.
До сих пор как-то не тянуло (пока Надька любила).
Сейчас – другое дело.
Да и... гм-м... про *биологического отца*... надо ответить. Нельзя такое – без ответа оставлять.

И вот, с целью доказательного ответа, с целью поливания лжи и дезинформации едкой карболкой факта, в первых числах *декабря 1975-го*, на подверте земного шара к фазе самых коротких и темных, самых безутешно-убитых дней в году, Пешков нашел себя в *городе Оргеев*, по месту рождения.

9.

В городе Оргеев.
– Остановка Гоголя, городской сад, кто спрашивал? – водитель поднял глаза в скошенное зеркало кабины.

Хотя спрашивать мог только Пешков, других пассажиров не было.
Автобус качнуло к тротуару.

– Местный сам? – Пешков прошел через весь автобус, встал на ступеньке, возле водителя.
12.12.1975. Оргеев.
Остановились.
Дверной никелированный шест двинулся и ударил Пешкова по портфелю.
В портфеле грохнуло.

Передняя дверь открылась.

Ступив на тротуар, Пешков развёл портфель.
На него прянуло вино-уксусным настоем.
Стекло, осколки.

Ругаясь, стал бумаги вызволять.
Зимний дождь колот сверху.
Ближайшая урна – возле входной ротонды впарке.

Портфель был с разводным узким ртом. Затряс его над урной (и урна, и ротонда были *исторические*: царский герб под капителью.И надпись 1829 годъ).

Осколки о мрамор застучали. Вино стало стекать.
– Волгин! – заорал Пешков, тряс портфель. – Альсан Федорч!..
Взбудораженные вороны снялись с тополей – кучно, как шерсть на спицах.
Пешков поднял голову, проследил за ними.

Городок был одноэтажный, в истасканных тополях.
Но улица со сквером была широка.
Коробочные домики обмещали её.

– Сюда! – отозвались откуда-то с угла.
Там грузовик бортанулся у овощного подвала. Рабочие сносили подоны по ступенькам.
Пешков направился в их сторону.

– Не проходите мимо!.. – перехватили его.
Это сам Волгин Александр Федорович стоял в воротах.
Очень представительный. С палочкой. Бывший пешковский начальник на МПК (межрайонный промкомбинат союзн. значения).
Это он кричал «Сюда!».
– Тут моя овчарка дура! – предупредил. – На цепи!.. Но все равно осторожно!..

Зашли к Александру Федоровичу.
В комнате пахло *дэ-эс-пэ*-плиткой, разогретым клеем.
Выглядело как обивка диванов на дому.

– Чем обиваете, велюром? – поинтересовался Пешков.
– Кушать будешь? – перебил Волгин.

И Пешков сообразил, что не надо было про обивку. Это сейчас Волгин такой. А когда-то высоко летал. На МПК – правая рука Ишай Тростянецкого. Пока Ишай его не съел (за то, что *честный*! Ишай при нем *комбинировать* не мог).

– Не буду кушать!.. – пожаловался Пешков. – Хорошее вино вам вёз... в автобусе побил! – и раскрыл портфель, чтоб Волгин понюхал.
– Вино? – изумился Волгин. – Мне же нельзя!..
– Фи-и-иу!.. – присвистнул Пешков.
– Тогда садись решать вопросы – если без кушать!.. – Волгин с деловитостью уселся за стол и подвинул к себе блокнот.

– Печень?.. – посочувствовал Пешков. – Или что болит?.. Почему вино нельзя?..

Это была 2-я бестактность. Ещё похуже-й – про обивку диванов.

– И по почкам тоже! – огрызнулся Волгин. – Лёва, мэй! – рассвирепел он вдруг. – Ты по делу приехал, Лёва?.. Или выведывать тут!.. и вынюхивать!..

Пешков обмер.

Помолчали.

– Вот это, – побагровевший Александр Федорович распахнул блокнот и навёл какие-то цифры, – получено от тебя, так?.. Вот это, – с нажимом потащил стрелку вниз, – уплотено в городской архив, чтоб документы подняли!..

От обиды его трясло, но почерк оставался чёткий, умный. Инженерский почерк.

– Это, – нарисовал новые цифры, – бригадиру Панченко на ремонт!.. И наконец, – обвел последнюю сумму, – равнину за *бэлэ*! молятся они так, *бэ-лэ-ле*, скоро услышишь!..

Подведя под расходами черту, он отстрелил карандаш в сторону, на скатерть.

– То есть к Александру Федоровичу, сам видишь, и копейки не прилипло!.. – заключил он успокаиваясь.

– А вот это, – Пешков достал из кармана и прибил об стол конверт, – Альсан Федорчу от всей души!..

И на конверте были фиолетовые пятна от вина.

го.

Вышли из комнаты в садик с георгинами.

Уже с порога Александр Федорович затопал ногами и пошел с кулаком на овчарку.

Пятясь как рак, с глухим рычанием, она отползла в конуру.

В садике солнце вышивало по сугробам.

Сели в волгинский «Запорожец».

Тучный Александр Федорович едва помещался в нём.

Выехали со двора.

– А про *Фогла*? – спросил Пешков в машине. – Нашлось что-то?..

– Тс-с! – шикнул Волгин. – Без формуляра дали!..

Маленький «Запорожец» трещал на нём по швам.

12 декабря 1975, Оргеев.

– Церковь-то.. когда построена? – Пешков показал в окно.

– В 15-м веке! – отвечал Волгин так быстро, что Пешков не поверил.

– А там что? – он показал на 3-этажное, из печатного камня здание за тополями парка.

На этот раз Волгин не торопился с ответом.

– Там, – отвечал он наконец, – небоскреб их местный! Мы в нем клуб «Динамо» открыли в 40-м! Но я не понял, Лева, кто из нас оргеевский местный – ты или я?..

– Ноль воспоминаний! – посмеялся Пешков. – Нет, помню, рюкзачок у меня был из холста... и мое имя по нему – цветными бусинками!..

Он ещё хотел спросить, сколько лет вороны живут.

Вон те – что с тополей взлетают.

Может, эти самые экземпляры еще при маме с папой каркали?!

Но не спросил, постеснялся.

К тому же его кинуло головой в стекло. Это Волгин дал зачем-то по тормозам!

– Вы чего, Альсан Федорч?!..

Встали у тротуара.

– Вот!.. – Волгин показал на 4-этажную *хрущевку* за деревьями. – На этом месте – согласно городскому архиву!..

Деревья были тонкие, точно ими ожеребились недавно.

– А пианино не попадалось? – посмеялся Пешков. – Говорят, наше пианино тут... всю войну на улице простояло! – и показал на тротуар.

– В войну, Лева, – Волгин с важностью выбрался из «Запорожца», – я был далеко! И надолго!..

Стуча палкой, он потопал к *хрущевке* в горку.

Во как характер человека испортился! Инвалидной палкой по земле – и то с вызовом стучал. Мол, «я вас всех переживу!» – с таким видом.

Подошли к *хрущевке*.

Взойдя на крыльцо, Волгин встал под каменным козырьком.

Уставился в железный лист на дверях подъезда – с фамилиями жильцов.

– Меня ищите, ха-ха? – Пешков встал рядом.

– Иди ты!.. – смутился Волгин. И протянул конверт. – На вот!.. Здесь ты и жил! На этом месте!..

Пешков полез в конверт.

Внутри – фотография.

– Отвернитесь на минуту!.. – попросил.

– Но только с возвратом! – предупредил Волгин, отворачиваясь. – В архиве без формуляра дали!..

Убедившись, что он не смотрит, Пешков поцеловал фотографию.

В машине он пел.

– Талант пропадает!.. – заключил Волгин. – Это баритон у тебя? Или тенор? У меня в семье дед Локтион – пел! Редким басом! Сейчас уже таких голосов нет!..

Пешков прекратил пение и посмотрел на него сбоку.

– Чего? – ответно покосился на него Волгин.

– Так просто! – отвернулся Пешков.

– На! – сказал тогда Волгин, не отрываясь вождения..

И протянул еще конверт.

Рентген какой-то?

Да. Похоже на рентгеновский снимок ступни.

– Что это? – не понял Пешков.

– Тоже без формуляра! – объяснил Волгин. – Под расписку на 24 часа!..

– Фогл? – догадался Пешков.

II.

На кладбище.

За воротами была будка, прижатая к забору.
Ломанные плиты побросаны за горой песка.
Возле плит рабочий возился с мототележкой.

– Панченко! – Волгин позвал его.

Рабочий уселся в седло мототележки.

Завёл.

Подъехал.

– Я в обход, а вы в том направлении! – показал на горку.

И затарахтел в обход по аллее.

Потопали в гору.

Скучный репей вязал ноги.

– Вон там, – поделился Волгин, – и я лягу! – и указал палкой на могилу в другом ряду. – Рядом с Изабеллой!..

На этот раз Пешков не стал лезть в душу – кто такая *Изабелла* и кем она Волгину приходится. Чтоб не сесть в лужу, как с бутылками вина.

Мототележка Панченко тарахтела впереди.

Панченко ждал внутри ограды.

Эта могила была единственная ограждённая. С новенькой столяркой – стол и скамеечка.

Краска блестела.

– Принимаешь работу? – Волгин деловито потрогал наконечники ограды.

Вошли вовнутрь.

– Каким раствором замазывал? – Пешков наклонился, провел пальцем по плите. – Стабилизирующим?..

Могильные плиты улыбались – такие новенькие.

– Не вопрос, я хоть всю облицовку поменяю! – стал защищаться Панченко. – Только качественный камень достаньте!..

– Камень хорошо зачистил? – строго спросил Волгин. – На стыке промазал как полагается?..

– Трещин не будет! – обещал Панченко.

– Это улучшенный цемент! – подтвердил Волгин. – Я своей Изабелле из такого же делал!.. А краска, а, водоупорная? – и провел пальцем по надписи.

– Нет, ну надпись хорошо! – успокоил Пешков. И склонил голову на плечо (не знал, как, с какой стороны, под каким углом причитаться к надписи на древнем языке). – Ну-у, здравствуй, папа!..

– Равнень направо! – возгласил Волгин, показав в сторону. – Идёт!..

Пешков оглянулся.

Сквозь колчдыкого цветения, из путанины зацветших лишаем древних камней выбирался человек в шляпе.

Пешков присмотрелся.

Похоже, что старик.

Да, старик. Но энергичный, сильный. И прёт наведённо, как торпеда.

– Вы раввин? – с десяти шагов спросил его Волгин. – Это *с вами* говорили?..

– О чем? – подойдя спросил человек с надменностью.

Безбородое лицо его было красно-зелёное. Ресницы – рыжие. В носу – блестело.

– Чтоб помолиться, как по вашей религии принято! – Волгин кивнул на Пешкова. – За упокой души... отца его!..

Человек не удостоил его ответом.

– Но только без экстаза тут! – потребовал Волгин. – Помолитесь и разошлись!..

– Вы кто?.. – спросил человек по-еврейски. И ткнул в Пешкова огромным пальцем.

– Я? – засмутился Пешков. – Вот!..

И паспорт дал.

Он всё понял, что раввин спросил. Из-за этого разбухшего пальца, наверное.

– Переведи, что он говорит! – заволновался Волгин.

– Нет, как ваше еврейское имя? – пробормотал человек, листая пешковский паспорт. – И мне нужно еврейское имя вашей матери!..

– Лёва, переводи!.. – настаивал Волгин.

– Спросил, как имя матери! – перевёл Пешков. – Вот! – и протянул ещё бумажку.

– Ну тогда побыстрее! – велел Волгин. – Я все-таки советский инженер!..

И отвернулся.

Но человек и не думал «побыстрее».

Зачем-то он полез к себе в пальто.

Только и оставалось, что следить за его лапой. За тем, как – медленно и с дрожаньем – пере-ползает она из кармана в карман.

Тихо было – как в бутылке.

Наконец он очешник выудил.

– Кто вам писал *эта бумага?* – по-русски спросил он, рассмотрев в очках вторую бумагу.

И медленно развернул грузное тело – к Пешкову.

– Вот! – Пешков показал на Волгина. – В городском архиве дали!..А что?..

– Всё законно дали! – предупредил Волгин. – Через формуляр!..

Панченко с деловым видом стал откатывать мототележку.

На горке он пустил ее вразгон. Мотор затарахтел.

– Ты... – спросил человек, – Шанталын сын?.. Ты Шейнделе сынок?..

И посмотрел на Пешкова так, точно...

Точно он консерву вскрывает.

Точно у него рука с консервным ножом вместо глаз.

– Панченко! – закричал Волгин. – Ты проверял?.. Это верно раввин?..

Треск мотора был ему ответом.

– Тогда это не *твоя* могила! – сказал человек. – Тут *Ёшка-пчеловод* лежит!.. И не смотри, что сверху написано!..

– Ничего себе, – засмеялся Пешков, – *пчеловод!*..

– Ну хорошо, а что тут *сверху написано?*.. – спросил он.

– Сверху написано *Иосиф Стайнбарг!* – сверкнул глазами раввин. – Но я тебе сказал, *кто* тут на самом деле!..

– А не *Фогл?* – маленьким, чужим голосом ввернул Пешков.

Точно в узкую соломинку текст проплюнул.

– Фогл? – не понял раввин. – При чем тут *Фогл?*.. Фогл в Палестине давно!.. Если не сдох!..

– Да это же не раввин! – озарило Волгина. – Это с конзавода бывший собственник! Я с ним дело имел!.. Говори, как твоя фамилия? – попёр он на «раввина». – А ну-ка фамилию напомни!..

– Александр Федорович, стоп!.. – удержал его Пешков.

И тряхнул головой, точно из-под воды вынырнул.

– Ты себя за раввина не выдавай! – бушевал Волгин из-за пешковского плеча. – Это с конзавода буржуй! Я его в 40-м году описывал!..

– Тихо, тихо! – Пешковусмирял его. – Пусть только скажет где отец!.. Ну? – ласково обратился он к раввину. – Ну а где тогда *Иосиф Стайнбарг...* лежит?..

– Шурку спросите! – отвечал тот, жая Волгина взглядом. – Дядю вашего!..

Но потом... точно радиоигла в лице его дрогнула.

Дрогнула – как если б по шкале настройки ее вели.

Иная музыка, иной эфир зашумели.

– Ну а Шейндел?.. – спросил он. – Ну а Шантал... жива?..

Дыхание его укоротило – когда он это *Шейндел* произносил.

«Жива???» Какое-там!» – хотел ответить Пешков. Но запаса слов не хватило.

Вернулись к «Запорожцу».

Открыли дверки. Уселись.

– Унгар! – хлопнул себя по лбу Волгин. – Вот его фамилия! Конзавод на 160 голов, лично я описывал в 40-м! Все низкие, с широким крупом!..

Тот, кого он назвал Унгаром, подковылял.

– В Виннице была жива! – наклонился он к пешковскому окошку. – В лагере смерти!.. Я там фашистам сказал: «Тронете ее, у кобыл течки не будет!» Я там за конюшней смотрел!..

Рыжие ресницы его часто заморгали.

– Выключите мотор, Александр Федорович! – попросил Пешков.

Волгин выключил мотор. Стало тихо.

– Из-за нее туда попал! – заданным и вместе грубым голосом продолжал Унгар. – Хотя эваколист до Гурьева был!.. Э-э! – махнул он рукой.

Грубому, с выпирающими костями звуков, голосу его неуютно было в такой вот внимательной к нему тишине. Неуютно, как голому человеку на публике. Поэтому он умолк и целую минуту стоял и хлопал ржавыми ресницами. Смотря при этом с недоверием, даже с угрозой. Взгляд – ну точно кулак, поднесенный к твоему носу.

– Шэйндел была толковая! – забубнил он вновь. – Но с характером!.. В лагере с ней сам *Идл-Замвл из Резены* говорил! А он женщин к себе не подпускал! Э, да ты хоть слышал, кто такой *Идл-Замвл из Резены?*..

Пешков не слышал.

– Лучшее время жизни – лагерь смерти в Виннице! – заключил тогда Унгар. – Потому что рядом с ней!..

И высморкался в огромный носовой платок.

– У меня ты был бы другой! – залепил он вдруг.

И стал складывать платок.

– Переведи, что он сказал! – вскинулся Волгин по привычке.

Но сам только рукой махнул.

Завел мотор.

Унгар стоял в 2-х шагах и смотрелупорно.

Внутренняя борьба отпечаталась на его лице.

Сквозь недоверие и угрозу, сквозь надменность и важность... искало пробиться что-то другое, третье.

И пока «Запорожец» перед воротами выкручивал, исход этой борьбы стал определен.

– Помогите старому человеку! – подошел и протянул ладошку.

12 декабря 1975, Оргеев.

– Ах ты!.. – Волгин задохнулся от возмущения. – Мало дали тебе?!..

Но Пешков раскрывал уж тверденький бумажник.

С деликатностью, как сахар из рук, Унгар выбрал два рубля. Как лошадь деликатно.

– А это?.. – из того же бумажника Пешков извлек и показал фотку (веселого старика с лупатыми глазами). – Случайно не знаете – кто?..

«Чего это он?..» – повернулся он к Волгину, удивленный тем, что последовало.

Вот только тянувший лапу к пешковскому кошельку, при взгляде на фотку Унгар отлетел так, точно его за узду оттащили.

В одну минуту он за могильными памятниками скрылся.

Выехали в ворота.

– Наврал дед! – заключил Пешков с облегчением. – Всё наврал, раз деньги просит!.. Мужчина должен быть при деньгах!..

– Деньги я отдам! – истово пообещал Волгин. – Но только с пенсии в конце месяца, потерпишь, Лева?..

– Не надо отдавать! – сказал Пешков. – Вы не виноваты!..

– Не виноват! – подтвердил Волгин благодарно и расстроено. – И уж в архиве-то лучше знают – где кто лежит!..

За окошком городок был нефигуристый, никакой.

Ехали молча.

Даже неудобно как-то – до того молча.

– А вот хрущёвки, – Пешков постучал ногтем по ветровому стеклу, – какие-то левые у вас!.. Не как по всей стране, а?!..

Местные хрущёвки и вправду были в 4 этажа. А не в 5, как по всей стране.

– А вот «хрущевки»... – отвечал Волгин покраснев, – попрошу не трогать!..

– Не буду! – посмеялся Пешков. – Раз вы просите!.. Мяу!..

Но как-то он и вправду... плохо посмеялся. Обидно для Волгина. Да еще и это «мяу» дурацкое!

– Никиту Хрущева не трожь, дурак! – выплеснуло из старика.

– А-а? – переспросил Пешков.

– Бэ-э! – разошелся Волгин. – Потому что сидел я за вас!..

– За себя я сам сидел! – отвел Пешков.

– За воровство – *ты сам* сидел!.. А по еврейскому делу – я, русский Ванька, за тебя!..

И, понимая, что заступил черту и что за десять бед один ответ, полез направо:

– И за Никиту-освободителя свечку ставил и буду ставить, пока жив! Ну и иди-стучи!..

Подъехали к автобусной остановке.

Кое-как Пешков выбрался с низкого, над самой землей, сиденья «Запорожца».

– Спасибо скажи, Альсан Федорч, – объявил он на прощанье, – что ты мне по возрасту – в отцы годишься!..

– А ты ударь старика! – ахнул Волгин. – И не тыкай мне, скотина!..

Пешков задумался.

– К дяде Шуре, что ли? – спросил себя вслух.

– Чего-о? – не понял Волгин.

Но Пешков уж был в своих мыслях...

А потом и вовсе крутанулся на каблуках – в другую сторону.

Потопал не попрощавшись.

– Разлеглись тут! – в спину ему запустил Волгин. – *Твоя могила, не твоя могила!*.. В Палестине у себя лежите!.. В своих могилах!..

От обиды он плакал.

12.

К дяде Шуре. На следующий день.

С д. Шурой как-то отдалились в последние годы.

Не виделись лет семь.

Наверно, это из-за бабы его, обрусевшей румынки (называвшей дядю Шуру «*jidantul meu*»¹).

«Вот тут вот на гвоздь наступил! – рассказала румынка и, отведя дверную марлю, показала на садик с мальвами и дорожку к сараям, мощенную битым кирпичом. – В поликлинику не шел, сам компрессы ставил, пока до колена распухло! В госпитале теперь!..»

Говоря все это, она держала руки на животе, точно топя в нем истошные бабьи крики, уже готовые вырваться.

Дядя с 47-го года жил в 1-этажной халабуде без удобств, только привозной газ в баллонах да водоколонка во дворе. Но в 47-м там полгорода были такие. А сейчас 5-этажки, 9-этажки всюду!

¹ «мой жид» – рум.

И чтоб дядя, с его связями в Прикарпатском ВО, не добыл квартиру в новом доме! Очень странно. Видимо, это из-за румынки опять. Ей огород нужен.

Вот и подцепил ржавый гвоздь.

В военгоспитале. Через час.

– Закупорка сосудистых каналов! – рассказал замзавотделения (в погонах подполковника). – Сахар не дает крови достигать конечностей!..

– Возраст! – повздыхал Пешков. – Ну главное, что не гангрена, ага?.. Ведь не гангрена, доктор?.. Специально забрал так далеко, чтоб исключить худшее.

– Гангрена! – огорошил тот. – Газовая!.. И процесс упущен!..

14 декабря 1975, Черновицкий военный госпиталь.

– То есть как это – «упущен»?! – похолодел Пешков.

И дернулся вперед, мимо подполковника.

– Визиты запрещены!.. – спокойно сказал тот в спину.

– Запрещены? – встал Пешков.

Нетерпение его было теперь так велико, что и в лице доктора (ему показалось!) проступили дяди Шурины черты.

– Ну, ёлки!.. – затрепетал он, сверля глазами доктора. – А через окошко с улицы можно?.. В окошко хотя бы дайте посмотреть!..

Не дали.

Тем более что палата – на 2-м этаже.

Ну, это он от отчаянья – про *окошко*.

Как будто если б палата была на 1-м этаже и ему разрешили *с улицы через окошко*, то все секреты бы открылись. Все упущения были бы поправлены.

Верхом откровенности в дядиных рассказах о прошлом – был семейный *Bluthner*, простоявший на оргеевской улице всю войну (подвыпившие румыны из комендатуры могли подойти, помолотить по клавишам...).

И еще он развыступался однажды – в ленинградском трамвае в 1951-м году: «Куда голову суешь? К мамочке себе дорогу закрываешь!»

Но впоследствии отрицал. Ничего, мол, не говорил такого. Ни про какую мамочку.

Эх, всё потеряно.

Всё.

Как дядин голос звучит – и то не вспомнить!

К счастью, вспомнил стишок, что дядя напевал (когда в легком настроении): «*Трэяскэ Романия марэ ши пулэ тарэ!*»¹

Благодаря этому стишку и голос дядин вернулся!

«Засаекаю на будущее! – подумалось. – Приспичит дядин голос услышать – затяну про Великую Румынию и твердый х...!»

¹ «Да здравствует Великая Румыния и твердый х...!» – рум.

Вернулся к румынке.

По ее лицу было видно, что она боится Пешкова. Предвидит материальные претензии.

Поэтому, когда он попросил что-нибудь из дядиных бумаг на память («А из вещей мне ничего не надо!»), вздохнула с облегчением.

«Это Адасса! Первая жена! – фыркнула румынка, ткнув в одну из фотографий. – Та, что мужика себе в Сибири нашла!..»

– Которая слева? – подражая ей, Пешков тоже ткнул пальцем в фотографию. – Или справа?..

Но румынка и смотреть не стала, кто там справа, кто слева. Обе малютки на фотографии были слиты для нее в одну неверную Адассу.

– А это? – спросил Пешков.

«Это jidani какие-то, – отвечала румынка, – которых Сталин из СССР выпускал!.. Дядя твой зарабатывал на этом!..»

Не терпелось ей показать, что и дядя Шура не святой.

– А это? – продолжал он расспрашивать спокойно (на фотографии – молодая женщина с ребенком).

– Это я не знаю! – пожала плечами румынка. – Тоже, наверное, из тех... которых он в Палестину переправил – после войны!»

– А это? – чуть не спросил на автомате.

Визитная карточка. Иностранная. **Michael FOGEL**.

ОНА САМАЯ

«Эту я забираю!» – объявил.

13.

2 дня спустя. В Кишиневе. У Виктора в больнице.

– ...Вот, чуть не забыл! – Пешков потащил какой-то пакет из баула. – Банка мёда от желтухи!.. И вытер пот со лба.

– Мне мёд нельзя! – пожаловался Витя. – Тошнит!..

– От мёда тошнит?.. – обрадовался Пешков. – Ха, и меня!.. Да это же у нас фамильное, ха-ха, аллергия на мёд!.. – расчувствовался он. – Но я еще 10 дней в городе! Что тебе нести?..

– Варенье из ягод! – отвечал Виктор с озлобленностью. – Два ведра!..

– Подкальываешь? – догадался Пешков.

– Переносной телевизор «Юность» как у бабушки, – сказал тогда Виктор. Уже без подкальыванья.

– Будет! – выпалил Пешков.

Узкий лоб его сморщился.

Он ушел в себя, думая, где добыть переносную «Юность».

Утро в окно боднуло.

– Будет телевизор! – повторил Пешков.

И удивился собственной уверенности.

– Ну, а в школе как? – перевел разговор. – Мать говорит, по физике тройка. Вы что проходите?..

– Индукцию! – рассказал Виктор.

– Электромагнитную индукцию?.. Ну и чего непонятного?!..

Первые голоса послышались в отделении.

Рабочий день начинался.

– Индукция это когда появляется ток! Электрический ток! – заспешил Пешков. – Даю наглядный пример!..

Сопя от волнения, он развел портфель, достал картонку с электробритвой.

– Вот смотри, как берется ток в магнитном поле, эйн-цвейн!.. – и с ловкостью, как разламывают варёную курицу, разнял бритву. – Дрейн!..

Чья-то голова выглянула из ординаторской.

– Электромагнетизм открыл Фарадей... – палец Пешкова полез во внутренность электробритвы (на каждом пальце – по татуировке в виде морского якоря). – Фарадей, значит, засовывал магнит в катушку из проволоки... тебе видно?.. и наблюдал ток!.. – пальцы его дрожали.

По коридору завтрак повезли.

«Еврейским» чаем запахло – вонючим, сладким.

– Ну и самое главное... – зашептал Пешков. И даже наклонился к виковрову уху, – только правду скажи, ты на фамилию его... не будешь переходить?.. Но только правду говори!..

– На чью фамилию? – не понял Виктор.

И – отстранился.

Потому что с Пешкова пот лился рекой.

– На кадра фамилию, чью!.. – сказал он, обратно надвигаясь. – Вот только не переходи, прошу!..

И приставил татуированный палец к груди Виктора.

И больно нажал.

– Пусти!.. – затрепыхался Виктор.

Но не тут-то было.

– Ты единственное, что после меня останется, понял?! – забыв обо всем на свете, Пешков облапил и не отпускал. – Ты единственное, что после меня останется!.. Ты единственное...

Как будто пластинку заело.

По коридору уже всюю люди сновали, а ему все равно.

– Это не мои проблемы! – выкрикнул Виктор назло ему. – Пусти!.. Ну?!..

– Что-о-о? – вскричал Пешков. – Что именно – не твои проблемы?!..

И даже пальцем в грудь – перестал давить.

– *Не мои проблемы*, – объяснил ему Виктор, – что там от тебя останется!.. Захочу – и на кадра перейду!..

Часть II

I.

«Кадр».

В те же дни.

В общежитие была пьяная драка. Украинец Николай Каменко из лазаревской группы сорвал со стены огнетушитель и стал поливать всех подряд. Его милиция увезла.

На следующий день был приказ об отчислении. Каменковские чемоданы снесли в подвал, койку разорили до пружин.

Лазарев не интересовался событиями на курсе, но, повстречав избитого, почерневшего от побоев и унижения Каменко у кожаных дверей ректората, позвал ночевать к себе.

Поехали с двумя чемоданами на метро.

Каменко держался высокомерно. На вопрос о причинах драки не посчитал нужным отвечать.

Но он рассказал, что родом из-под Львова (Гусятин какой-то). Его студенческая прописка в Москве истекает летом. Но пока она не истекла, он пойдет рабочим на стройку – за характеристикой. Или на завод к станку. И тогда – с трудовой характеристикой – его на курсе восстановят.

Но он был щуплого сложения, язвенник. Повсюду таскал термос с лечебным отваром. Рабочий из него...

Декабрь 1975, Москва.

Приехали к Лазареву.

Еще в дороге, в метро, Лазарев сообразил, что на тумбочке возле кровати – «ГУЛАГ» (Усов подарил). Надо будет придержать гостя у двери.

Но Каменко с порога попросился в уборную, и в отсутствие его Лазарев без спешки забросил «ГУЛАГ» на антресоли.

А потом передумал.

Оставил как есть.

Даже передвинул поближе: с тумбочки на обеденный стол в центре комнаты.

Но и этого мало.

Полез под кровать и достал папку: «Этногенез» (ротапринт).

Устроил на столе рядом с «Архипелагом».

Пускай Каменко видит.

Пусть передаст – всем этим *центровым*.

Каменко вернулся из уборной.

Увидел.

Ничего не сказал.

Потом ушел в город и вернулся к ночи.

Работа ему пока не выгорала – ни на стройке, ни на заводе.

Ночью на раскладушке он листал «Этногенез».

А потом стал цитировать по памяти:

– *«Глядя на глобус, я вижу как Космос сечет плетью нашу планету. Первый пассионарный толчок – Египет со столицей в Фивах, 18-й век до нашей эры... Второй пассионарный толчок – завоевания Северного Китая – 11-й век до нашей эры... Третий пассионарный толчок – римляне центральной Италии – 7-й век до нашей эры!..»* Обиделся, что не позвали? – переключился он вдруг. – Ты мало потерял! Про Китай и Египет говорили в первые полчаса. Потом – пьянка. Б-в к Ленке приставал!..

– Дала? – поинтересовался Лазарев.

– Не-а! – отвечал Каменко. – Б-в цыпленок узкогрудый!..

– Цыпленок узкогрудый! – засмеялся Лазарев. – Ну и рядовой такой классик по совместительству!.. Ладно, а какие он комментарии дал – по поводу пассионарных толчков?..

– Я забыл! – пожал плечами Каменко. – Помню только, что монголы это хорошо, а купцы из Генуи – плохо!.. В таком духе!..

– Вот как? – удивился Лазарев. – И чем же это купцы хуже дикарей?..

– Алексей! – сказал Каменко, подумав. – Если завтра будет погром... то я первый брошусь евреев защищать!.. Но не жди, чтоб я купцов из Генуи любил!..

– Не понял! – растерялся Лазарев. – Они, что, евреи были – купцы из Генуи?..

– Да! – подтвердил Каменко. – Но ты ведь не еврей?.. Извини, если что...

– Яврей, не яврей! – передразнил Лазарев. – Прадед из оренбургских крепостных!.. Бурил тоннели на железной дороге!..

Помолчали.

...

...Ночью он просыпался от холода.

Окно позеленело от мороза.

Каменко спал и кашлял во сне.

Лазарев принес ему чаю из кухни.

Каменко стал пить у него из рук.

– Лично тебе – чем евреи напакостили? – Лазарев поддержал подстаканник за доньшко. – Но только тебе *лично*, я спрашиваю!..

– Отняли мельницу за долги! – Каменко наклонил лицо и стал жадно дышать над стаканом. – Мы устроили мельницу у плотины, а евреи посполитые задушили нас!..

– Какие-какие евреи? – не понял Лазарев.

– Посполитые! – повторил Каменко, не умея надыхаться чайным дымком. – Занизили цены на хлеб – раз! Навесили налог на помол – два!..

– Кому навесили? – Лазарев искал шаломуть розыгрыша в его лице.

– Казацкой автономии! – Каменко дышал, как согретый теляенок. – В итоге мельница к еврею перешла – за долги!..

– При Речи Посполитой? – переспросил Лазарев. – В тыща шессот каком-то?..

– В тыща шессот сорок втором! – подтвердил Каменко.

– И ты там был?..

– И есть, и буду! – поправил Каменко.

– Понятно! – заключил Лазарев.

– Не уверен, что тебе понятно! – сказал Каменко. – С головой у меня всё в порядке!.. Но духовно я в каждой клеточке моей национальной истории!..

Как раз порыв снежного ветра с улицы налетел. Оплюснулся об окно, перебрал двойные стекла в раме.

Отдохнув, Каменко вновь стал цедить чай.

– В клеточке, – проговорил за ним Лазарев, – национальной истории!.. Хм-м!.. Завидую тебе!.. Каменко расцвел от этих слов.

– Знаешь, из-за чего драка была? – спросил он. – Володька Мухин составил дом из спичек. «Могіляньска Академия!» – говорит... и зажег!

– А ты за огнетушитель! – оживился Лазарев.

– Тебе не понять, что для украинца Могіляньска Академия! – заплакал Каменко.

И даже кулачками глаза затер – как ребенок.

– Комплекс малой нации!.. – постановил Лазарев.

– У кого? – вскричал Каменко.

– У меня товарищ в Кишиневе, – рассказал тогда Лазарев. – Апостол Мирча... режиссер на телевидении, нормальный молдаван!.. Но что! Сядем выпивать – так он после 2-го стакана: «Вы нас ру-си-фи-ци-ро-вали!»...

– И оккупировали!.. – добавил Каменко.

Лазареву стало скучно.

Захотелось в туалет.

Вышел.

...

– Филармонией мы их оккупировали!.. – сказал вернувшись. – Академией Наук!.. Асфальтовыми дорогами!..

– Лютым голодом! – вставил Каменко.

– Мединститутом оккупировали!.. Вакциной от туберкулеза! – Лазарев улегся в постель. – Вот такие мы кровавые оккупанты!.. Они там на волах по Кишиневу рассекали, когда мы в 40-м вошли!.. На каруцах¹ пилили – по главной улице!..

– А голод? – не унимался Каменко.

– Что – *голод*? – поморщился Лазарев.

– Был голод или нет?..

– Отец был директор художественного училища!.. – рассказал Лазарев. – Нас это не коснулось!..

– Отец ВХУТЕМАС с отличием окончил! – еще стал объяснять Лазарев. – Герой Гражданской, любимец Ворошилова!.. Мог запросто всесоюзную карьеру делать!.. Ан нет! Едет в Бессарабию, вонючую и пыльную, царан живописи учить!..

– А голодомор – ты слышал, что такое? – вскричал Каменко. – Голодомор на Украине?..

– Ладно, спим!.. – Лазареву надоело спорить.

– Вы нам голодомор принесли!.. Голодомор в 33-м!..

– А Первую Пуническую, – отверг Лазарев, – не мы вам принесли?..

– Вы нас то миллионов заморили! – Каменко потащил к себе чемодан. – Оккупанты!..

Отбросив крышку, стал копырять в нем, как грызун в капусте.

– Своими глазами видел? – сухо, требовательно спросил Лазарев.

– Чего – «своими глазами»? – поднял голову Каменко.

– Не чего, а кого!.. то миллионов заморенных!..

– Да у меня бабка со всей семьей...

– Оставим бабку! – перебил Лазарев. – Вопрос поставлен так: видел или не видел – *своими глазами*?.. Да или нет?..

– Ой боже, – Каменко в беспомощной позе замер над чемоданом, – да в Америке уже целая комиссия заседает по голодомору! Двести человек сенаторов и конгрессменов!..

– Значит, *не видел*! – заключил Лазарев. – А раз – *своими глазами* – не видел, то, значит, миф!.. часть сознания!..

– Миф? – возопил Каменко, откинувшись от чемодана.

– Миф!.. – подтвердил Лазарев. – Как Тутанхамон!.. Как динозавры!..

На фоне дерганного, взъяренно-беззащитного Каменко он был ровно-спокоен и, конечно, любовался собственным хладнокровием.

– Какие динозавры?! – детские глаза Каменко стали совершенно круглыми.

Кажется, он совсем не въехал насчет *части сознания*.

¹ каруцы – крестьянские телеги (молд.)

– Ну вот что, – обмяк вдруг Лазарев, – я не знаю, миф или не миф!.. Я только знаю, что не войди мы в Молдавию в 1940-м году, я не встретил бы свою будущую жену в 1970-м, и, значит, в 1974-м у меня не родилась бы Весна!.. Вот и вся *оккупация!*.. Сумеешь – переубеди!..

В ответ Каменко поднялся с раскладушки.

Стал собираться.

Лазарев не останавливал его.

– Говорили мне, – вздохнул Каменко, одеваясь, – кто твой отец!..

И, натягивая носки, застучал пятками о паркет.

– Говорили, чтоб языком не шлёпал при тебе!..

Все померкло для Лазарева – от этих его слов.

– Ну, и кто мой отец?.. – выдавил с ухмылкой.

– Это не *мой* отец! – воскликнул, не дождавшись ответа. – Если ты про *третьего Ша* – это Надьки моей отец!..

Но Каменко натягивал ботинки и стучал, стучал пяткой об пол.

Торжество его над Лазаревым было полным.

– Чемодан оставить можно? – коротко спросил. – До завтра?..

– Можно!.. – отвечал Лазарев, совершенно убитый.

С одним термосом Каменко пошел к дверям.

За окном рассвет стал накраиваться.

2.

Каменко объявился на 3-й день. Позвонил из автомата: «Снеси чемодан к подъезду!»

С трудом Лазарев его голос узнал.

Выглядел он гриппуче: лицо пышет, глаза блестят.

С ним был другой украинец, еще мельче ростом.

Лазарев отдал им чемодан.

Распрощался.

Посмотрел вслед.

От чемоданной тяжести Каменко качало.

И у приятеля его походка была раздромсанная, калечная.

Два бродяги по виду.

Лазарев нагнал их, дал 5 рублей («Пойдите хоть в пельменной согрейтесь!»).

Украинцы переглянулись.

Раздромсанный дал руку Лазареву: «Стёс».

Когда он называл себя, Каменко смотрел со значением.

Но Лазареву ничего не говорило это имя.

– Я с чемоданом тебя не тороплю! – заметил он Каменко.

– Да? – обрадовался тот.

– Да! – подтвердил Лазарев. – Он кушать не просит!..

Украинцы переглянулись.

– Ну тогда пусть ещё полежит?! – попросил Каменко неуверенно. – А вот тетрадочку заберу, ладно?..

Голос его забасёл от гриппа: «нууутоогдоаапооустещоопооолежуиит!» – чисто мефистофель-гуно в слабом теле.

Вернулись в подъезд.

Встали у отопительной батареи. Каменко аж глаза прикрыл от тепла. Аж побелел от удовольствия.

Из чемодана плесенью несло.

– Смотри! – Каменко присел на плиточный холодный пол перед чемоданом.

Откинул крышку.

Отыскал тетрадку.

– Я даю доказательства, – повертел тетрадкой в воздухе, – что в 32-м году это был геноцид украинского народа!..

– А не неурожай! – поддержал Стёс. – Оцепили заградотрядами, чтоб муха не пролетела!..

– Я доказываю, – продолжал Каменко, – что в 32-м году массовая смерть от голода охватила почему-то регионы, населенные моим народом преимущественно!..

В ответ Лазарев скорбно морщил лоб.

Хотя каменковский простуженно-демонический бас веселил его.

Из последних сил он не ржал.

Дальше хуже. Объяснив, что завтра у него встреча с *куратором по голодомору*, Каменко попробовал с холодного пола встать. Но его назад качнуло. Вовремя подхватили с двух сторон, а то бы голову о батарею разбил. Это было гомерически смешно. Спасибо, в лифтовой шахте ухнуло, и вслед за украинцами Лазарев за выступ спрятался. Иначе он в голос бы заржал.

Перестояли, пока лифт по шахте прибудет и из него люди выйдут.

...

Снова тишина.

...

– И как ты к *куратору* пойдешь такой? – весело расстроился Стёс. – В больницу бы тебя – под горчичники с банками!..

– А какой выход?! – умученным, но все тем же сказочно-оперным басом Каменко отвечал.

– Хочешь, я пойду?.. – придумал Стёс.

– *Я пойду!* – высмеял его Каменко. – Тебя Андропов¹ в лицо знает!.. Не говоря о заместителях Андропова!.. Алексей!.. Ты чего?..

И удивленные украинцы обернулись к Лазареву.

Закрыв ладонями лицо и виновато мотая из стороны в сторону головой, он... задушенным хохотом исходил.

– Где... явка? – только и выговорилсквозь ладони. – Меня Андропов в лицо не знает!..

3.

Явка.

Долго спускался по ковру, потом завернул в 11-й ряд.

Так Каменко просил – чтоб в 11-й.

3-е кресло слева от прохода.

Уселся. Повертел головой по сторонам.

¹ Андропов – председатель КГБ СССР.

В зале было людно, но не востресск.

Декабрь 1975, Москва, Центральный Дом железнодорожника.

В глубине сцены юноши с киями встали у магнитных щитов.

Щиты были в жёлто-коричневую клетку.

И тогда аплодисменты в зале пошли.

Это участники турнира потянулись из-за кулис: иностранцы и наши.

Иностранцы были жирные, штучные. Ярко-вылущованные, как переводные картинки.

Наверное, кто-то из них и был *куратор по голодомору*.

– Это? – спросил кто-то рядом.

Лазарев вздрогнул. Он не слышал, как подсел к нему.

Человек с тряпично-седой чёлкой.

Лазарев отдал ему Каменковскую тетрадку.

– Но я ничего не обещаю! – предупредил «чёлка».

– Насчет чего? – не понял Лазарев.

– Всего! – «чёлка» приготовился уйти.

– У вас доктора нет? – спросил вдруг Лазарев. – Для Николая!..

– Доктора? – удивился тот.

А потом спохватился.

– А Вы кто? Не Николай?..О-опля!.. – и отодвинулся невольно.

– Я *от* Николая! – с предельной дружелюбностью в голосе, хотя и несколько просительно заулыбался Лазарев. – Он болен!..

– О-опля! – повторил человек.

А потом поднялся и, подробно ударяясь об колени сидящих в ряду, пошел на выход...

С середины ряда он вернулся и с свирепым, ну просто-таки зверским лицом отдал тетрадку.

– Ждите! – приказал.

В это время судья в зеркальный гонг ударил.

Локти шахматистов над столиками вспорхнули.

Было 5 вечера. Но обвальная темнота уже запечатала окна.

И если б не приказ «Ждите!», Лазарев поднялся бы и ушел.

Что расстроило его?

Поведение «чёлки»?

Да.

И все, что за этим.

«Голодомор»... «Геноцид»... «Регионы, населенные моим народом преимущественно!»

Почему за ним такого нет?!

Усвоил какие-то аморальные, про динозавров, эгоцентрические бредни!..

От того и один. Вне народа. Вне волны. Вне поколенья.

Вдруг ему нестерпимо-сильно захотелось стать украинцем.

«Чёлка» вернулся.

– Где Николай?.. – спросил как на допросе.

– Говорю, заболел! – от обиды у Лазарева голос задрожал.

– Значит, мое дело предупредить!.. – прорычал «чёлка».

На них зашикали с соседних кресел.

– Мы умеем разговаривать с провокаторами! – понизил он голос.

– Я не провокатор! – Лазарев полез во внутренний карман. – Я на ВЛК в семинаре прозы! И в «Известиях»... Вот смотрите!..

– Класс! – прокомментировал «чёлка», рассмотрев известинскую корочку. – Ну, я быстро!.. И снова полетел из зала, с лазаревской корочкой в руке.

Вернулся. Вызвал знаками в фойе.

В фойе.

Встали у широкого подоконника.

– А чего такой вид несчастный? – отдал удостоверение.

Тон его потеплел.

– Потому что забодали! – голос Лазарева все еще дрожал. – Нет, чтоб спросить, был я с ним знаком, с этим *третьим Ша*, или не был – так ведь не спросят! А только рожи корчат за спиной!..

– Каким-каким «ша»? – засмеялся «чёлка».

– Таким! – огрызнулся Лазарев. – Который утонул еще до того, как я дочку его тр...л!..

– Утонул? – округлил глаза «чёлка». – Сам?.. Или помогил?..

– Не знаю! Не волнует! – голосил Лазарев. – А волнует, что рожи корчат за спиной!..

– Видон такой!..

– Какой???

– Ну благополучный!.. Благополучно-провинциальный!..

– Ну и что мне делать?.. Если видон такой!..

– Да ты чего! – успокоил «чёлка». – Нам как раз нужны такие!.. Чтоб не только маргиналы одни!..

– Вот и берите!.. Раз нужны!..

– Да? – «чёлка» наклонил голову и из такого положенья смотрел на Лазарева с прищуром.

– Да! – подтвердил Лазарев. – А вы... (*замялся*) тоже украинец?..

– Я? Украинец?! – не понял «чёлка» – А-а!.. (*сообразил*). Ну нет, мы Софью Власьевну¹ по всякому бьем! А не только по украинскому вопросу!..

– Вот и берите! – повторил Лазарев.

– Да? – снова задумался «чёлка».

И посмотрел по сторонам. Точно подсказку искал: брать или не брать Лазарева.

Взгляд его упал – на мраморную лестницу, ведущую на 2-й этаж. Самодельная стрелка – «Пресс-Центр. Press-Center» – устроена была у основания ее.

– А что! – решил он. – С такой-то корочкой!..

И кивнул на стрелку «Press-Center».

– Пойди, найди там (*испытующе оглядел Лазарева*)... Кэрол Энн!.. Скажи: на Щербаковке в семь!.. Психиатрия против инакомыслия!..

Рапорт – РНО – 99904 – л (5)

Лазарев (*Кэрол Энн*): «На Щербаковке в семь!»

Кэрол Энн (*Лазареву*): «В семь ну никак!.. У семь у меня интервью... А что он хотел?»

Лазарев: «Психиатрия против инакомыслия!..»

¹ Софья Власьевна – советская власть (эзопов яз.).

Кэрол Энн: «Я извиняюсь, а Вы – кто?»

Лазарев: «Ваш коллега!»

Кэрол Энн: «В семь у меня интервью... с гроссмейстером Корчняком!.. Берёте на себя?.. Тогда я на Щербаковку в семь!»

Лазарев: «Беру на себя!..»

Кэрол Энн: «Запишите вопросы к Корчняку!»

Лазарев: «Записываю!»

Кэрол Энн: «Вопрос первый. Вы и Карпов победили в Ленинградском Межзональном. Верно ли подозрение, что советские участники проигрывали Карпову по приказу сверху (*разворачивает таблицу*), тогда как с Вами боролись всерьёз? Если это верно, то укажите по таблице, кто именно – дарил Карпову очки!..»

Кэрол Энн (Лазареву): «Вопрос второй. Вы проиграли долгий и упорный матч Карпову в финале Претендентов. Правда ли, что у Вас не было ни одного помощника, поскольку советским шахматистам запретили вам помогать? В то время как вашему сопернику помогали все ведущие гроссмейстеры СССР!..»

4.

Через полчаса.

Подготовка к интервью с Корчняком.

«...Спаский – гривастый плейбой в замшевых штанах.

Петросян – булочка с запеченной бритвой.

Смыслов – профессор "из бывших".

Геллер – волевой рот в жестокой складке.

Таль – электросварка, снопы искр.

Карпов – умный пэтэушник...».

Выразительно!

Сочиняем дальше.

«...Огневой тупф прославленности. Головной отряд сов. шахматн. школы, передовой в мире. Сборная СССР, бессмертный чемпион всего на свете...

Но – внимание!

Еще фигура.

Некто странный – на периферии сцены.

Помятый, пожилой, бизонистый, с налитыми кровью злыми глазками и дитячим хохолком над залысевшим лбом...

Вид – понур и нелюбезен.

Игрок второго эшелона?

Пария общества?»

Первые же слова с такой ловкостью влегли в смысловую оправу, что Лазарев поспешил раскрыть блокнот. Чтобы наверняка. Хотя не любил запись. Любил укачивать фразу – не записывая. При записи музыка исчезает.

«Но на табличке стола значится "Виктор Корчняк".

Ого!

Это же из первой мировой пятерки. Нет, сегодня уже из тройки.

Тогда откуда впечатление: Второй эшелон... Пария...?!»

(Оглянулся. Никто ли не подсматривает?)

«Они – каста. Участники негласного статус кво.

Он – неуправляемый эгоцентрик.

Они – друзья-соперники по поколению, сплоченный экипаж.

Он – не разбирает своих и чужих.

Они – тонкие политики и чуткие конформисты.

Он – оказал жестокое сопротивление Карпову, юному принцу Партии и Комсомола...».

(Ого!.. Видали!)

Счастлирое чувство торжества охватило его: над центровыми с их закрытыми пьянками... над Каменко и Стёсом с их героической маргинальностью... над ехидным Солженициным с его «Третьим Ша»...

«...Икогда после целого часа неотрывного сидения за доской он “сходил” и, трудно приподнявшись из-за столика, предпринял несколько расшибленных шагов по сцене, вся добродушная, хорошо сбалансированная “каста” зримо напряглась от его вторжения...»

Записал и прислушался.

Музыка не исчезала.

«...И хотя барский променад их возобновился тотчас, в нем прежнего довольства не стало... Зато Корчняк шагал теперь широко, бездорожно. Не замечая нервоз и опаску, которые сеял вокруг. Сугубо-широкий в бедрах и вислопечий вверху, с бизоньим большим лицом и бузотерским хохолком над лобовой зальсиной, он был какой-то непоклеимённый: из евреев ли, из простых ли. Добавим рубашу, выбивающуюся из штанин, и растоптанные башмаки, забывшие про обувную щетку. Добавим прекрасную тень мысли на утомленном лице. Казалось, это вечернее стадо спускается с горы, целый горный склон с ярящим стадом. Казалось, это прицеп с лесом буксируют по болоту. Или вразмашку водой окатили из ведра!»

«А вот вам!» – ахнул, перечитав написанное.

И засмеялся в голос – от счастья мастерства своего.

Декабрь 1975, Москва.

Марал бумагу столько лет, а законченного кот наплакал. Нет, ну талант-то, конечно, есть. И всегда был. Но до сегодняшнего дня – путался, терял путеводную нить. Причем, с детства. С тех пор, как после войны в Доме пионеров открыли кружки (драмы и юнтехника, астрономии (с выездом в поля!), авиамоделирования, оркестр щипковых инструментов...), и хотелось всё испробовать. Вот и расплылся. И даже на скрипочке играл... лёжа!

Но – теперь все будет по другому!

Дело моего поколения – борьба с Софьей Власьевной!..

И если Софья Власьевна – за Карпова, то я – за Корчняка!..

Вот так!

Нынче фаза собирания волны. Которая опрокинет советское судно. Ей не обойтись без меня.

...

Тем временем Корчняк потопырял к столику: соперник сделал ход.

Пожали руки.

Демонстратор вывесил табличку «Ничья», и кто-то, сидевший за Лазаревым, сказал соседу: «Что-то Витя совсем кулачить перестал? Дает уползти, а?..» И Лазареву стоило труда не обернуться к ним, не показать про бизонье лицо и горный склон со стадом... Ну да времени не было. Как раз Корчняк забрал очешник с края стола. Поднялся со стула.

«Боженька, помогай!» – одновременно Лазарев встал из своего зрительского кресла.
На перехват.

«Иди?.. Или не впутываться?..»
Замедлил шаг.

«В волне я?.. или не интересен никому?.. Эх, пропадай, моя телега!»

И пошagal вниз по ковру.
Окончательно отделяясь от зала.
От его безопасного фона.

Встал у высокого бортика сцены.
– Алексей Лазарев, газета «Известия»! – произнес он звонко. – Можно ли попросить вас об интервью?..

Пропала его телега.

5.

А в это время...

Витя Пешков.

Всё изменилось в природе: мне стало классно, ну просто за-сь как классно в больнице.

Видите моток проволоки на подоконнике?

Это телевизионная антенна!!!

Проследим за ней.

Проволока тянется к моей тумбочке. К переносной «Юности» с едва тепляющим звуком!!!

Вы не ошиблись! Это телевизор «Юность»!!!

Это Пешков свое слово сдержал.

И до чего вовремя!

В тот год киевское «Динамо» шло наверх!

Да что там шло – лезло как чудо-дерево из огорода.

Столько золотых трофеев на ветках!

Золотой дубль СССР¹, Кубок Кубков Европы, и вот теперь – матч на Суперкубок (vs «Bavaria Munich»).

Но дело не в трофеях. А в порывистом ветре игры, которую они разводили на поле. В отточенном, промытом до рисинки и при этом набегающе-густом брашне многоходовых их комбинаций.

Да, в 1975-м году игра их была так вдохновенно-стихийна, так широка, так налётно-бурлива, будто сельская свадьба, а не футбол.

Вокруг меня всё преобразилось от их побед: зимняя слякоть на дворе, двойки-тройки в школе, мамина замкнутость в себе, бабы Сонины жалобы на артрит и кишечник... – всё плохое ушло в тень.

И вот – венец сезона. Схватка за SUPERCUP.

Не передать, как я волновался.

Ведь было от чего.

«Бавария» – монстр. Штандарт немецкого футбола. И если мое «Динамо» лишь одноразово вспыхло в своемвдохновенном 1975-м, то ФРГ из года в года вытаптывало футбольный глобус, подминая под себя любого противника, подавляя его огневые точки. Притихший мировой фут-

¹ Золотой дубль СССР – 1-е место в чемпионате и победа в розыгрыше Кубка.

бол будто кирпичной кладкой заделан был немцами в те поры: сборная – чемпион Мира и Европы (1972, 1974), «Бавария» – Кубок Чемпионов (1972, 1973, 1974), «Боруссия» – Кубок УЕФА (1974). «Кайзерслаутерн», «Гамбург», «Кёльн», «Эйнтрахт», «Штутгарт»... – карательные отряды в лесах футбольной природы.

Короче, я и не надеялся.

И вот...

Матч, которого ждали!

Время – полночь. Вся палата не спит.

1-й тайм.

...«Бавария» вытворяла с Киевом что хотела.

Каждая атака – удар, большинство – в створ ворот.

«Динамо» подсело как стог, отбиваясь на издохе.

Даже Блохин отошел к штрафной – помочь защите.

2-й тайм.

Картина не изменилась.

Сил уж нет – выдерживать этот пресс.

И тогда Блохин подобрал мяч.

Потащил к центральному кругу.

Похоже, он и сам не придавал значенья своему манёвру.

Так, полубежал-полупёхал с мячом.

Покрутиться туда-сюда, ослабить немецкую удавку на шее «Динамо» – предел мечтаний.

Но вот – допёхал до центрального круга.

Пересек линию центра.

С линии центра – абы куда, вперед ли, вбок...в глухое депо левого края.

К угловому флажку.

Приостановился, поднял голову.

Хм-м. Динамо далеко в тылу. Пас некому отдать.

От растерянности он руками развел.

И вот уже 4 акулы баварской защиты, обитающие в этой лагуне, учуяли человечинку.

Вот они сужают круги...

Подплывают...

Подплыли...

Сейчас съедят.

И тогда Блоха одиозно как отщепенец затрусил навстречу. Сам не ведая, что творит.

И – Achtung!.. Achtung!.. – как разгоняют нейтроны в гигантских ускорителях микрочастиц, так Олег Блохин вдруг ускорился и пошёл на вы. Без предупреждения.

Пробросил мяч мимо Цобеля, раскачал Рота.

«Кайзер» Франц Беккенбауэр и непроходимый Шварценбек сомкнули челюсти, но промахнулись, отброшенные непостижимым его ускореньем.

На дурку как самосев проскочил в штрафную, но под таким острым углом, что ни в какой геометрии не затолкать.

Лучший вратарь мира Зепп Майер уже нарастал, как встречный поезд.

Сейчас сшибёт!

Но Блоха первый стрельнул.
С левой – в дальний угол..... г:о!!!!!!!
Вся палата взревела!..

г:о!!!!!!!
Победа!!!!!...

Дежурная медсестра прибежала: «Это нарушение распорядка!.. Я дежурного врача позову!..»

Зови!

«Я главврачу домой буду звонить!..»

Звони!

«Динамо» (Киев) обладатель Суперкубка Европы!

А значит – смерти нет!
В гробах – никого нет!
И я, конечно же, выйду из больницы!
Я буду долго жить, вечно жить!

Ставлю подпись под Помпеей, Троей, под костром Джордано Бруно, под средневековой эпидемией чумы.

Подписываюсь подо всем, что произойдет в будущем на этих страницах.

Олег Блохин – это я.

Декабрь 1975, Кишинев.

Да. Начиная с сегодняшней победы я бомбардир собственной судьбы, ток ее атаки, автор ее победного гола.

Не верите? Ну-ка посмотрим.

Для начала я отказываю моей сестре *Веснушке (Весне)* в праве на существование.
Пусть отправляется туда, где *слепая Даша*.

Нет у меня такой сестры.

Нет и не было никогда.

От начала века и до скончания его – я один у Лазарева и мамы.

б.

Лазарев и мама. 4 месяца спустя.

Толпа прилетевших шла через летное поле.

От самолета, рассёданного в тени, к зданию аэропорта.

Будто холщовый мешок порвался и картошка во все стороны покатилаь, такая это была оживленная толпа.

Но, под видом картофелины, одной из многих, катился в ней *особенный, золотой шар* – заставляя Надино сердце биться учащенно.

А вот и он!

– В музее Толстого, – первое, что сказал, войдя в стеклянные стены аэропорта, – никаких писем не нашлось!.. И про харьковский период – Шлёма ничего не помнит!..

И поднял руки вверх («Сдаюсь!..»).

– А чемоданы? – только и спросила.

Потому что он был налегке, с ручной кладью.

Не муж, а мотылек залетный!

– Идём! – посмеялся, уводя её к такси.

Рапорт – РНО – 99904(14).

Январь 1976.

Аэропорт. Кишинев.

Затем в такси.

Пешкова: «Нет, где чемоданы?..»

Лазарев: «Не делай из вещей кумира!»

Пешкова: «*Два свитера, обувь, импортный серый костюм... Где всё?..*»

Лазарев: «*Выбросил!*»

Пешкова: «*Врёшь!..*»

– Нисколько! – в темноте он просунул руку вдоль кожаной обивки заднего сиденья. Обнял за талию. Потом за плечи.

Привлек к себе.

– Два комплекта постельного белья!.. – встречно зашептала Надя, упиваясь объятием.

– Был обыск!.. – перебил он. – Щупали всё!.. я не мог после них!..

– Оба комплекта щупали?.. – перехватила его руку на своем колене.

– Оба!.. Но... – он отвел руку.

Новокаскадный проспект Мира заинтересовал его в окне (ну да, пока он в Москве пропадал, Кишинев расстроился, похорошел!).

– Что – «но»? – спросила Надя, поправляя волосы.

Рапорт – РНО – 99904(14).

Лазарев: «*Импортный серый костюм тебя волнует!.. Жаль, что не импортное интервью!.. Да ты хоть слушала?..*»

Пешкова: «Нет, не слушала!»

Лазарев: «*Скоор на всю Европу!.. И самое главное – я сделал себе имя! Они боятся тронуть нас!..*»

Пешкова: «*Уже тронули!..*»

Лазарев: «*Вас?..*»

Пешкова: «*Нас!.. С завуча попёрли!..*»

Ж/д вокзал.

Завод Котовского.

Конный Котовский на постаменте.

Взлетели по бульвару Негруци.

Рапорт – РНО – 99904(14).

Лазарев: «*Ну и хорошо, что попёрли!.. Ты ведь не карьеристка по натуре?!*»

Пешкова: «Ну как сказать!»

Лазарев: «Кстати, а Гумилева ты читала, про великую степь?..»

(завозился в ручной клади)

Пешкова: «Кто это?..»

Лазарев: «Стыдно Гумилева не знать!..»

Одну за другой миновали три девятиэтажки на Негруци. Когда-то – гордость городскую.

Лазарев: «Я вот, например, из оренбургских казаков! Из тех, что Сибирь осваивали!.. А ты?.. Кто ты есть, кроме того, что завуч!..»

Пешкова: «Не поняла вопроса!..»

Лазарев: «Исторически – надо кем-то быть!.. Мы вот, русские, знаем про себя, что – исторически – мы Чингисхановы землепреемники!..»

Пешкова: «Мне не повезло! Ни бабушек, ни дедушек своих в живых я не застала!..»

Лазарев: «Я глобально!.. Например, не из хазаров ли вы?.. Не из купцов ли генуэзских?..»

Пешкова: «Каких-каких купцов?»

Лазарев: «Но только без обид!.. Это про еврейский фактор в истории!»

«Какой еще еврейский фактор! – пронзила мысль. – Неужели – всё?»

Выкатились на Ленина.

Теперь он с высокомерной усмешкой смотрел на навесные композиции лампочек, прорывавшие проспект.

– А мне нравятся эти лампочки! – заявила с вызовом.

– Какие лампочки? – теперь его черед был удивляться.

Но, прочитав всю вздорную бессмысленность женской обиды на ее лице, поспешил перевести разговор.

– Была неделя, – он понизил голос до шепота, – когда я гремел! – его ликование не вмещалось в шепот. – «Сегодня в Москве задержан писатель, участник московской хельсинской группы Алексей Лазарев!» – подбородок его плыл от удовольствия. – Или «Как передает из Москвы Алексей Лазарев, выпущенный из-под ареста в результате интенсивного дипломатического вмешательства...»

Кажется, он прослезился от восторга. От выстраданного какого-то самоупоения.

– Но из хельсинской группы я ушел! – нашел нужным добавить. – Одни евреи их интересуют!..

– Тихо! – потребовала она, косясь на спину шофера. – И вранье! – добавила после паузы. – Не ходил ты в музей Толстого!..

– Ходил!..

– Не ходил!.. И со Шлемой не говорил – про харьковский период!..

Вот так.

И отвернулась.

Когда-то, решительно приканчивая первый брак и вступая во второй, она поклялась себе жить в этом повторном браке до конца дней. Быть мудрой. Принимать его творческие фокусы, не теряя за фокусами главного. Да и какие фокусы у него! Так, причуды (зачем-то переписывал «Мастера и Маргариту» от руки, увиливал от уборки квартиры по выходным). Не то что сейчас, когда он с врагами СССР связался и его погнали из «Известий», с курсов...

От обиды – в горле закололо.

Миновали междугороднюю телефонную станцию.

– Ладно! Чего уж тут! – сник он. – В музей не ходил!.. Со Шлемой не встречался!..

И завозился в ручной клади.

Рапорт– РНО– 99904(14).

Лазарев: «А вообще– то плохо мне! Столько ошибок наделал! Погиб я!»

Пешкова: «Ну вот! Осознал наконец?!»

Лазарев: «Если б только советская власть приняла мое раскаянье...»

Пешкова: «Если раскаянье будет чистосердечным, то она готова принять! Готова дать тебе шанс исправиться!»

Лазарев: «Ты не шутишь?»

Пешкова: «Не шучу!.. Для тебя есть место в «Вечерке»!..»

– Что это? – ахнула Надя – когда он книгу из сумки вытянул (на одной обложке – 2 фотографии: строгая и мужественная папина... и какого-то странного человечка, с детской полуулыбкой на губах).

– То самое! – похвастался. – Из Лондона привезли!..

Неслушающиеся Надины пальцы застучали по книге.

– Не по-русски! – выдохнула она. – Ты читал?..

– Мне перевели!.. Но только общее содержание!..

– Водитель, стоп!.. – распорядилась. – Идём!..

Идём было сказано тем же тоном, что и *водитель, стоп*.

Встали на углу Ленина – Бендерская.

Бендерская была разрыта. Теплоцентральный в ремонте. Связки новеньких труб на земле у траншеи.

На досках, под косой крышей наспех сколоченного деревянного тротуара Надя встала.

Дождалась, пока Лазарев догонит.

– Ну! – сказала. – И каково же общее содержание?..

– Очень сильно! – отвечал. – Самому интересно, кто настоящий автор!..

– О чем? – перебила.

– О том, как давным-давно где-то в Бессарабии одна бабенка изменяла старому мужу – грозному мужу, он с горя заболел, и его в приют для безнадежных поместили (аж в Бухаресте!). И вот, сидит она у изголовья, а к ней подходит санитар и строго так по плечу: аллэ, мадам, вы разве не в курсе последних известий? Она не в курсе. Тогда примите к сведенью. Русские заявили права на Бессарабию и уже навели танковые переправы на Днестре. 48 часов срок их ультиматума. А посему какие у Вас планы?.. Планы?! – теряется она. – Господи, да какие планы!.. Извозчика!.. На вокзал!.. К сыну первым же поездом (в Бессарабии у них 3-летний сын, не ясно – от кого). Ведь через 48 часов там будет граница на сталинском тяжелом замке, и тогда не то что взрослая б., комар не пролетит! И вот, уже в дверях, с чемоданом, она бросает прощальный взгляд на умирающего. Которого презирала всю жизнь! Которому наставляла рога. И – обзавидуйся, Шекспир! – пробивает ее раскаянье такой силы, что она... опускает чемодан на пол!.. Эй, ты что?..

И попытался отнять книгу.

Но поздно.

Она фотку отодрала.

7.

Лазарев. Через неделю.

Стол и стул – в отделе городского развития. И первое задание – очерк на... уф-ф... заводскую тему (з-д «Молдавгидромаш», пр-во насосов, переход с чугунного литья на прокат стали).

Гадость какая!

«Нужно 700 строк! – проинструктировала заведомо (низкая, с молодым румянцем и злыми усиками над самолюбиво изогнутой губкой). – О том, что с тех пор, как с чугуна перешли на сталь, завод с одной стороны лучше интегрирован в союзную отрасль, поставки проката идут с Украины и России. Но, с другой стороны, возникла волокита...»

На словах «*поставки проката*» Лазарев понял, что кого-то она ему напоминает. Но кого?!

«...Если раньше чугун в любом кол-ве набирали на местных свалках металлолома, то на толстовую сталь фонды утверждаются Госпланом СССР с учетом интересов поставщика и с учетом многих других факторов. Что для завода не всегда удобно. Отсюда и журналистское задание. Осветить плюсы и минусы такого перехода!»

И выставила новенькую, на бантике, папку с бумагами на стол.

Ага. Всё ясно!

По одному виду этой папки можно было судить о предьявителе ее. Агрессивный карьерист! Стеноломное орудие. О чем бы ни шла речь, какое бы ни спустили срочное задание, всегда у ней новенькая папка наготове – под строгим бантиком.

– Не вопрос! – пообещал Лазарев, забирая папку. – Освещу и плюсы, и минусы!.. Можно идти?..

– Здесь не армия! – отвечала оскорбленно. – Идите!..

У, жаба!

Премерзкая!

(Вот только кого она мне напоминает?!.. А?.. Кого?!..)

Таковым было его 1-е впечатление о М.А., заведомо.

В дальнейшем оно только укреплялось.

Поражало 2-личие её. Если, вызывая его для нового задания (как на подбор пыльные тупики механических заводов с чахлыми деревьями в сорных дворах и въехавшими в репейный тупик ж.д. рельсами... или бестолково-душные, с плохой вентиляцией коридоры собесов-ЖЭКов... или конторы по газификации... или шинные мастерские... да мало ли в городе убитых мест!), она не только не обращалась к Лазареву по имени, но целую речь умела сказать без единой краски в голосе, – то на людях, от редколлегии до открытого партийного, неизменно пёрла на первый план («да я!.. да мой долг журналиста!.. да мое партийное сердце!..») – как ударная дрель в режиме бурения.

Февраль 1976, Кишинев.

Впрочем, была в ней некая чисто служебная прицельность в отношении Лазарева. Некая профессиональная внимательность. В отличие от других членов коллектива, не понимавших, кто он и откуда свалился, и потому предпочитавших опускать глаза и обходить стороной... – так вот, в отличие от них, она вела вслед за ним глазами. Смотрела, что говорит, как ходит. Какие настроения полощет в лице. И это наблюдение за ним не было стукаческим, шпионским (может, и он ей кого-то напоминал?!). И умела оценить неохотную (и от того еще более похвальную) старательность нового сотрудника, пишущего на отвратительные для него фабрично-заводские и жилищно-коммунальные темы, и при том, хотя и с кривой ухмылкой и скрипом зубовым, но все-таки

разобравшегося, в чем отличие между 1. нефтехимией и 2. нефтехимическим машиностроением, и между 1. сталью хромистой 4*-13 и 2. сталью хромоникелевой 20*... и т.д. и т.п.

В результате чего в один прекрасный день он обнаружил себя в графике дежурств по номеру, ежедневно вывешиваемом в коридоре.

Что означало только одно: а-мни-сти-ро-ван!

Вот описание того дежурства.

Ночь.

Тишина на этажах.

Подобревший город в открытом окне.

А может, это сам Лазарев подобрел к ночи. Отмяк душой – от оказанного доверия.

Быть свежим глазом, вычитывать верстку завтрашнего номера.

В 38 лет быть, наконец, как все.

А не умником.

Не отщепенцем.

Уж кто-то, а он умел быть благодарным. Потому что индивидуальничал с детства. Долбил в себе лунку исключительности. Пока Солженицын с Гумилевым не позвали за собой. И волшебный купол евразийства над головой не выстрелил.

Да, особенная это была ночь.

В мозгах, хотя и наводненных бессоницей, такая чистота вылоилась. Такая синь океаническая.

И сквозь макет вычитываемой газетной полосы – лицо любимой проступает.

Но не женское на этот раз лицо.

А другое, большее!

От естественных границ православия на Западе до набегающих язычков Тихого океана на Востоке, от китайских шелковых путей до уральских железных недр, от Волги-татарской матки до беломорских базальтовых бухт, от Казани до Москвы, от Норильска до Киева... – вот оно, любимое лицо!.. Евразия!.. Невеста Чингисханова!.. Жена Российская!

Одолов 1-ю газетную полосу, он поднялся из-за стола. Уселся на подоконнике.

Ночь была дождливой, душной.

Фонари спали стоя.

Напротив же Дома печати, как раз в виду бодрого лазаревского окна, повалил к паре-тройке заключительных троллейбусов народ из концертного зала, тем более говорливый, странный для себя самого, что на улицах было тихо, как в лесу.

Потом еще час прошел.

И два раза по столько.

От ночного бодрствования Лазарев опьянел. Прямые стены кабинета выклонились. Все знакомое увиделось чужим: какой-то город, и в нем Дом печати. А до того целая жизнь, проведенная в этом городе: какие-то квартиры, школы, друзья, влюбленности... Но с какой стати?! Почему *они*?! Почему *здесь*?! Ну да, я помню: 28.6.1940, сталинский притыр Молдавии, папаша откомандирован из Москвы (по линии наркомпроса) поднимать культуру отсталого края. Целый десант специалистов сброшен в те дни (отец Ваньки Усова, например, по линии какого-то другого наркомата...).

Да только я тут при чем?!

Не пора ли домой – выправлять исторический зигзаг?!

Даром, что ли, в Оренбурге родился, на *засечной черте* великой русской экспедиции?¹

¹ Имеется в виду Оренбургская экспедиция (1735–1740 гг.) – как часть русского освоения Урала и Сибири.

И вот тут-то (2 ч. 45 мин. по Москве) дверь в кабинет приоткрылась без стука... и в нее голова голова М.А. просунулась.

«Можно?»

Лазарев едва успел сбросить ноги со стола.

До сих пор, с начала дежурства, он не сделал, да и не помышлял сделать ничего плохого, отщепенского, и все-таки первая мысль, вслед за сбрасыванием ног со стола, была «Атас! Шухер!».

Впрочем, и М.А. выглядела странно.

Не так, как должна была бы выглядеть, если б подкралась с проверкой!

– Ваш Корчняк, – сказала она с порога, – *сбежал!!!* Я снимаю Вас с дежурства!..

Сильнейший, как из открытой раны, запах духов валил от нее. В лице близкий обморок собирался.

– Идите домой!.. – еще добавила. – Вас утром *вызовут* на ковер!..

Но, пока он осмысливал услышанное, пока поднимался из-за стола и шел к вешалке с плащом...

– Подождите! – козым полупрыжком заступила на пути. – Деньги на такси есть?..

Подвела сумочку к груди. Развела сумочкин ротик.

– Берите!.. Сейчас объясню!..

«И никакой он не мой, этот Корчняк!..» – собирался отбить Лазарев.

Но она как попрошайка уличная вцепилась в его рукав.

– Нет, я должна! – сказала закусив губу.

И потянула его от дверей. От вешалки – к столу, в обратном направлении.

– У меня папа после инсульта! – заговорила она волнуясь. – Он слушает румынский БиБиСи!

Он меня разбудил, говорит: Корчняк *бежал!*

– Я это уже слышал!..

– Нет, нет!.. Сядьте!.. Сядьте!..

Одним словом...

Что выясняется.

А вот что.

Папаша ее (разбитый инсультом, одной ногой уже *там!*) написал мемуар (о своем геройском прошлом) и просит, нет, умоляет Алексея Лазарева (слыхал о нем по румынскому БиБиСи) обработать литературно и переправить... *туда!* Т.к. здесь такое не опубликуют.

– Вы псих! – измученный Лазарев уселся за стол. – Если только не провокатор!..

Ну, провокатор – вряд ли.

Настолько зримо ее трясло.

Сам голос ее был неузнаваем этой ночью: мелко-серебряный, с беззащитными переливами. Господи, но кого она мне напоминает?!

– Он говорит, что скоро умрет, – толчками она стала подвигать по столу какую-то папку (на бантике! из той же серии, что про переход с чугунного литья на стальной прокат), – и что вы один можете помочь!

– Но я не доктор!.. – с тоской Лазарев глядел на эту наползающую на него папку.

– Пожалуйста, обработайте литературно! И... передайте по своим каналам!..

– Зачем?..

– Надо чтоб это прочитали!..

- Зачем-м-м?..
- Но он же умрет!..
- А если прочитают, то что же? не умрет?..
- Но я не могу без папы!..

Точно с шампанского проволоку свинтили пробка ползет, вот так это *не могу без папы не могу без папы* из нее ползло.

- Тихо! – перебил испуганный Лазарев. – Тихо!..
- И даже руку поднял – остановить эту ползущую пробку.

В слезах, с открытым ртом, она смотрела на него.

Само лицо ее, большое и недоброе, казалось новым: оно точно разъято было на кубики и собрано затем в другом порядке.

Лазарев встал из-за стола. Прошелся до двери. Выглянул в коридор.

– Итак, если я правильно понял, – вернулся к столу, – то шахматист Корчняк, с которым меня, к несчастью, ассоциируют, *бежал*. В связи с чем вы приехали посреди ночи снимать меня с работы! И, мало вам неприятностей моих, прошлых и будущих, вы толкаете меня на *новые авантюры*!..

– Нет! – отмахнулась она. – Вы только обработайте литературно! И адрес дайте!.. А дальше... я сама!..

Ого!
Смелая!

Что он знал о ней... Старая дева, живет с родителями. Не отсюда ли психоз?

В том, что вся эта история с передачей мемуара *туда* – есть не провокация, а психоз, он теперь не сомневался!

А потому: обойти по стеночке и – за дверь!..

Но не тут-то было.

Сильный, темный, власть имущий человек, она и придурь свою умела на тебя наваять. Так что и безумный план её уж не казался таким безумным.

Мол, прочитали тебя – ты есть.

А не прочитали – нету!

– Хорошо, но только 1 страницу! – стал развязывать шнуры на папке. – На пробу!..

Выбрал наугад, из середины.

– Если это плохо написано, – предупредил, – то я *нас*!.. И... идите!.. идите домой!.. При вас я читать не буду!..

8.

Написано было не плохо и не хорошо. А так, точно телефон зазвонил, и в трубке кто-то дышит, громко и анонимно. А заговорить – боится. Графомань, короче.

Графомань, графомань...

И, главное, если бы вместо бессонного ночного дежурства спал дома в своей кровати рядом с Надей, если б не это странное, из-за смещения биоритмов, наклонение стен и мозгов, то все

оставалось бы как раньше: Корчняк бы не сбежал. М(арина) А(дам) не возникла бы с мемуаром. Вывод: нельзя бодрствовать по ночам. Нельзя выламываться из биологического порядка.

Мемуар.

Значит, когда-то до войны, папаша ее, 25 лет от роду, преподавал в *Princesses Dadiani (теперь там Дом пионеров! И это – тут рядом, за перекрестком Пушкина – Киевская, из окна видно!)* и влюбился в некую С.Ф. из выпускного класса, посещавшую его исторический кружок.

Но С.Ф. любила не его, а социалистов-подпольщиков, и зимой 1935-го перешла на советский берег через Днестр (*днём?.. ночью?.. одна?.. в компании?..*).

Далее.

Папаша. Разбитое сердце.

Далее.

1939-40. Советско-германский раздел Европы → 2-я Мировая → и, точно за ворот притянутый, советский берег (вместе с затерянной на нем С.Ф.) сам надвигается на папашу в виде Заявления МИД СССР – Королевскому правительству Румынии – об историческом праве на Бессарабию.

Далее.

Военные и гражданские, чиновничество и духовенство, купцы, промышленники, учителя, банкиры (*все государственные румыны*) → ...снимаются с места и в организованном порядке отступают за р. Прут → но по ходу отступления папаша дезертирует из уходящих колонн (*churches la famme!*).

Далее.

→ Советские бронемашиныс тягучим рокотом катят по главной улице (Boulevardde Regele Carol II, *сегодня это пр-т Ленина!* Каких-то 100 метров отсюда!)

→ В толпе горожан, обсыпавших тротуары, можно увидеть человека, изо всех сил поднимающегося на носки, вытягивающего шею (*«Что, если S.F. в одном из танков?!»*)

→ за военной техникой тарахтят обозные усталые грузовики (*«Что, если S.F. в одной из кабин?!»*)

→ а задерешь голову – там красноезвездные самолетики стригут голубое небо (*«А вдруг и S.F... в одном из тех самолетов?!»*).

Здесь Лазарев понял, что увлекся. А увлекшись, выполняет то, чего от него и добивались: *обрабатывает литературно*. Хуже того, лепит новую книгу поверх старой. Пока только мысленно, в уме, но вот – и по рукам ток заструил.

Далее.

В условиях крутой *советизации* Молдавии, главное, в условиях широко объявленного усиления классовой борьбы с активом старой власти папаша, от греха подальше, покидает Кишинев. Нанимается на добычу известняка в Рыбницу (*ага! Это куда S.F. перешла!*).

Далее.

В Рыбнице находятся люди, знавшие С.Ф. по карантину в НКВД и по волейболу на речном пляже (*должна быть хороша в купальнике!*).

«Она в Тирасполе!» – утверждают они.

Значит – в Тирасполь!

Но как открепиться? (*а то!!! Советское трудовое законод-во!*)

Далее.

22.6.1941.

Немецкие бомбардировки -> Хаос -> Бегство советской администрации -> Папаша в Тирасполь под шумок! (*Искать иголку S.F. в стогу СССР!*).

Далее... Далее... Далее...

А далее дверь приотдвинулась и...

«Добрый день!.. Могу ли я предложить стихи для публикации?»

«Иду!» – Лазарев стал поспешно завязывать тесемки на папке.

Как ни старался унять волнение – руки мелко дрожали.

«Главное, чтобы дрожали *на ковре!* – дал себе установку. – Ведь я невиновен, и никаких контактов с Корчняком не имею давно!» – и... поднял голову.

Зрелый свет в окне (и незаметил, что утро!) направлен был на дверь и выдавал в ней переминающегося с ноги на ногу подростка с неправдоподобно, сказочно, до состояния чистой пудры, белым лицом.

– А-а?.. Чего?.. – Лазарев опомнился. – Вы кто?..

– Константин Тронин! Поэт!.. – отвечал белолицый.

Голос его тоже был странным: из-под волны любезности холодная строгость накатывала.

– Тут «Вечерка»! – процедил Лазарев недовольно. – Стихи тут не печатают!..

– В таком случае не порекомендуете ли...

– В «Молодежке»!.. – перебил Лазарев. – На пятом этаже!..

И выпроводив белолицего подростка из кабинета, закрыл за ним дверь на ключ.

Далее.

Июль 1941-го -> Тирасполь занят немецко-румынскими воинскими частями -> папаша арестован за дезертирство 1940-го -> мобилизован в трудовую армию -> послан в Одессу подрывать скальные катакомбы (приют евреев и партизан).

Далее...

И тогда на столе телефон зазвонил.

– Аллэ! – схватил трубку Лазарев.

Он схватил ее с такими испугом и вызовом, что сок едва не брызнул.

– Я извиняюсь! – услышал он серый голос в трубке. – Но я был у Виктора в больнице, и он просит телевизор! Переносной! Не сможете достать?..

9.

– Переносной телевизор? – Лазарев наморщил лоб.

6 декабря 1975.

– Ну ему там тоскливо в палате, – пояснили в трубке, и до Лазарева дошло, что и этот звонок – опять-таки не вызов на ковер.

– Кто говорит? – перебил Лазарев.

– Ну кто-кто? – хмыкнули в ответ.

Говорил... *тот самый!*

Надин первый.

– Расход на мне! – заверил Пешков. – Но я поспрашивал у товарищей – и нету ни у кого. Ну, у меня и товарищей-то не осталось в вашей кишиневии!.. Что?..

– Ничего!.. я только внимательно слушаю! – в досаде отозвался Лазарев.
(Вот зануды: то стихи в пудре, то телевизор в больницу!)
Помолчали.

– Добудьте у какого-нибудь спекулянта!.. – предложил Пешков.
Голос его был мутный, не наведённый на резкость. Точно он под углом в 45 градусов трубку держит.

Тут бы и послать его культурно (*вот будет приколом, если С.Ф. в тех катакомбах!*).

Но не послал. А стал морщить лоб и прикидывать – про телевизор.

– У тещи! – придумал наконец. – У Сонь Михалны есть переносной!..

– Но там инфекционка!.. – напомнил Пешков. – Что вошло – не выйдет!..

– Ну, не ваша забота! – успокоил Лазарев. – Уж с тещей как-нибудь уладим!..

Его позабавило, что у него общая тёща с этим человеком. Общая Соня Михайловна.

– Ну так договаривайтесь, б-ть! – вполголоса предложил Пешков, и Лазарев только заморгал обиженно.

– Вы где? – спросил он холодно.

– На бирже!.. Ну там, где фанаты «Молдовы»!..

– «Нистру», а не «Молдовы»!¹ – поправил Лазарев. – Пятый год как «Нистру»!.. Ждите, я иду!..

Ему понравилось, как он задвинул с «Молдовой» в ответ на матерок. Только так с этой братвой.

Надев плащ и собравшись выйти, наклонился над столом и, в таком вот наклоненном виде еще страницу пробежал глазами.

«1942. Одесса под румыно-немецк. Властью -> подрыв партизанских катакомб порохowymi минами -> убитые и раненные... -> И (угадал!!!) раненная С.Ф. в плену -> Взятка (11 ведер угля, 20 мешков сахара!) за ее освобождение...» Ха! Александр Дюма какой-то! Не верю!..

...

Биржа фанатов собиралась на Ленина – угол парка Победы. Здесь Лазарев поймал себя на мысли, что – Дюма-не Дюма – а не на этом ли углу молодой и влюбленный папаша вставал на цыпочки в толпе (28.6.1940) и изо всех сил тянул шею, выглядывая S.F. в колонне краснорубашечных танков!

Надо же, как увлекло.

Потоптался у газетного киоска.

Поозирался по сторонам.

Никогда он не думал о Кишиневе в таком вот исторически-объемном ключе. Никогда не подозревал в нем тайн живых и персональных.

Сигаретный дымок ударил по ноздрям. Лазарев не курил второй год, но сейчас ему свербежно захотелось тугоспеленутой «примки», такой уместной в эти холод и дрябь.

Фанаты разбились на группки, в каждой обсуждали что-то своё. И только какой-то низкорослый тип в коротком, детском по фасону пальто стоял сам по себе и ухмылялся, глядя на Лазарева.

Он не походил на фаната.

– Вы Лёва? – Лазарев сунулся к нему, но тот отпрянул в сторону с недовольной гримасой.

Лазарев стал озиаться по сторонам.

По Пушкина троллейбусы ползли в ниточку. Был четвертый час, а потемнело, как в семь. Снеговое сыто взболтнулось.

«Аллё, ну, значит, телевизор никому не нужен?» – безадресно и в то же время с подвохом выкрикнул Лазарев.

¹ Речь о названии ведущего футбольного клуба Молдавии. С 1958 по 1971 – «Молдова», с 1972 – «Нистру».

И... пошел восвосяи.

На углу у газетного киоска он встал, решая куда идти: *на ковер* в редакцию или домой – спать. И тогда тот тип в детском пальтишке окликнул его.

– Я извиняюсь! – сказал Пешков подходя. – Я много лет прятался от этих гадов... Не откликался, когда подзывали!..

– Сочувствую! – почти дружелюбно вздохнул Лазарев. И даже не стал уточнять – от каких гадов тот прятался.

Но его передернуло от отвращения.

Пешков был низкий, но подсобранный, плотный. Во внешности его была стартовая агрессия. Точно вот-вот пригнётся и – головой в сплетеньё!

– Уезжаю на Таймыр! – изрек он и стал возиться с зонтом. – Но ты не бойся, счеты я сводить не буду! Но найди телевизор для пацана!..

И раскрыл зонтик... только над собой.

– Сонь Михайловна в санатории в Крыму, – после заминки сказал Лазарев (он не знал, как реагировать на это *не-сведение счетов*. От всего сердца поблагодарить, что ли?). – Думаю, она не будет против!..

Тогда Пешков зачем-то перебросил зонтик из одной руки в другую, полез освободившейся рукой во внутренний карман детского, с болтающимися железными пуговицами пальто и извлек связку денег.

– Хочешь вперёд?.. – протянул.

– Ну тогда я жду! – приказал он, видя, что Лазарев не хочет вперёд. – На этом месте!.. И Лазарев проворно посеменял через кусты, по тёмной аллее.

Перебежал Пушкинскую.

Припустил по 25 Октября.

У театра Чехова остановился от задышки, обернулся. Ему показалось, Пешков идёт за ним.

На 28 июня были ясли-сад в угловом здании. Туда Веснушку води...

VAN!!! Нет и не было никакой Веснушки – (от автора).

Лазарев остановился у стены.

Этот Пешков поганил собой целомясое блюдо жизни: жену, приемного сына, тещу.

А Пешков и не прятался теперь.

С ясным лицом он стоял напротив – через перекресток 28 июня. И смотрел на Лазарева, как бы не узнавая. А потом стал спускаться в подвал-хозмаг по ступенькам. Мол, в хозмаг ему надо. И если бы при этом он не играл пальцами рук, то еще можно было бы поверить: ну да, в хозмаг идёт.

Но в том-то и дело!

С вызывающим хрустом – он играл пальцами рук.

Лазарев пошел дальше по 25 Октября.

Во дворе никого,

...но в подъезде курил Санька Локтионов из 7-й квартиры, переросток лет 16-ти с лицом, как мутный пузырь. Он и раньше не здоровался при встречах, а сегодня выставился с особой злобой и не убрал колено с прохода.

Дух сырости шел из чердачного люка.
Ухватясь за перила, Лазарев поднялся на второй этаж.

...В квартире было темно.
Переобулся в тапочки.
Посмотрел в окно из-за занавески в кухне.

Целых две минуты двор был безлюден.
Одни только хлесткие кусты в палисаднике бились.

А затем Пешков появился.
Он прошел вдоль палисадника к подъезду.
Скрылся из обзора.

Лазарев ступил в тещину комнату.
Поднял за скобку переносной телевизор с комода.
Вычекнул шнур из треснутой розетки.

Было слышно, как в подъезде Пешков с Санькой разговаривают на каком-то отрывистом языке.

А потом перила заскрипели.
Пешков приближался.
Курок электрического выключателя цвиркнул на этаже.

Лазарев присел на тещину кушетку. Замер, ожидая звонка в дверь.

В окне что-то неладное делалось с погодой. Еще потемнело, и беспорядочные таблетки снежного града обсыпали стекло.

Сейчас Пешков позвонит в дверь.
Открывать, не открывать?

Но раздались шаги над головой. Это Пешков, изобретательно разматывая кошмар своего отщепенца, ступал над тещиной комнатой по чердаку: по перекладинам между стекловатой.

И тогда в Лазареве все склювилось от страха.
Почему тот не отозвался на свое имя в парке?
Почему крался по пятам, хотя сказал, что будет ждать на этом месте?
В этом крадущемся его поведении зияло что-то поддельное – как наружные цифры в дверке камеры хранения.

При том, что шифр набран изнутри.
И настоящий этот шифр содержал угрозу.

Короткий дверной звонок куснул его.

На пороге был Санька Локтионов.

– Телевизор давайте!..

И протянул сиреневую перевязку 25-рублевок.

– Это от меня! – снизу, с темного 1-го этажа, подал голос Пешков. – Дай, что я просил!..

Лазарев принес тёщин телевизор, отдал Саньке в руки.

– Не зайдете? – адресовал он вопрос вниз, в темноту.

– Для чего? – отозвался Пешков. – Сто граммов на дорожку?..

В это время Санька спустился к нему с телевизором.

– Я боюсь, что если поднимусь, то врежу! – сказал Пешков Саньке. – А мне на Таймыр послезавтра... Ну его, вонючку!..

Боеохочие шаги его направились на выход, к дверкам подъезда.

И Лазарев почувствовал себя так, точно Пешков на него нужду справил.

Как был, в слабых тапочках на матерчатой подошве, зателепил вниз по ступенькам.

– Дядя Лёва! – гикнул Санька приглушенно.

Рёбнулись дверки подъезда.

Розги дворовой яблони мелькнули в просвете.

Звякнув набойками на каблуках, Пешков вернулся в подъезд.

– За что?! – без сил от ужаса проблеял Лазарев. И встал в позу бойца – с кулаками перед грудью. – Неужели... из-за Нади?..

Всякая пленочка-перепоночка собственного тела была слышна.

«Стань на шухере! Снаружи!» – приказал Пешков Саньке, и тот исполнително выкатился за дверки.

Слабая лампа едва сверчила в коридорной арке.

В Санькиной жестянке на скамейке зловонный окурок тлел.

«Письмо ты в Одессу вёз? – Пешков подошел вплотную. – На Карла Маркса, 12?..»

– Письмо? – не понял Лазарев. – Какое письмо?.. А-а, про Петра Федорча?..

И посмотрел на кулаки свои, выставленные перед грудью.

– Нет, про Петра Первого! – сказал Пешков. И надвинулся ближе. – И Андрей Ивановича в поезде – ты подослал?..

Казалось, вот оно, лазаревское лицо, куда ближе, но Пешков продолжал надвигаться.

И ...произошло непоправимое: совсем не обращая внимания на лазаревские выставленные кулаки, он взял его лицо своими лапами. Взял так просто, как деревянными щипцами берут выпарку из кипятка.

– Значит, попробуй только Витьку на свою фамилию записать! – задышал в глаза. – Чтоб не смел!..

Лицо его надвинулось так близко, что у них теперь одно лицо было – на двоих.

– Скинь тапки! – придумал вдруг.
Помертвевший Лазарев не выполнил приказания.

Подождав несколько мгновений, Пешков отвел плечо и... как свежим растворчиком с мастерка... Лазарев ухватился за правую скулу.

Потом – головой в сплетенье.
Потом – давлив руки в плечи – усадил на Санькину скамейку.
Санькина жестянка с окурком полетела на пол.

Присел перед Лазаревым на корточки, стащил тапки со ступней.
«Носки, б-ть, сам!» – приказал вставая.

Отмерив несколько секунд, стукнул в другую скулу.
– Носки, я сказал!.. – повторил.

Подперев голову ладонями, Лазарев смотрел в пол.
Тень Пешкова надвинулась.

С поспешностью Лазарев стянул два носка с ног.

– И не дай бог, – Пешков направился к выходу с добычей, – я узнаю, что Витька на твоей фамилии... Похороню!..

Выбросил носки в белокаменную урну под яблоней.

– А вот не поеду на Таймыр! – объявил он оттуда. – К Фоглу поеду!..

И ушел.

Санька Локтионов ввалился в подъезд.
Он потребовал, чтобы босой Лазарев освободил скамейку.
Скамейка и вправду была его. Целыми днями он обсиживал ее взажоп. Курил горькие сигареты без фильтра, кашлял, листал подшивку военно-приключенческого журнала «Подвиг». И нехотя поднимал красные от плохого освещения глаза на всех входящих-выходящих.

А Пешков уехал (к какому-то Фоглу?).

Ю.

«Надь! – вывел Лазарев на бумаге (тетрадь кулинарных рецептов Сонь Мих-ны, первое, что под руку попало). – Приходи твой бывший, я отдал ему мамин телек для Вити. 450 руб. на столе. Там же и папка. Отдай Марине Адам из “Вечерки”, это её.

Итак, приходил твой бывший... вёл себя, как налётчик.

А я?

Он оскорбил меня словом и действием, а я не пробил ему голову за вторжение. Почему?

Надь! Я не достоин существования!..»

«Не поймёт!» – всхлипнул.

Но ведь правда: не достоин!
Скомкал бумагу.

В темной прихожей сел на стул перед трюмо.
Разбитая губа надулась. Липкая кровь по ней текла.
Не достоин!.. Не достоин существования!..

Но как так?! Почему так вышло, что все интересы и увлечения с детства по сей день (от оркестра щипковых инструментов до кружка астрономии, от альпинистских подвигов в Восточных Саянах до теории этногенеза, от вольной борьбы до хельсинской группы) не забросили в топку жизни достаточно угля?!
У всех свой мемуар.
Один я без мемуара.
Письма ихние доставляю.
На женах ихних женюсь...

(Подумав про *ихних жен*, он понял, кого ему с первой минуты жаба напоминала.
Надю.
Особенно – когда снимала очки и терла усталые глаза).

И растерянность его была столь велика, что – хоть и вправду бери и Витьку усыновляй.
Или папашин роман переписывай.
Главное, прихватить хоть что-нибудь.
Зацепиться – за *существование*.

«Папаша у меня будет не учитель в Princess Dadiani, а, допустим, подрывник! – придумал в отчаянии. – Потому что подрыв катакомб это хорошо, это я оставляю... как и переход С.Ф. через Днестр по льду!..»

Вот так.
Витьку не усыновил, а мемуар... перепишу!..

«Да, у меня он пограничник, а до того студент, горное дело! Из-за ссоры с С.Ф. (измена? сделаем ее ветреницей прелестной?) бросает университет, уходит в армию. Чтобы в одну из ночей С.Ф. перешла в СССР. По льду. Ух, какой разворот!»

Крал ли он?
Да ничуть.
Вон папка с бантиком. В кухне на столе. Что запомнил – его. А папку забирайте!
И вообще, кому эти никчемные серые люди интересны без того, чтобы он руку приложил! Без того, чтоб породнился с ними!
Нет, вправду.
Надька – самодур. Витька – серость. Мемуар – словесная бурда.
Чтобы они делали без него.

Итак. План романа.

1. Переход С.Ф. через Днестр, в 1935-м году, в ночь папашиного боевого дежурства!
2. А в 1942-м он вытащит ее из партизанских катакомб. Там, где скалистый, в полыни-ковыле, обрыв над зимним морем!.. Ух!..

Только представить этот эпос! Этот грандиозный намыв событий!

Европа между 2-мя мировыми войнами, великие диктаторы и малые мои герои со своими страстями-побегами. И послевоенное похмелье. И советский смершевец¹, муж С.Ф., рыщущий по Европе, по лагерям для перемещенных лиц, в поисках ея...

Ух, сила!

Ну и чтобы доказать, что не краду! – публиковать не буду!

Ведь не для славы пишу, а...чтоб... чтоб *право на существованье* было!..

В приподнятом состоянии духа он к дверям пошел.

Скрыться, пока Надя не вернулась.

И только возле дверей обнаружил, что – босой. Без носков.

Вернулся в спальню за носками.

«И вот... в разгромленной, капитулировавшей Румынии 1945-го года... советский смершевец, ейный муж, обнаруживает голубков-любовников! С новорожденной дочерью! – вытащив коробку с носками из глубины шкафа, стал перебирать цветные и темные, хэ-бэ и синтетику, новые, подшитые в пару, и бэ-у, заправленные в бутоны. – Далее. Папаша -> судебная тройка ->на Колыму!.. С.Ф.?. С.Ф. -> уж больно смершевец ее любил -> простил -> взял с (чужим!) приглядком!»

В тот день ему казалось, что *право на существованье* это участие во Всемирной истории. В покорении Урала и Сибири... В казацкой автономии и украинском голодоморе... в напознании арабов на Пиренеи, в эпохе великих географических открытий, в боях римлян с галлами, в великой французской революции. И т.д. – согласно таблицам Гумилёва.

И ровно так была посеяна в нем и противоположная мысль: о всемирной истории как о части его, лазаревского, мира (т.е. если бы не его персональный интерес к Уралу и Сибири, то и покоренья бы не было. Даром, что интерес он проявил этак в 1976-м, а покоренья началось 4 веками раньше!).

Еще в один день могло ему веритья, что одна только слава (внутри СССР и за кордоном), упоминания по «голосам», письма западных дипломатов в его защиту, пьянящее внимание женщин... – оно-то и есть доказательство того, что он *есть*.

Но на другой день выходил он в крайность противоположную: одно только пустынное одиночество, пребывание в некоей условной комнате без дверей-окон, еще лучше в погребке без электричества, – вот проверка: есть ли я. Есть ли я на самом деле.

Как бы там ни было, но на сем рубеже Алексей Лазарев покидает эти страницы (не забуду ему *«Витька – серость»*).

Более не будет о нем оставлено никаких сведений.

Пусть сам свидетельствует о себе.

Отныне от него одного зависит – был ли он на самом деле. Или нет.

Часть III

I.

Хвола Корчняк.

1942. Ленинград.

¹ смершевец – служащий советской военной контрразведки «Смерть шпионам».

Свекровь Ариадна Меркурьевна, физически крепкая, волевая женщина, умерла от анемии в марте (карточка 3-й категории, для иждивенцев).

Соседи по квартире – умерли все 8 человек (карточки 2-й и 3-й категории).

И только Нелли, хилая изнеженная белоручка, выстояла в 1-ю блокадную зиму (наверное, спит с мужчинами за продукты и дрова).

И вот – приходит она с утра пораньше и затягивает старую песню: «Отдавайте Виктора!»

«Ему уже 10 лет, пускай он сам решает!» – ответила на это Хвола.

«Не уже, а еще только 10 лет! – заулыбалась Нелли. – Уж я-то, как родная мать, знаю, сколько ему лет! С точностью до минуты!.. Это про Вас никто не знает: кто Вы и откуда!..»

И, довольная произведенным эффектом, повернула к мальчику веселое лицо: «А у меня теперь пианино есть, пойдём – играть научу!»

В тот же день большеухий стриженный мальчик с рюкзаком на спине покинул квартиру – за ручку с Нелли.

Март 1942, Ленинград.

Была третья суббота марта.

Пошла в ДК завода текстильного машиностроения.

Круглый год там крутили комедии.

Вот, даже косолапого дурака Шарло крутили – несмотря на осадное положение в городе.

Но дело не в Шарло.

А в том, что: в 3-ю субботу каждого месяца... в темноте кинозала ДК завода текстильного машиностроения, в 9-м ряду... встречались с Софийкой. С первого года придумали такое правило. Ну чтобы душу отводить.

Но в этот раз Софийка опаздывала.

Воти люстру в зале потушили... а ее нет.

«Ленинградский боевой киножурнал № 323» зажглось на экране.

И тогда – на 2-й минуте боевого киножурнала – подсел военный в полушубке.

«Хвола, выйдем!»

Зажал ей рот.

Потащил на выход.

Кто это?

Что Вам надо?!

Семка?

Семка-Пётр?!

В фойе ДК.

Семка-Пётр: «А теперь слушай внимательно и не перебивай я офицер подземной советской республики города Одесса прилетел с продовольственным самолетом за вами потому чтовы тут с голоду помрете и Софийка и ты!»

Господи и вправду Семка... Пётр... вот и шов над бровью.

Семка-Пётр: «Ты только представь что я преодолел в Одессе из немецкого кольца вышел сюда через немецкое кольцо проник иди собирайся вылетаем на рассвете...»

Господи семкин шов над бровью это когда яблоня осыпалась в саду и одноглазый Шор вручил нам грабли и велел сгребать червивые *на компот* а мы давай *сгребать* друг дружку пока Адасса (вечно заигрывалась, матрена!) не достала Семку... Петра... железными зубьями по лицу.

Семка-Пётр: «Не скрою умираю без Софийки убеди ее улететь!»

Хвола: «Но я не решаю за нее!»

Семка-Пётр: «Ты в зеркало давно себя видела и Софийка не краше 7 градусов в комнате руки ноги уже не сгибаются и продать нечего а я устрою вас при штабе диверсионных групп там котловое питание с мясом хлеб по буханке в день на человека только убеди ее лететь без тебя она не согласна!»...

И с силой сжимал руку, чтоб не дремала, и ладонью бил по щеке.

Хвола: «А статья 39? Перечеркнутая прописка?»

(Кого эвакуируют, тому перечёркивают прописку с потерей права на жилплощадь, так в народе пугают.)

Семка-Пётр: «Военнослужащим не перечеркнут! А вы считаться будете военнослужащие! Поэтому убеди ее лететь!..»

Хвола: «Хорошо, я попробую!»

Семка-Пётр: «И еще вопрос но только смотри в глаза и говори правду тебе тут Шлёма не попался ну тот сын сторожа с Тирасполя я слышал он в Ленинград за Софийкой приехал но только смотри мне в глаза!»

Шлёма с Тирасполя?.. Нет, не попался!..

Семка-Пётр: «Точно не попался?»

Точно.

А улететь я готова (после того, что мальчик ушел). Комнату запру, ключ и продкарточку (1-й категории) – соседке.

Но в тот же вечер... приходит женщина.

«Я Нора, сестра Нелли!.. Нелли *легла!*¹ Она просит вас простить ее и спрашивает, согласны ли Вы принять мальчика обратно?»

– Не согласна!..

– Не согласны?..

– Не согласна!.. За мной родственник приехал!.. улетаю завтра!..

– Но у мальчика мышечная дистрофия! Ноги не сгибаются!

¹ «легла» (в блокадное время) – ослабела до потери способности двигаться.

2.

И не одна только мышечная дистрофия...

Был у него дефект в развитии: он буквы не запоминал.

Нет, ну сами буквы, то есть *аа-бээ-вээ-гээ-дээ...* он способен был запомнить.

Но в письме он не умел соединять их в слова.

А в чтении не разделял слова одно от другого, не соединял их с изображением предметов, которые эти слова обозначали.

Апрель, 1943, Ленинград.

Директор школы, Репа М.И., вызвал Хволу на разговор:

«Пишите с ним *диктанты*, купите ему *азбуку в кубиках!* Делайте с ним все, что в ваших силах!»

Как сыну ополченца я даю ему год! Под свою ответственность!»

«Год? – ужаснулась Хвола. – А дальше?..»

Как будто и так не ясно!

Интернат для УО¹ – вот что через год.

Но в ту весну открыли Дворец пионеров в Аничковом дворце.

Кружок «*Шахматы-шашки*» вёл тренер В.Г. Мак. Сухопарый, седой, с черными, умно-язвительными глазами. Кандидат в мастера спорта СССР.

Он хорошо на Виктора влиял.

Но Виктор не знал меры. Придёт из школы, и – не обедая – за стол с шахматной позицией. Обхватит голову руками, и – нет его.

А диктанты? А азбука в кубиках?

Хвола пришла к В.Г. Маку посоветоваться.

Её пугали категорические заявления Виктора: «*Ни кем не хочу быть – только шахматистом!*»

И сама лунатическая поза его над шахматной доской пугала. А еще больше – хвастовство: «*Вот увидишь, Оль, я стану чемпионом!*»

В.Г. Мак выслушал и говорит: «Завидую!.. Будь я в молодом возрасте такой упорный – ходил бы в мастерах!.. Ну ничего! – понизил он голос. – Я из Виктора сделаю!»

– Кого сделаете, – не поняла Хвола, – из Виктора?..

– Мастера, кого еще! – и Владимир Григорьевич пожал плечами горько и мечтательно. – Мастера спорта, я имею в виду!..

– Мастера спорта СССР? – не поверила она.

– Нет, Канарских островов! – зашептал он со смехом. – Конечно, СССР!.. Он же молодой еще! И ленинградец по рождению – не то что что мы с вами!..

– А я ленинградка! – выпалила она.

– Ах, да? – поднял он бровь. – Ну в таком случае я – тоже... хм-м... ленинградец!..

И, приняв серьезный тон, пообещал:

– Не бойтесь, я с него слово возьму – чтобы в школе... только на «хорошо» и «отлично»!..

Результаты двукратного чемпиона СССР среди юношей, кандидата в мастера спорта В. Корчняка (20 лет):

¹ УО – умственно отсталые.

1951. Полуфинал 19 Первенства СССР, Ленинград (+6-4=8, 5-8 место). **1-я мастерская норма.**
1952. Четвертьфинал 20 Первенства СССР, Ленинград (9 из 15, 4-6 место). **2-я мастерская**

норма.

1952. Первенство ЦС ДСО «Наука», Одесса (+10-0=1, 1 место).

Но в школе Виктору делали поблажки: как без пяти минут мастеру спорта СССР.

Приняли в ЛГУ им. Жданова на истфак.

Чтобы с такими дефектами развития – в ЛГУ?!

Хвола отказывалась верить.

1952. Полуфинал 20 Первенства СССР, Минск (+7-3=7, 2-4 место). **Присвоено звание «Мастер спорта СССР».**

1953. Первенство города, Ленинград (+6-4=3, 4 место).

1953. Турнир памяти Чигорина, Ленинград (+8-3=4, 1 место)

Зато общительный. Каждый день приводит обедать кого-то из друзей.

«У него меньше! – указывает Хвола на тарелку друга. – Налей ему как мне!»

«Ага, разбежалась – *как тебе!*.. – думала она, игнорируя его идиотские просьбы. – Разве что Адассе налила бы *как тебе!* Разве что маме с папой – *как тебе!*.. Но всё пропало! Всё!..»

Это было весной 53-го, когда целыми сутками не покидала фабрику. Телогрейку – на пол, короткий сон между восьмипальными креплениями станка, и – снова за работу.

Бордюгов, мастер цеха, сказал, что в мае будут выдвигать на Трудового Красного Знамени...

– Кого? – не поняла. – Выдвигать?!..

– Тебя, Оля! – пояснил Бордюгов. – Тебя!..

Меня?

Самоотвод!

Самоотвод!

1953.20 Первенство СССР, Москва (+8-3=8, 4 место).

1953. Полуфинал 21 Первенства СССР, Вильнюс (+7-3=4, 3-4 место).

1953. Первенство города, Ленинград (+8-2=3, 1 место).

1953. 21 Первенство СССР, Киев (+10-3=6, 2-3 место).

В 54-м Виктора послали на турнир в Бухарест, дали суточные.

– Самоотвод! – потребовала Хвола.

Но он не послушал: с какой это стати – самоотвод?

– Тебя в лавку за керосином нельзя послать, – стала пугать его, – а тут Бухарест!.. Поэтому – самоотвод!..

– Да пойду я за керосином!.. – заверил он.

И – к дверям, обуваться.

– Стой, дурак! – остановила его. – Не надо за керосином!..

Но он получил там 1-й приз. В Бухаресте.

Привез обновки.

– Где пиджак? – спросила его через неделю.
– А-а... отдал Вальке!..
– А ботинки?..
– Петьке!..
(...Ваньке... Серержке...)

1955. Первенство города, Ленинград (+16-1=2, 1 место).
1955/56. Международный турнир, Гастингс (Англия) (+5-0=4, 1-2 место).
1956. Полуфинал первенства СССР, Тбилиси (+9-2=8, 1 место).

Но он не имел понятия о том, как жить, как зарабатывать.
Уже присвоено звание «гроссмейстер СССР» (билет номер 17), а бедствовали, как и раньше.

Немного легче стало только в июле 1957-го, когда чемпион мира Ботвинник отказался от стипендии (в связи с поступлением на работу в НИИ), и Спорткомитет СССР присудил её Виктору Корчняку (872 руб. 65 коп. в месяц).

Как подающему большие надежды.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I.

Шантал.1938. На даче.

Иосиф Стайнбарг, мой муж, открыл мне за летним обедом тайну своего происхождения.

Лучше бы он не делал этого.

Моя доверительная любовь к нему пошатнулась.

Иванос. Дачи.

Со слов Иосифа выходило, что он не Стайнбарг никакой.
Подлинный род его – кожевники В-чи с русской стороны Буга.

Вот что там было.

У В-чей подросли 2 сына. Первому предстояла армия. Это 25 лет под ружьем. Не сахар.

Но В-чи вели коммерцию (кожаные изделия) со Стайнбаргами, оптовиками с австрийского берега.

Как раз у Стайнбаргов умирает их единственный сын.

В-чи входят с ними в сговор.

Нанимают контрабандиста с лодкой, и под покровом ночи тот дважды переплывает реку.

Гробик с умершим ребенком – на русскую сторону.

Живого сына В-чей – на австрийскую.

Там Стайнбарги усыновляют его.

В дальнейшем он – отец Иосифа и мой «shver»¹ из Гусятина.

И Иосиф с ежевечерним своим лесным аппетитом налёг на зелёный борщ со сметаной. Весь день он проработал на лесопильне, и теперь был голоден.

¹ «тесть» – идиш.

– Ну и... – спросила я, похолодев.
– Что?.. А?.. – не понял Иосиф.
Он уж позабыл, о чём рассказывал.

– Чем же он болел, этот мальчик? – я убираю вазочку со сметаной со стола.
– Какой мальчик?
– Ну тот... настоящий Стайнбарг!..

Чужая лошадь пронукала за нашим штакетом.

– Уремией! – отвечал Иосиф не задумываясь.
Я поражаюсь его памяти: взрывной, точной.

И он принялся за жаркое.

Мертвящей книжностью веяло от его рассказа.
Как «Монте-Кристо», только ещё мрачнее.
Я расстроилась.

– Наверное, он долго болел, и семья успела смириться с потерей?!.. – предположила я.
– Тебе не понять, какой это бич – 25 лет в русской армии! – Иосиф стал озирать стол.
– Что ты ищешь? – спросила я. – Хлеб?.. По-моему, ты ешь один хлеб!.. Зачем тогда я варю полный обед?..
– Нет, нет, ничего! – Иосиф послушно вернул ложку в тарелку. – Это такой бич – еврейским парням служить 25 лет!.. Во-первых, они спивались там... во-вторых, забывали, что они евреи!..
– Если же этот мальчик заболел и умер внезапно, – я вернула хлебницу на стол, – то каким же бессердечием нужно обладать, чтобы в такую минуту явиться к семье и предложить им сделку?..
– Ну, мамочка, ну и что это меняет? Стайнбарги или В-чи? – привстав, он кое-как обнял меня и опустил свою маленькую голову на моё плечо.
Он был добродушный человек, мой Иосиф.

Но я почувствовала себя обманутой.

Отчего ему не приходит в голову простая мысль. Если бы не эта бессердечная подмена, shver никогда не женился бы на shviger и мой муж просто не появился бы на свет. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы додумать все остальное.

Вечером я вывезла Арье-Лейба в коляске.
От задворий летних квартир принимается гористый луг.
Над сморёнными цветами накалённо висят шмели.
Весной тут вырыли пруд.
Соседи устроили там купальню.
Нам же одни неудобства из-за комаров.

Муж нагнал нас между виноградными рогатинами.
– Кому он был нужен, этот пруд? – пожаловалась я Иосифу. – А если ещё скотину будут водить! Смотри, как Львёнок искусан! – и я приподняла марлю с полога коляски. – Да еще приходится морить его духотой!.. Повтори, что я сказала!..
– Что? – просыпается муж.
Как будто я по-китайски говорю.

– О чём ты думаешь всё время? – набрасываюсь я на него.

Хотя и так понятно.

О лесопильне, о брусоукладке, о рейсмусовых станках. О новых автобусах для концессии (Mercedes-Benz или Opel Blitz – вот дилемма).

– Что ты молчишь всё время?.. – кажется, я заплакала.

Он вздрогнул.

– Я жалею, что рассказал тебе про В-чей! – повинился он. – Думал развеселить!..

– Развеселить?!.. – повело меня. – Хорошенькое веселье: смерть ребёнка!..

Я поворачиваю коляску к дому.

Львёнок смочет язычком. Просит пить.

Я уже заметила, что во 2-й половине дня его донимает жажда.

– Ну Стайнбарги, ну В-чи!.. – повторил мой муж. – И чего это я вспомнил про них?..

– Я ищу объяснение, – вырвалось у меня, – своих несчастий!.. Теперь мне кажется, что если бы не этот подлог..

– А-а-а, вот почему я вспомнил!.. – обрадовался мой муж. – Мотька ездил давать на лапу в Бухарест – для докторской позиции в армии! Ну Мотька Брик, ты его знаешь!.. Вот я и вспомнил, ха, как папашу из рекрутов выручали!.. И это какие же у тебя несчастья, мамочка?..

Мотька Брик – дружок Иосифа. Рентгенолог с собственным немецким аппаратом. Холостяк, фронт, но деловой, практичный. Уж если он добивается докторской позиции в армии, то будьте уверены, что объявили о каких-то льготах для служивых.

Но этот Мотька...

Хм... оплошность моя.

Дело в том, что был у меня план: амбулатория на лесораме. А у этого Мотьки связи в Синдикате. Думала, с лицензией поможет (доктор как-никак... и приятель мужа).

Пустое. И не помог, и неловкость одна.

Получилось, что ходила в холостяцкую его квартиру... втайне от Иосифа.

Теперь, когда при мне упоминают имя Мотьки Брика, я должна делать какие-то особенные усилия, контролировать мышцы лица, чтобы выглядеть естественно.

А всё потому, что Иосиф и слышать не хочет про амбулаторию на лесораме.

2.

40 лет спустя. Витя Пешков.

– Константин Тронин, поэт, москвич... Виктор Пешков, творческая личность!.. Познакомьтесь!..

И Артурчик А. (мой дружок по классу) отступил на шаг – чтобы мы познакомились.

Мы пожали руки.

Но я не въехал.

Кто «творческая личность»?

Я – «творческая личность»?

Ха!

Ха-ха!

Ха-ха-ха!

11.2. 1976, Кишинев, 1-й день в школе после больницы.

«Поэт и москвич» был голубоглазый, рябенький. С поджатыми губами педанта. Сразу видно, что не умеет играть в футбол.

– Я редактирую стенгазету! Возможно, вы видели 1-й номер! – объявил он с увлечением. – Не дадите ли материал?..

Чего-чего?

Я не понял ни слова.

Но меня рассмешило, как он ресницами хлопает: растерянно, часто. Хотя выражение лица открытое, смелое.

– Можно стихи, рассказы, эссе!.. – затараторил он. – Можно всё, кроме официоза!..

«Официоз», «эссе»... – на каком это языке?

– Мы готовим второй номер! – вставил Артурчик. – Поехали ко мне после уроков?..

– Да, поедemте к Артуру! – увлечённо пригласил Тронин.

Клянусь, его знобило от увлеченья: только б я отправился к Артурчику вместе с ними.

Но как раз В.И. Тернавский подошел – трудовик в спецовочном халате и со стремянкой навесу. Развёл ее и полез под потолок.

«Давай!» – крикнул он с высоты.

Тумблёр дёрнуло со стуком!

Стало светло, как на Полюсе. Как будто кость мамонта промыли в ручье.

Это новый флюоресцент зажегся.

В лице поэта и москвича даже веснушки спрятались – от яркого света в коридоре.

Как раз дали звонок.

Учителя налетели.

«Все девятые классы... – объявили из радиорубки, – повторяю, все девятые классы... в физкабинет!.. Повторяю – все девятые классы в физкабинет!..»

И я смешался с толпой, штурмовавшей новенький физкабинет, заливавшей его высокие двери.

Видя меня, все восклицали «О-о-о-о!» и били по плечу. Хотя в больнице никто не навестил. Забыли о моем существовании. Один Артурчик не забыл: приходил каждую неделю – поулыбаться через окно.

Я стал искать его глазами – обводя взглядом все парты, пока не налетел на теплые огоньки знакомых черных глаз.

Он с боковой парты обдувал меня одуванчиковыми улыбками.

Рядом – поэт и москвич.

Тот никого ничем не обдувал, а смотрел перед собой с видом холодной учтивости. Но когда моргал, лицо делалось растерянным, белым.

В классе кидались записками. Харкали в дудки автоматических карандашей. Дрались учебниками. Ржали.

Ухитрились на заметить, как Слон вошел (директор школы!). Он был маленький, пузатый, с простонародным незлым лицом.

Видя, что никто не реагирует, он тренированно, в три поднадува, побагровел.

Стало тихо, как в колбе.

«Пожалуйста, Марк Абрамович!» – сказал Слон.
Рослый как дог, физик Марк Варшавский (Марик) выступил из-за его спины.
Поднялся на кафедру и встал у здорового «Электрона» на подвесном шпенте.
Вдавил кнопку.

Голубой экран очнулся.

Как из обморока проступила картинка: Москва, Кремль. Надпись полудужкой – «Интервидение».

– Сегодня Пленум ЦК КПСС! – объявил Слон. – Это ленинский урок! Оценки пойдут в годовые!..

И тогда брежневская золотая оправа забликовала на экране...

Брежнев осмысленно, бодро начал, но разговор его скоро расстроился, и знаменитое «чваканье» началось.

В классе (после ухода Слона) шум обратно выростал. Но Марик ничего не предпринимал. Наоборот, пользовался моментом – для какого-то своего дела.

Дело.

Спустившись с кафедры, он пошел по рядам, швыряя на столы какие-то карточки.
«Перфокарты!.. Перфокарты!» – восторженно зашептались вокруг.

Но он швырял их не на все парты, а только своим из 9 Г.

Я сидел за одной партой с Катей Ивановой и Леной Кисляковой (9 Г). Сидел и ждал, что будет.

Вот он поравнялся с нашей партией.

Я сидел, не поднимая головы.

По факту я тоже из 9 Г, но троечник. Ивдобавок проболел всю 2-ю четверть.

И вот сию я с полутопленной в плечах головой, а эта сука Марик темнеет над душой. Раскачивается на шагобучих своих платформах – с пятки на носок, с носка на пятку.

Не знаю, сколько времени прошло, пока он разродился.

Кинул «перфокарты» Ивановой и Кисляковой.

И двинул дальше.

Уф-ф. Точно каменная плита с головы съехала.

«Идентификатор есть идентификатор-буква или идентификатор цифра!» – прочитала Кислякова по перфокарте.

И они с Катей Ивановой встухли от смеха.

Они и на меня посмотрели с весельем, но сообразили, что я без перфокарты.

3.

Без перфокарты.

9 «Г» был торпеда, наведённая на цель: два десятка свирепых еврейских интеллектов, на лету, как лагерные овчарки, хватавшие мясные куски из «Задач» Балаша.

Олега Булгака и Вовку Чуприна для витрины держали там.

Ну и мы с Артурчиком.

Про Артурчика не знаю, а меня в 9 «Г» мама запихнула.

Она благоговела перед Марком. Твердила, что он физик-ас, со сквозной раной 5-го пункта. И что ему диссертацию зарубили.

Затем и заложен был 9 Г, чтоб реваншироваться по полной: выкормить еврейских волчков, аки дёрнутся за флажки процентной нормы, аки оторвутся, покажут класс...

Но я помню 1 сентября этого года: ещё газировка лета щиплет в носу и непоредевшие волны крон штормят в Пушкинском парке. Ещё только 1 сентября, и во всех классах праздник первой встречи после каникул...

Но не в 9 Г.

В 9 «Г» учёба с первой минуты.

«Тема урока: Электромагнитная индукция... – пробубнилсука Марк и заскрег мелом по доске. – $I = e_i/R$, где R – сопротивление контура...»

И как плакучие ивы над Комсомольским озером, так 9 «Г» дружно склонился над новыми тетрадками.

В том числе и я склонился.

Шаря кончиками веток по воде.

Но нашарил одну сухую землю.

Доска физкабинета была из закалённого шлифованного стекла. И когда Марк водил по ней мелом, невыразимая свербота пробирала меня до кишок.

Я думаю, что доска должна быть из дресвы в кожевике.

Чтобы, если пройтись влажной губкой, становилась жива, черна.

Чтобы захотелось вскопать, разрыхлить. Семечко посадить.

Но физкабинет был страшен и сух, и доска в нём стеклянна и неодошевлённа. Вчерашние и позавчерашние формулы коченели на ней перепалённо и колчко. Сколь угодно пугливо и верно мог я пересаживать их в тетрадку. Не выросло во мне это знание. Не выросло, хоть уср-сь.

Как объяснивец, Марк был нарочито плох.

Он объяснял так плохо, глухо, сквозь зубы, настолько в сторону от моих мозгов, что вытряси из них весь балласт, весь футбол и всех девчонок, засорявших их, и то не поможет.

Думаю, что цель его была селекция нас.

А не разбор с нами физич-го порядка во Вселенной.

Электромагнитная индукция должна была обитать в нас как прирожденное знание.

Иначе нам не по пути, chao!

Ну и куда мне деваться – если не по пути?!

После Пленума всех распустили по домам.

Я думал, мы к Артурчику А., как договаривались. Готовить 2-й номер.

Но поэт и москвич объявил, что планы изменились.

«В Дом печати!» – объявил он.

В Дом печати? – подумал я. – А какого х.?!

Но – промолчал.

Заинтригованный, поперся с ними.

Мы двинули по Киевской по левой стороне. Мимо бассейна Политеха, библиотеки Крупской.

Я слегка стеснялся идти рядом с ним.

Потому что он был в детской по фасону паре, короткой для него.

И я усыкался с того, как он идет.
Не идет, а как будто переступает через что-то.
Как мальчик-паж невидимого короля.
Или невидимой королевы.

4.

Шантал. 1938.

Иосиф с друзьями каждый вечер играют в рокер. Собираются, ужинают – всякий раз у кого-то другого.

Эти гардеробы, эта роскошь столов – неопишутемы.

Но они молниеносно расправляются с едой и – за рокер.

За картами повисает такая тишина, что слышно, как от волнения я перекатываю комок в горле.
Всю прошлую осень, вечер за вечером, Иосиф объяснял мне рокер, но я не ухватила.

Иосиф играет с большим добродушием, чего не скажешь о его друзьях.

У них только 1-я сдача мирная.

После 1-й же сдачи – повышенные тона, взаимные колкости.

Но дурнее всех ведёт себя Мотыка Брик.

Доктор-доктор, а манеры деревенские.

При всех он избавляется от обуви и устраивает ступню в одном шелковом носке на краешке соседнего стула.

И я боюсь, что он нарушит слово и расскажет Иосифу о моём визите.

По правде, я ненавижу эти сборища.

Март 1938 года. Оргеев.

Но в минувший понедельник м-те Тыш явилась к нам чуть свет – с известием, что в субботу играют у нас.

Как назло Иосиф с вечера уехал на плотину, и мне пришлось выйти на звонок.

М-те Тыш была в вязаной бордовой паре с нашивными карманами.

Я пригляделась: в каждом из четырех карманов торчало по колоде карт.

От одного вида её карманов с картами меня разобрал смех.

Было то утра.

Пискнув «Verog, scusama!»¹, я ушла в другую комнату и, спрятавшись за пианино, хохотала до колик.

М-те Тыш удалилась в обиде и наговорила своему мужу, к-й не преминул Иосифу донести.

Иосиф был огорчен. Впервые мы не разговаривали весь день.

Но он просил принять этих людей в субботу, и я позвала маму помочь мне приготовить рыбу.

Мы с мамой готовились полных 2 дня, а они отужинали в 5 минут и повалили из-за стола – в кабинет за карты.

¹ «Ради бога, извините меня!» – рум.

Я вхожу, спрашиваю – подавать ли мороженое, ликёр.
Не слышат.
Только папиросный дым до потолка.

Я обратила внимание на франтоватого молодого человека, не участвовавшего в игре. Он был новым лицом в компании. Среди безобразного шума в кабинете он с тихой улыбкой стоял над нашим Bluthner и пробовал гармонии.

Оказалось, это племянник доктора Мотьки.
Мотька для протекции его привёл – просить о конторском месте в Ниспоренах.
Я – против!..

И как же быстро все узнали о нашей покупке в Ниспоренах.
Ах, Иосиф, Иосиф. И без того все в городе считают, что мы процветаем...

5.

Витя Пешков. 1976.

Милицционер в Доме печати спросил, к кому мы.
Поэт и москвич ответил, что в «Молодежку» за гонораром.

Вошли в лифт и всплыли на 5-м этаже.

Коридор был ускользающе длинный.
Напольный ковер такой мягкий, что идешь по нему, и из шагов пружинка выпадает.
Входим в какой-то кабинет, утопленный в макулатуре: папки, свитки, газетные кипы...
Из-за такого обилия бумаги я не запомнил, кто там находился.

Поэту и москвичу выдали там квитанцию: 9 руб. 05 коп. – за стихи.
Говоря с ним при этом на вы.
Усталым тоном равенства.

Со своей стороны он держал себя почтительно и... с вызовом. Как-то это выходило у него!
Равно как и сочетание взволнованной быстрой речи с холодным дерзким выражением лица.

Я не верил, что стихи его напечатали в газете, но он развернул полосу передо мной.
«Константин Тронин, девятиклассник».
Вот это да!
Невероятно!

С квитанцией мы побежали на Почтамт.
Февраль 1976, Главпочтамт.
Но без паспорта ему не выдали денег, а где он паспорт возьмет – в 15 лет.
Тогда что он делает! Разворачивает газету перед кассой. Там, где «Константин Тронин, девятиклассник».

Но тётка за стеклом не поверила, что это его стихи.

Тогда он стал декламировать вслух. Не глядя в газету.
«Язык хранит февральскую хурму... которая лежала к моему... пятнадцатому возле обогрева...»

Он читал так громко, что в зале все выставились на нас.
Я горел со стыда, а Артурчик улыбался, но я видел, что и он напуган.
А вот Тронину хоть бы хны: знай себе декламирует. Про какую-то хурму.

Но от меня не ускользнула перемена с ним.

Он стал строгий, как воинское каре.

Ни веснушек, ни растерянного морганья.

И как будто гранулу марганцовки бросили в чашку с водой – так бесцветный зал Почтамта реактивно окрасился в тронинский оружейный голос.

– Ну хоть комсомольский билет есть? – спросила тетка в окошке кассы, но Тронин не состоял в комсомоле.

– Ну тогда приходи с кем-то из взрослых! – велела она.

Мы распрощались у «Военной книги», и они понеслись через Ленина: стилижка Артурчик в румынских клёшах и оранжевых носках и... и... и невероятный новый друг мой, «Константин Тронин, девятиклассник».

Костюмные брючки, из которых он вырос, делали его фигуру какой-то несерьезной, подпрыгисто-воздушной, точно он из высокой вазы свешивается. Но выдавали при этом неожиданно взрослому, нефутбольную мускулатуру ног.

Да и не подпрыгивал он совсем.

Вдруг, уже с той стороны перекрестка, возле каменных львов Центробанка, он обернулся и что-то прокричал. Лицо мое загорелось – точно застигнутое врасплох.

«Жду материал!» – донеслось до меня через перекресток.

Я сделал вид, что не расслышал.

Ручкой помахал и – привет.

Показал спину.

Но лицо мое горело. Как если б другое лицо по нему росло.

И как новожарый дух бабы Сониных оладий расплзается из кухни по квартире... – так лакомое будущее приоткрылось неожиданно.

6.

Шантал.

И без того все в городе считают, что мы процветаем.

Ненавижу эти разговоры. Иосиф трудится за семерых: то в лесу, то в гараже.

Попробуйте как он!

Но он купил автомобиль Auburn у немецкого посланника – с кожаными сиденьями и откидной крышей. У самого префекта нет такого Auburn. И у самого военного коменданта нету. Разумеется, это колет глаза.

И еще я открыла, что Иосиф не осторожен. Не держит язык за зубами. Вот что сегодня было. Подзывает он Моку-денщика и велит: «На тебе 3 лей, пойдя на угол и купи то, чего в природе нет!» И тогда наш Мока-дурак, явно в сговоре с ним, удаляется в лавку и приносит «Адеверул ши Дрепате» («Правда и справедливость» – румынская газета). Все смеются.

Не хватало только, чтобы на нас донесли.

И как нарочно, ему в картах везёт. Хотя он не азартен. Но если бы он видел, как другие злятся. Особенно М-ше Тыш. Другие хотя бы контролируют себя. А эта дама... Сегодня она вдруг поднимает глаза от карт, ищет меня взглядом и произносит: «Эта ваша спальня (из белого, между прочим, бука!) не стоит тех денег, которые вы за нее отдали!»

Ха!

Ха-ха!..

Не смешно.

Я боюсь, что она (они все!) пожелает взглянуть на Львёнка.

Я поднялась и вышла в кухню.

В кухне.

Мама отмывала тарелки в тазике, а племянник доктора Мотьки вытирал их полотенцем.

Он был в кухонном фартуке поверх шикарной тройки. Такой же кавалер-шик, как и его дядя. Вот, даже модные перчатки выставлены в кармане – пальцами вверх – точь-в-точь на Мотькин манер.

Я стала укладывать вымытые приборы на полотенце.

В работе я немного успокоилась.

Наверное, мне следует поговорить с Иосифом.

Обратить его внимание на:

1. автомобиль AUBIGN, колющий глаза всем нашим завистникам,
2. «Правду и Справедливость»,
3. частые выигрыши в карты.

...

...

10. И я потребую, наконец, чтоб мы нашли хорошего педиатра. Потому что Львёнок все время какой-то сонный. И так часто просит пить, будто у него д...т.

Видимо, я выпала из реальности – от всех этих мыслей.

Слышу, мама смеется. Давно я не слыхала такого ее звонкого смеха.

Я прислушалась.

Племянник Мотьки Брика рассказывал о своих попутчиках в поезде. О том, как у одного шляпу дуло ветром. А у второго – горку табака из трубки – в лицо первому.

Я тоже посмеялась. Мне даже почудилось, что из сегодняшнего дня я перенеслась в детство, в Comedy Brody, и смотрю там ленту с уморительным Charlo.

Мы сняли лампу из-под абажура, и племянник Мотьки стал мыть закопченные стекла. Движения его были ловкие, разговор неглупый, лишенный яда. До недавнего времени он учился на механическом ф-те в Берлине, но у отца случился удар. Пришлось ему оставить курс, и вот теперь он позицию ищет.

И все равно с ним весело. Как летними ночами в Comedy Brody – когда снят потолок и видны беспокойные звезды, запутавшиеся в виноградном выюне.

Он умел расположить мою маму: она стала словоохотлива. Лицо ее разгладилось.

Заговорили про атмосферу в стране.

Мама сказала: ну вот! конечно! деловые люди бегут в Америку, в Канаду, а *schlimazles*¹ вроде нашей семейки остаются!

В этом вся мама: в принижении нас и в возвеличивании чужих.

– Взять моего дядю! – поделилась она.

(Ага, а вот и возвеличивание чужих!)

– Дядя шлет нам 10 долларов из Чикаго, и ещё просит извинения в письме: «Извините, что так скромно, но я всего лишь небогатый портной, далеко не инженер!»...

– Ничего себе скромно! – воскликнул племянник Мотьки. – Да ведь 10 долларов это 1000 лей по королевскому курсу!.. если вы не против!..

– Ничуть не против! – от удовольствия мама часто заморгала. – Да у нас тут целая семья может прожить на 1000 лей, если умно вести хозяйство!..

И мы все замолчали, обдумывая каждый на свой лад, что же это такое: умное ведение хозяйства. Это со-молчание еще больше сблизило нас.

Вдобавок и я, и мама... нас обеих очаровали манеры Мотькиного племянника («если вы не против!»). Как будто 10 долларов из Чикаго будут равняться 1000 лей только с согласия моей мамы.

– Но вот если я уеду, – заговорил он своим мягким голосом, – то все-таки в Палестину, а не в Чикаго! Но только тс-с-с! – и он покосился на дверь. – Откроюсь перед вами, я правый!.. Я куда правее самого Жаботинского!..

Нам польстило его доверие. Хотя мы и не разбираемся в политике.

– Родственник вернулся из Палестины, – возразила мама, – говорит «сидите тут, в Палестине нет для вас работы, а только мотыгами по камням!»...

И не успела я задуматься, о каком родственнике речь, как мама пояснила.

– Это Шор одноглазый, помнишь? – обратилась она ко мне. – Это его слова!.. Не говоря уж о том, какой там раскалённый климат!..

– Дело не в мотыгах! – возразила я. – А в том, что дурак он, этот Шор! Вызвался передать папины тетрадки в Палестину...

– Он говорит, ваши дети белоручки для Палестины! – перебила мама (стыдясь папиных тетрадок).

На что племянник Мотьки отреагировал с протестом.

– Ну какие же мы белоручки?.. Наоборот, мы готовим себя к физическому труду!..

И посмотрел на меня.

Мне показалось, что он смотрит на меня как на сообщницу.

– А вот вы!.. Куда бы вы уехали? – обратился он ко мне.

И еще ближе подвинулся глазами.

– Туда, где Хвола! – отвечала я не раздумывая.

(Странно, я стояла возле гладильного стола, а он возле посудного шкафа, но глаза его были почти неприлично близки.)

¹ *schlimazl* (идиш) – неудачник, лузер.

– Хвола это племянница из Резены! – пояснила мама. – Она уехала..
И мама заколебалась, называть или не называть, куда Хвола уехала.
– ..туда! – понизила она голос.

– О-о-о! – протянул он восхищенно.

– Да! – подтвердила мама с важностью и печалью.
И, по привычке своей, принялась хвалить чужих.
– Ну, она энергичная, не то что мы!.. И сделала там карьеру наворняка!..
И мы втроем снова замолчали.

– А вот плавали мы недавно по Днестру, – племянник Мотьки первый нарушил безмолвие, – возле Резены этим летом. Заплыли на остров, где крабы ловятся!.. И вдруг слышим... – округлил он глаза, – альты, виолончели, трубы!.. Литавры, контрабасы!.. Скрипок две дюжины, не меньше!.. На советской стороне!..

(«Плавали мы недавно по Днестру» – ну и же кто это «мы»? – подумала я.)

– И я подумал: у страны, где большие симфонические составы музицируют не для кучки снобов в музыкальном салоне, а для всего живого на открытом берегу реки... – право, у такой страны великое будущее!..

Голос его был не высокий, не низкий, не грубый, не слащавый, а именно такой голос, каким и можно трезвому неглупому человеку произнести про великое будущее.

– Хвола там не меньше инженера!.. – вздохнула мама. – Там ценят энергичных и молодых!..

– И все таки, – вздохнул он ответно, – не наше с вами дело: строить коммунизм где-нибудь в Тамбове! Или в Костроме!.. Пусть русский народ сам строит для себя!..

Ни я, ни мама не имели понятия, что такое Тамбов и Кострома, и впервые пожалели об этом.

– А наше с вами дело, – заключил он, – заселять оба берега реки Иордан!.. Я подчеркиваю: о-о-оба!..

И повел руками – крылообразно, вширь.

Его звали Фогл.
Миха Фогл.

Он был интересный.
До сих пор мне не попадались такие.

Но, по-моему, он всё-таки преувеличенно заботился о своей внешности.

И тогда в кухню Иосиф вошел.
– Гости хотят посмотреть на Львенка!.. – объявил он добродушно.

7.

Виктор Пешков. 1976.

...Костя Тронин позвал на день рожденья – на завтра, в 5.

Примчавшись домой, я больше часа ругался с мамой – какой подарок подарить.

Мы уселись у подбуфетника в спальне.

Наконец маме надоело спорить.

Она выбрала книгу «Дети капитана Гранта» (молдавск. издание) и бумажный свёрток с носками.

Носки – Тронину?..

Я чуть не поперхнулся.

Но мама уже приняла решение.

– Да – носки!.. Не понимаю, чем тебе не нравится!..

– Костя не такой!.. – завопил я.

– Не такой?.. А какой?.. – удивилась она. – Он что, без носков ходит, этот Костя?..

И сама засмеялась.

Ух, эта мама! Босая и разволóсая, в халате, не скрывавшем голые колени, она расселась на ковре и смеялась в голос. Смешил её мой вид: рот, хватающий воздух, глаза, выпученные в испуге...

Баба Соня вошла, и я чуть с кулаками на неё не бросился – за осуждающее выражение лица. Вот, еще даже не спросила, из-за чего спор, а уже осуждает.

– «Костя не такой!» – поделилась с ней мама.

И раскрыла свёрток с носками у себя на коленях.

– Чистый хлопок!.. – объявила она, рассмотрев бирку.

И издала поцелуйный томный звук.

Носки были сшиты за головы – как недавно выловленные морские бычки.

– Мама этого мальчика только спасибо скажет! – произнесла баба Соня, пощупав их.

И присела на двупалку.

Глаза её были полужакрыты.

– И Жюль Верн к носкам! – добавила мама, обращаясь к бабушке. – Как это так: чтобы в юности – и Жюль Верна не прочитать!..

– В наше время, – с новой силой возопил я, – никто Жюль Верна не читает!.. Никто!..

– Это что еще за ваше время! – обиделась мама. – Новости дня!.. Не воображай тут о себе!.. Наше время!..

Вот так всегда у нее – от смеха до обиды один шаг.

– А кто он, этот мальчик? – поморщилась баба Соня.

И, нисколько не интересуясь ответом, поменяла тему:

– Надюша, достань аппарат!..

«Достань аппарат» означало, что бабе Соне будут измерять давление. Процедура долгая, неподвижная.

Я вскочил с пола и понёсся вон из спальни.

– И прекрати тут вопить! – полетело мне в спину. – Наше время!.. Ха-ха!.. А вот куда не пойдёшь!.. Ни на какой день рождения!.. Наше время!..

Дверки подбуфетника захлопнулись со стуком.

Через минуты я ворвался с «Молодежкой».

Развернул с треском!

Нате!

Мама, хотя и стояла на табуретке возле шкафа, оглянулась на газетный треск и даже перестала шарить аппарат под потолком.

– Вот! – закричал я победоносно.

– Чьи это стихи?.. – баба Соня полезла в карман халата за очками.

– Костины! – заорал я. – Это Кости Тронина стихи!..

– Никуда не пойдёшь! – подтвердила мама с табуретки.

Но уже не так уверенно.

Не так сердито.

8.

День рождения.

Костя Тронин встречал меня на остановке.

Выйдя из троллейбуса, я тотчас отдал ему сверток с подарком.

– Ой, как интересно!.. – Костя чуть не подсел под тяжестью его. – А что внутри?..

Мы перебежали проспект Молодежи.

Тронин был в одной рубашке – в феврале, в темноте.

1977, 13 февраля, вечер.

Приходим к решетке возле «Филателии».

Тронин как лучик проскользнул между прутьями – во двор.

А мне пальто мешало.

– Сними пальто!.. – посоветовал он с той стороны.

Но я уже полез в решетку – в пальто.

И это было трудно.

Тогда, не имея терпения, он развернул сверток.

– Что это?.. – ахнул он.

– Письменный прибор! – пропыхтел я, вжимаясь в металлические прутья решетки.

– Вот спасибо! – сказал Костя в восхищении. – Откуда у тебя такой?..

Я всем телом ерзал в решетке, а Костя подумал, что я вопрос не расслышал.

– Ух ты!.. – от восторга у него голос перехватило. – Где достал?!..

Прибор был в самом деле хорош: плита из самородка, фигурное стилё в патроне.

– Это... де... душкин! – сорвалось у меня (4 года это слово не произносил).

– А не жалко ему?..

– Он умер!..

В этот момент я понял, что застреваю в решетке, и меня пот прошиб.

– Ах, извини! – забормотал Тронин. – Сочувствую!..

И погладил прибор.

Кажется, он не замечал моего затруднения в решётке.

Между тем, застрявши в железных прутьях, я стал ему антипод.

Антипод каждой частью тела.

А не только этим проклятым пальто против его легкой рубашки.

– Да сними же пальто, Витя! – поднял он наконец глаза от прибора.

– Я... не снимаю пальто... на улице! – обреченно отказался я.

И заерзал по-новой.

– Слушай, а дедушка случайно не писатель?.. – осенило его. – Судя по прибору!..

От повторного упоминания о де... я рванулся, вздыгнул костями.

Пуговицы с пальто закапали...

Свободен!..

Карман пальто свисал, отпорот...

– Про дедушку... – сказал я слабым голосом, ощупывая при этом свои грудную клетку, ребра, – я говорить не буду! И не тяни за язык!..

– Понял!.. Прости!..

Кое-как затянув оберточную бумагу на приборе, он вернулся к решетке и легко, как рыбка, проскользнул между прутьями – ко мне.

Мы потопали в обход.

Обход был долгий, целая 5-этажка в десяток подъездов.

Вот и Тронин, до того полулетевший в одной рубашечке, притих. Разделил мою мрачную тишину.

Теперь он шел какими-то скованными тычками и, обхватив себя руками, дрожал так, будто в телеге тряся.

Февраль пробрал его, наконец.

Но его беззащитное самообъятие казалось мне жестом огромной силы. В таком положении он мог пробиться во всякой точке видимого и невидимого.

А что же антипод его (ну то есть я)?..

А антипод шел рядом в обход 5-этажки и не понимал, что это он такое начудил. Мол, не снимает он пальто на улице?!..

Ерунда! Ведь 1000 раз снимал.

9.

Шантал.

И неприятности не заставили себя ждать.

В марте еще привалило снегу. То солнце, то морозная пенка. На деревьях ледовые сваи в человеческий рост.

Наши лесники напали на крестьян из Сэрэтэн с телегами нашего хвороста. Их связали и повезли бить в жандармерию, когда Иосиф на своей легкой лошадке встал на пути и велел отпустить – в обмен на святую клятву.

Наивный человек: верит клятвам...

Но в Добрушском лесу два крестьянина из Суслен были убиты упавшими деревьями. А в Гиржавских оврагах нашли замерзшую монашенку.

И тогда Октавиан Попа, прокурор, поклялся, что арестует моего мужа.

Знаю, что им двигает. Месть за Ниспорены, за то, что мой муж не вписал его в реестр.

...

Тогда мой муж повез подарки в Кишинев: птицу, крупы, муку, масло.
Но это не избавило его от неприятностей.
Март 1939 года, Оргеев

Прибыли контролеры лесного хозяйства – из Ясс.

Моего мужа обвинили в обманном подсчете возраста деревьев, дали повестку в суд. А редактор уездной Adevarul поместил заметку на первой полосе – о том, что лесопромышленники-евреи изводят румынский лес: заносят молодые деревья в расчет перестойных и вырубают.

Мой муж заплатил штраф (я не решаюсь назвать сумму).

От волнений у него голова стала кружиться по утрам. И левая нога – неметь.

Я не могла вынести этого.

«Откажемся от аренды! – вот рефрен всех моих разговоров. – Пусть Добружский монастырь сам думает, кому всучить в аренду свой проклятый лес. И Гиржавский монастырь пусть думает... Нам-то с тобой хватит на простую жизнь!»

– А пчёлы? – возразил Иосиф. – Как же пчёлы твоего отца?.. Кто потерпит их без меня – в монастырском лесу?!

– Пчелы?.. – в первую минуту я не поняла, о чем он говорит. – Ах, пчелы!.. Какой абсурд!..

...

– Забудь про пчёл! – возмутилась я. – Это только ширма для папы! Мол, и он при деле! Тогда как одни тетрадки интересуют его!..

Ю.

Но Иосиф упрям.

Взять наше имение в Ниспоренах! Уж на что я не *politolog*, и то кумекаю: если русские помещики за копейки землю отдают и один за другим сматывают удочки из страны, значит что-то будет.

Почему Иосифа не беспокоит их побег?

Они почти не торгуются о цене, а мой муж и рад.

«Какой там пруд! – распелся он. – Какие посевы!»

Возомнил о себе!

Твержу ему: «Не покупай!.. Не твоё!.. А если покупаешь, то хотя бы ничего там не меняй!.. Оставь все как есть!..».

А он: «Я только мотор для мельницы куплю!.. И новую запруду выкопаю!»

Я: «Не смей, не смей!.. Не следует еврею торговать румынским хлебом!..»

Он (смеясь): «Ну, мамочка, но каким же тогда хлебом я буду торговать?! Уж не марсианским ли?..»

Ох, не веселит меня этот юмор.

«Помирись с Октавианом Попа! – говорю я, устав от споров. – Он румын и прокурор!.. Пусть эта дурацкая мельница будет записана на нём!»

Но мой муж упрям. Он платит легиону хабарников¹ в Кишиневе, но из какого-то непонятого принципа не ищет подход к Октавиану Попа.

Сколько слёз я пролила!

И что еще меня ранит... слепота его.

Он уверен в том, что у нас (я говорю о наших с ним отношениях) всё идеально.

Хотя я в слезах каждый день.

¹ хабарники – госчиновники-мздоимцы.

Но он успокаивает себя: мол, это апрельская поездка в Кишинёв расстроила мои нервы.
Да, отчасти.

Это когда мы ездили в р diatrie в Кишинев и у Львёнка нашли ацидоз. И зачем-то я договорилась с Любой Пейко о встрече возле Пушкина (хотя что нас связывает? 2 года фельшерского училища? Но я не в этой области давно! Просто она имела виды на жирного Унгара, а он ее отверг).

И вот, потянула я свою семью в Городской парк. Из-за чувства вины перед Любой Пейко.
12 марта 1938, Кишинев.

А весна в этом году холодная, в ветрах. Рукава талой воды в аллеях. Не удивительно, что промочили ноги.

И вот – стоим возле Пушкина и хлюпаем носами. Ждем Любу.

«Мороз и солнце, день чудесный...» – прочитала я Иосифу.

Надо же, помню до сих пор (от папы, наверное)!..

Но теплее не стало.

И Люба Пейко так и не соблаговолила прийти.

«Домой, мамочка!» – взмолился Иосиф.

И мы с колясочкой побежали к трамвайной змейке.

Трамвай ехал без запинки, но потом вдруг встал на Соборной площади.

Я посмотрела в окно.

Там были полчища птиц в небе.

Всю жизнь я наблюдаю птиц с Шуркиной голубятни. И никогда не видела, чтобы птицы летали так взбуждено, так дурно и совсем не считаясь одна с другой...

«Смотри, смотри!» – Иосиф, чем-то сильно взволнованный, взял меня за локоть.

Какие-то узкие трубочки в воздухе...

Как ковры, свернутые в рулон... буквально в десяти шагах от Триумфальной Арки...

И пока я всматривалась, холодея...

...

– Железнодорожники! – сказал Иосиф уже другим голосом: нимало не взволнованным, даже не удивленным. Как будто так и надо – чтоб повешенные железнодорожники висели возле Арки. Это он успокоить меня хотел.

Но – поздно.

Видимо, я сильно побледнела.

Иосиф потребовал выпустить нас из трамвая.

Другая оплошность!

Мы на улице. В 100 шагах от помоста с висельниками.

И какие-то прохожие закричали в нашу сторону:

«Всё из-за вас, жидан пэтурошь¹!»

Я остановилась.

¹ грязные евреи – рум..

Кто – жидан пэтурош?
Годовалый Львёнок – жидан пэтурош?..
Бешенство разрывало меня.
Мой Арье-Лейб с подозрением на д-т. – жидан пэтурош?..

А впрочем, причина моих слез не только в этом.

Настоящая причина моих слез в том, что... 12 декабря с.г... Миха Фогл... объяснился мне... в л-и.
Это случилось в городе Оргеев. В центре уезда. На ступеньках между 1-м и 2-м этажами в
Большой Синагоге.

II.

День рождения Кости Тронина.

– Витя, не разувайтесь, у нас нет культа вымытых полов!.. Меня зовут... *фиалуоу*.

Этими невероятными словами встретила меня Костина мама в их прихожей.

Да, именно так я и расслышал – *фиалуоу*.

Мы стояли в их длинной узкой прихожей, и я не понимал, что такое *культ*, что такое *вымытых* и что такое *полов*...

К счастью, позвонили в дверь.

Еще гости.

Это был АртурчикА. с подарочным пакетом.

Но он был в таких завазганных ботах, что я молчу! Вся грязь Малой Малины приволок. И что же – всё равно *культ*?.. *культ*... каких-то там полов?..

13 февраля 1977, Кишинев.

– Шютц! Мама, Шютц! – возопил Костя, разобрав Артурчиков пакет (внутри были конверты с пластинками).

Шютц... Фиалуоу... Культ вымытых полов... Куда я попал?!

– Аскетичный немец Шютц и итальянская сладкая опера – казалось бы, что общего? – *фиалуоу* с благосклонностью рассмотрела конверты. – Думаете, ничего?..

И обвела нас увлеченным взглядом.

– Мама, *что?* – умоляющим от нетерпения голосом спросил Костя. – *Что* у них общего, мам?.. Не томи!..

Я думал, он прикальвается.

Но он весь натянулся как струна, и только левая коленка играла – вперед-назад, вперед-назад.

– Либретто шютцевской «Дафны», – отчеканила фиалуоу, все еще держа нас в коридоре, – создано в полном соответствии с канонами итальянской оперы!.. Парадокс, не так ли, *кэнуэр!*..

Господи, а это еще кто?

Та, к кому она обратилась, была маленькой и чрезвычайно приличного вида старушкой в очках с выпуклыми линзами. Черные глаза ее в этих линзах казались идеально-круглыми, детскими. Я и не заметил, откуда она возникла.

Стали заводить проигрыватель, чтобы немедленно слушать «Дафну».

Кьюэр... Дафна... Караул!..

Но тогда Костя хлопнул себя по лбу.

– Забыл!.. Владик Сельский просил его позвать!..

И понёсся к двери.

Сельский Владик? Селó?

Вот, ёлки.

Последний, кого я видеть хотел.

Но я посмотрел Косте вслед.

Он улетал, уносился, раздражаемый саднящим своим интересом ко всем и вся, но и побег его, нетерпеливый, страстный, оставался этикетно-пажеским, манерным.

– И Саул во пророках! – услышал я голос *фиалуу*.

Она с озорным выраженьем глядела на входную дверь, только что закрывшуюся за Костей.

– Представьте, Владик Сельский, наш сосед, – продолжала она, – опубликовал критическое *эссе* в «Молодёжке»! Под влиянием Кости, надо полагать!..

Как всегда, я ни слова не понял. Я только понял, что Селó – их сосед. И что он тоже будет на дне рождения.

Это плохо.

Потому что папаша Селá – поэт, знавший моего *де*..

И теперь Селó парафинит меня на *эту* тему.

Буквально ни одного случая не упускает.

12.

– Да-да, я слыхала, – поддержала *кьюэр*, – что сын Радия Сельского опубликовал *эссе*! Что-то про *обэриутов*! Думаю, это наследственное! Ведь Радий Сельский очень способный поэт!..

Голос, которым разговаривала *кьюэр*, тоже был особенный.

Как тент на шестах не касается земли, так этот голос не касался слов, с которыми имел дело.

– Наследственное? – засмеялась *фиалуу*. – Как бы не так!.. Вот вам бытовая сценка. Третьего дня встретились мы возле мусорных баков во дворе, Радий Сельский и я, с ведерками своими отходим. По-соседски так, запросто. И вот, в благовонном том месте, Радий Алексанч счел нужным отметить, что отпрыск был тихий болван... до знакомства с Костей!..

(*обэриуты!.. тихий болван!.. ведерки отхожие!..* Час от часу не легче!)

– А вот Вы, Витя (*атас! она повернулась ко мне!*)... Вы не боитесь, что будете инфицированы Костей? По-моему, это всеобщий удел!..

– Э-э-э... – забулькало у меня в горле. – Э-э-э-э...

– Вот за Артура я спокойна! – глаза ее переехали на Артурчика, и я перевел дух. – Артур дитя природы! – пояснила она для *кьюэр*. – Артур, можно я поведаю о том, как Вы появились у нас в 11-м часу ночи и попросили малосольный огурец?..

Голос ее был весел, но мне показалось, что она досадует на Артурчика за то, что он «*дитя природы*» и «не инфицирован» Костей.

– Малосольный огурец? – прокомментировала *кьюэр* своим насморочно-румынским голоском. – По-моему, это бесподобно!.. Чем не свободное проявление личности!..

– Вот-вот! – подхватила *фиалуу*. – Кто бы мог предположить, что и в южной провинции, ночью, к нам заявится товарищ сына и попросит... ха... малосольный огурец!..

Лицо ее было строгое, ясное. Высокое, как скворечник.

– Значит, не всё потеряно, и нечего тосковать по Москве!.. – еще добавила она.

Как раз голоса в прихожей зардели.

Быстрым шагом Костя вошел (отрада глаз).

Но за ним – утиной походочкой разжиревшего Чарли Чаплина – топал мой враг Селó.

13.

Расселись вокруг овального стола.
В стереоколонках запиликало.

– Шютц это «Орфей и Эвридика» прежде всего... даже прежде «Дафны»! – заявила *кьююэр*. – В нём не обнаружить сухой католической корки!..

– Шютц древний германец и язычник! – поправила *фиалуоу*. – Хотя и считал себя протестантом!.. С хлопком она открыла бутылку.

Селó с обычным своим – пакостным и смущенным – видом сидел напротив меня.

– Ну, сын... – с заблестевшими глазами *фиалуоу* стала разливать шипучку по бокалам.

– Я надеюсь, я не обидела никого за этим столом?.. – спохватилась *кьююэр*, – тем, что заявила о сухой католической корке!.. Может, тут за столом присутствуют... э-э... завязтые католики? – и уставилась (*атас!*) на меня.

– Поздравим сына! – перебила *фиалуоу* и подняла свой фужер.

С нарочитой, комической поспешностью Селó тоже поднял свой.

Губы его шевельнулись.

Он точно собирался добавить несколько слов к *поздравим сына* – и передумал.

– Милый сын, – заговорила *фиалуоу*, – я хочу пожелать, чтобы ты развивался! И рос! Принимал жизнь и проникался жизнью...

– Расти себе пышные брыжи и фижмы! – откликнулся Костя.

Шесть стаканов сцвангнулись.

– Вбирай облака и овраги! – продолжала *фиалуоу* под перезвон хрустальных орудий. – Воистину, будь счастлив, милый!..

Лицо ее было ясное, сияющее.

– На месте фигура замри! – попросил Костя. – Не отводите фужеры!..

Мы придержали бокалы в чоке.

Слушали дозвон.

Селó не смотрел в мою сторону.

– И ещё я желаю, чтобы тебе пошла на пользу вынужденная и... – *фиалуоу* выдержала паузу, – временная разлука с Москвой!..

И первая отвела свой стакан из общей фигуры.

Все пригубили шипучки.

– Когда некий смуглокожий юноша, выпускник Царскосельского лицея, покидал столицу для бессарабской глуши, – продолжала она голосом, повлажневшим от вина, – он был старше тебя на целых семь лет! Поверь, я принимала это в расчёт!.. Итак, за Костю!.. Ура!..

Сияя, она снова поднесла вино к губам.

А потом стала поедать пирог с простецкими изяществом и азартом.

– Интересно, что Орфей как образ принадлежит двум стихиям! – оповестила *кьююэр*.

– Дионисийской и предхристианской! – брякнул Артурчик.

Все замолчали.

– Bravo! – сказала *фиалуоу* после заминки.

– Bravo! – подтвердила *кьююэр*. – Как видите, даже бессарабская глушь своих тевтонов...

Орфей... Тевтоны... Култ вымытых полов!..

И тогда...

–... Шолохов, Шекспир! – внятно, хотя и очень тихо сказал Село.

И – впервые за вечер – поднял на меня глаза.

14.

Миха Фогл. Объяснение в любви.

Иосиф не религиозен и работает даже по субботам. Лесорама... гараж... а теперь еще и мельница с мотором в Ниспорнах.

Но он никогда не отказывает в «трумб»¹ на Нагорную Синагогу.

Вот и на этот раз...

Апрель 1939, Оргеев.

...После пасхального собрания объявили сбор средств.

В зале у мужчин стало шумно.

Я услышала, как выкликнули «Трума от Иосифа Стайнбарга!.. Сколько хочет пожертвовать Иосиф Стайнбарг?» – но из-за общего бубу не разобрала, что Иосиф отвечал.

Было ли это бубу одобрительным?

Не уверена.

Люди недобры.

И вдруг я слышу: «Трума от супруги Иосифа Стайнбарга!.. Сколько хочет пожертвовать супруга Иосифа Стайнбарга?»

И тогда стало тихо на обоих этажах.

Так пугающе тихо, будто доски в полу разъялись, и все, кто в зале был, ф-ф-юить под землю! До самого земного ядра.

Но никто никуда не ф-ф-юить!

Просто молчат и ждут.

Но у меня нет с собой денег.

Женский балкон завешен белым, но я чувствую, как все ищут меня глазами.

В главной комнате мужчины тянут шеи, а на балконе женщины переглядываются и перешептываются обо мне.

Прям чесотка по телу – от этих их шей и глаз.

И Изабелла Броди – в кресле справа – откинулась на спинку и наблюдает с холодным интересом.

И у М-ме Тыш – в кресле сзади – ухмылка на лице.

Я окаменела.

Чья-то голова просунулась в балконную дверь.

Миха...

¹ «пожертвования» – ивр.

Миха Фогл.
Я – к нему на ватных ногах.
Протянул список, показал, где расписаться.
Расписалась...

15.

...а расписавшись, отдала лист и пошла с балкона вниз... по ступенькам, обвивавшим дымоходную клеть...

Не забуду злорадства в глазах М-ме Тыш.
И насмешливого сочувствия в красивых Белки Бродиных глазах.

С высокого крыльца Нагорной Синагоги – поверх тополей и голубятен – открывался вид на ленивое поле в барашках кукурузных зеленей.

Крыльцо было обсыпано детьми.
Мне стало дурно от их галдежа.

Вдруг что-то веселенькое и цветное возникло перед глазами.
Коробочка montpensier.
Миха Фогл.
Стала грызть, как в детстве. Не дожидаясь, пока растают во рту.

Так и стоим.
Смотрим на кукурузное поле.
И только веселый треск леденцов во рту.
В двух ртах.
Моем и его.

По правде, я не понимала, почему он здесь. Простор жизни казался прибит пылью. И меланхолией. И я совсем не интересный человек.

Фогл прочитал мои мысли.

– Был у меня пожилой родственник! – рассказал он. – Fater Mayer, мамин дядя!.. Бобиль, молчун!.. Он приходил к нам раз в неделю, мама подавала ему теплый цимес и чинила его одежду, пока он ел... А потом спрашивала: «Фытэр Майер, эгитн цимес?»¹

И он задумался.

Обаятельное выражение ласковой грусти поползло из дальних уголков его лица. Постепенно оно забрало все его лицо: тяжелые веки, красивые крылья носа, нарочные губы.

– Ну и?.. – спросила я. – И что же Фытэр Майер отвечал?..

– Fater Mayer отвечал: «Ы-м-м-м!»... и качал головой. Мол, не передать словами – до чего цимес хорош!..

Я улыбнулась. Такой у этого Михи талант – изображать людей!

Я догрызла помадку и могла бы вернуться на женский балкон. Но не уходила. Ждала еще чего-то.

– И так продолжалось 18 лет! – заключил Миха. – «Fater Mayer, эгитн цимес?.. Ы-м-м-м!»... Поколенья до нас, поколенья после!..

И присвистнул.

¹ «Дядя Меир, ну как? Вкусный ли цимес?» – идиш.

Я посмотрела на городок с высокого крыльца.

Вид был одномерный. Абрикосы в зелени, и те казались помякли, перепробованы до оскомины. Зелени было море, но – мнимое море, пыльное море... А в Добруджу мы так и не поехали. Да и в будущем не поедem. Всякое лето будем снимать дачу на Иваносе. С кусачими комарами в лесу и склизкими головастиками в пруду. Поколенья до нас, поколенья после!..

– Неужели мы никогда не увидим моря?.. – произнес вдруг Миха.

OMG, он читает мои мысли!

– Муж очень занят!.. – пролепетала я.

– Му-у-уж!– промычал Миха. – За-анят!.. А представляете, – показал он на Синагогу, откуда густо валил гул голосов, – никто из них... не видел моря!..

И, глядя мне в глаза, запел по-русски:

«Что я любил в тебе в разные годы, черное море, разное море... вся моя жизнь была зимней одеждой... с яркой заплаткою летних каникул...»

Не много я в этой песне поняла, но голос его показался мне приятен.

И мне понравилось, как блестят и затуманиваются его глаза – когда он поет.

– Я не заведу детей, пока не проложу для них дорогу к морю! – заявил Миха.

Спрашивается, какое мне дело до того, собирается он заводить детей или нет, но я почувствовала смущение.

– А как? – только и спросила я. – Проложить дорогу к морю?..

– Гахшара! – выдохнул он. – Слыхали?..

– Слыхала, но...

– Что – «но»? – поддел он и ласково, и дразняще.

– Я была маккабистка! – повинилась я. – Мы враждовали с рабочим движением!..

Он посмеялся.

– И что же, – спросил он, – в этом вашем Маккаби вас не привлекли в систему «продуктивизации молодежи»?..

– Я замуж вышла! – выдавила я с неловкостью. – Но вот Нахман Л., мой троюродный брат, его-то как раз и привлекли... в систему... э-э...

– «Продуктивизации молодежи», – подсказал Миха.

– Да-да! – поблагодарила я. – И теперь он в кибуце в Палестине!.. Хотя в детстве был... футболист...

– Рассказать вам, какое в Палестине море?! – перебил Миха.

В это время детский мячик скатился с крыльца, Миха бросился за ним.

Кажется, я за перила ухватилась – столько убеждённой мощи было в его побеге.

Кажется, меня чуть со ступенек не снесло.

И вдруг – стыдно сказать... В груди молоко прибыло. Хорошо, я в кофточке на пуговицах. Уж и не помню, когда у меня молоко было в последний раз, я давно грудью не кормлю. И вдруг прибыло.

– Итак, продолжим!.. – объявил вернувшийся Миха. – О том, какое в Палестине море!..

И пока он откашливался и подбирал слова, я кое-как встала бочком. Чтобы подтеков на кофточке не было видно.

Но как глубокий рифт в земной коре, так мой слух раскрылся – навстречу его рассказу.

И еще я хотела спросить, не слышал ли он... (а вдруг он в курсе), не нужны ли *там*, в далекой морской Палестине... м-м-м... медработники. С *diploma ku distinctie*¹. Не очень-то преуспевшие. Не вполне довольные собой. Но готовые трудиться и трудиться, закаляться и жертвовать собой – ради великой цели!..

16.

День рождения Кости Тронина. 1977.

И тогда...

– ... *Шолохов, Шекспир!* – внятно, хотя и очень тихо выговорил Селó.

И – впервые за вечер – поднял на меня глаза.

– Что – «*Шолохов и Шекспир*»? – не поняла *фиалуу*.

Но Селó полез под стол – якобы вилку уронил.

Сердце мое упало.

– А я там была! – *фиалуу* вернулась к прерванному разговору.

– Где «там»? – с готовностью уточнил Костя.

– В стихии Диониса! – сощурившись, она обводила нас глазами.

Кажется, я забылся – рассматривая её.

Потому что налетел на встречный взгляд – вопросительный, строгий.

Хотя, клянусь, я не рассматривал.

А просто забылся из-за *Шолохова–Шекспира*.

Просто забыл отвести глаза.

И в эту минуту я понял, что:

фиалуу это *Серафима Николаевна* (СН).

А *кэюэр* – *Евгения Германовна* (ЕГ).

А *культ вымытых полов* – это... ну в общем, я вдруг понял, что имеется в виду.

Решительно и немного с демонстрацией, как все, что она делала, СН принялась раскладывать фрукты по стеклянным розеткам.

– Хурма, цитрусы, крyшон... – обвела она рукою стол. – Налетаем, раз-два! Что же до стихии Диониса, – добавила она, дождавшись, пока все «налетят», – то вот как это было...

Между тем Селó выбрал жёлтый шар с блюда.

И я – за ним. Пусть видит, что мне пох-ю все его подланы.

Но он опустил свою тарелку на колени. За бруствер стола.

– ... я, молодая и безголовая, перевела прогрессивный немецкий роман для «Иностранки», и меня приняли в Литфонд! – поведала СН – В московское отделение!.. В литфонде я почувствовала

¹ *Diploma ku distinctie* – (рум.) – диплом с отличием.

себя Данаей под золотым дождем привилегий! Привилегия первая: морской круиз по греческим островам! Ага?!.. А если учесть, что в то время мир не простирался для меня дальше подмосковной Валентиновки, где у нас дача без удобств, то низкий поклон прогрессивному немецкому роману!..

И – подтолкнула свой бокал к бокалу Кости (с другими гостями она не чокнулась).

Вытягивая шею, я пытался заглянуть через стол. Увидеть, как Селó управляет с желтым шаром. Но, мстительно улыбаясь, он только ближе подсел к столу.

– А знаете что... – СН потеряла виски, – раз уж вспомнили о Греческих островах...

Кажется, ей пришел в голову какой-то план, и теперь она зорко вглядывалась в нас, как бы допуская, что могут быть возражения.

Убедившись, что возражений нет, она поднялась и легкой походкой вышла из-за стола.

К темным шкафам с книгами.

Селó смотрел вниз, на блюдечко с желтым шаром, но то и дело поднимал голову с ухмылкой. Плечи его двигались. Под скатертью он управлялся вилкой и ножом.

Влип я! Все 10 пальцев в соку.

– Вот *оно!* – покопавшись на полке, СН из-за книг выбрала конверт. – Путевой дневник!..

И вернулась за стол.

Извлекла тетрадку из конверта.

«Итак! – зачитала по тетрадке. – 24 апреля 1958-го, в шезлонг на 3-й палубе с мифами Куна! Ищу в них универсальный смысл. Задача: «инкрустировать» античную космогонию во что-то близкое! В иудео-христианство, например! Задача непростая. Особенно если учесть меню завтрака, съеденного до того: палтус паровой в пюре, омлет на жирной сметане, кофе со сливками, двухслойный пудинг из фруктов с шоколадом...»

И перелистнула страницу.

Лучше бы шпарила без остановки.

– Не поняла, для чего инкрустировать античную космогонию куда бы то ни было! – успела вставить ЕГ. – Ведь она и так универсальна донельзя – эта античная космогония!..

Она говорила тихим голосом. Без подъё-ки.

Но – вышла заминка.

1 секунда... 2... 3...

– И двухслойный пудинг... – только и пробормотала СН, – из фруктов с шоколадом!..

И еще раз перелистнула страницу.

Кажется, она сбилась.

От цитрусового сока пальцы мои щипало. Желтый шар сдулся под ножом.

Тихая тень удовольствия – прошмыгнула по лицу ЕГ.

– Да, универсальна донельзя! – повторила она. – В том смысле, в каком универсальны, например, алгебра и физика, являющиеся, между прочим, её, греческой космогонии, прямым отродьем...

Но не успел ее голос набрать силу, как...

– И вдруг, где-то на рубежах Тезея и Креонта, – перебила СН, – было мне наитие!..

И улыбнулась.
И по-молодецки потрянула головой.
Всё, она взяла себя в руки.

– Наитие заключалось в том... – отложив тетрадку, она поднялась из-за стола и... в обход всех сидящих...

Атас! Ко мне?

–...Наитие заключалось в том, – нависая надо мной и продолжая шпарить из дневника, она проделывала что-то безошибочно-ловкое с моим желтым шаром, – что все эти античные боги полей, ручьёв, васильков, все эти духи страстей, судеб и замираний... есть не что иное как *а-то-мы!* Атомы! Элементарные частицы из «*В начале сотворил...*»!.. Вот такая инкрустация! А кто не понял, то поделом! Пускай учится слушать! Не перебивать!..

Она была как дневной поезд, налетевший издалека.
С слепящим прожектором в голове.

Измученный желтый шар вернулся ко мне в виде опрятных долек.

– Я покурить! – грузная ЕГ стала выбираться из-за стола.

– Айдосы по Платону! – отважился вставить Артурчик. – Атомы и пустота!..

– Что – по Платону? – с резкостью перебила СН. – Умейте слушать, Артур! Так вот! Земля только на 1-й взгляд была *безвидна и пуста!* Вскоре в ней *атомы* закопошились! Все эти боги облаков, ручьёв и молний, подземных скважин и придорожных васильков...

– Мама, а есть ли бог шкафа? – спросил Костя.

– Шкаф изделие рук! – отвечала СН. – А вот бог зависти есть!.. бог ревности есть!..

– Так вот, атом разобрали давно! – курящая Евгения Германовна высунулась из кухни. – Атом давно не элементарная частица!..

– Бог неумности тоже есть! – властным жестом руки остановила её Серафима Николаевна. – Как и бог провинциализма!.. При чем тут электрон, когда атом это Альфа! К Вашему сведению!..

– Потому что электрон это еще меньше!.. – старушка закашлялась от обиды. –

– Потому что если я атом, – прихлопнула Серафима Николаевна, – то вы пустота!..

Трюизм... боги облаков, ручьёв и молний... шкаф изделие рук...

– И вот это, – понизив голос, она подмигнула нам как сообщникам, – местная профессура!..

Через 10 минут.

После послешного, без *спасибо* и до *свиданья*, бегства Евгении Германовны погасили зачем-то свет и объявили буриме (игра такая).

Тронин раздал корочки тоненьких книг из шкафа.

Мне достался О. *Ма... ма... н...* (от отупения я читать разучился).

Между тем, пока зажигали ароматизированные свечи на столе, Костина младшая сестра пришла и обняла мать.

Девочка была бледна.

Её в спальню увели. Впервые она напомнила о себе в целый вечер.

Внешне она была яблоко от яблони – от мамы, от брата.
 Сама острая угловатость её могла показаться фамильной.
 За вычетом слепящего прожекторов голове СН.
 И за вычетом Костиных ключиц, сильных, как лодочные весла.
 Но льняная незащищённость девочки выдавала их всех.
 Как тайная пробоина – сквозила она в характере семьи.

17.

Прокурор Октавиан Попа, седой, с залысынами...

...но с молодым румяным лицом и гладкой белой шеей в стоячем воротничке судебного мундира, пьёт нашу кровь.

«Отдай ему половину ниспоренского имения! – твержу я Иосифу. – Отдай ему половину ниспоренского имения!.. Отдай ему полови...».

«Поздно! – повинился Иосиф. – Теперь он не идёт на мировую!»

...

«*Не идём?!*» – ужасаюсь я.

...

«Тогда вызови *M-me Stefanita* из Бухареста!.. – придумываю я. – Вызови *M-me Stefanita* из Бухареста!.. Кто, в конце концов, хозяин имения: она или ты?!..»

«*M-me Stefanita* не любит хлопот, связанных с управлением! – возражает Иосиф. – И – кстати – мамочка! Занялась бы ты своими делами!..»

Я не верю своим ушам.

Никогда прежде он не говорил со мной в таком тоне.

Тем временем прокурор Попа написал на нас донос.

О том, что на ниспоренской мельнице сжигают хлеб (чтобы цены росли).

Это смерти подобно.

Нет, надо звать *M-me Stefanita*.

Её средняя дочь замужем за *страшно сказать кем*.

Наконец Иосиф это понял.

Май, 1939, Оргеев.

«Скоро твой день рождения!.. Я устрою *festivitate* с салютом в Ниспоренах! – объявил он. – Позову почетных гостей!.. И встречу их на *твоем* автобусе!»

– Еще чего! – возмутилась я.

Мало мне позора с *моим* автобусом (с надписью *Chantal* на капоте). Так теперь еще *почетные гости*.

– Будет павильон возле пруда с лебедями!.. – прищурился Иосиф. – Будет лучшая кухня...

Никогда раньше он не смотрел на меня таким изучающим, кривым взглядом.

– Еще сегодня я направлю курьера, – заключил он, – к нашему доброму покровителю *M-me Stefanita* в Бухарест! Вместе с *invitatie dea avansa!*¹

¹ приглашение с предоплатой дорожных расходов – рум.

Я почувствовала, что краснею, когда заговорили о Ниспоренах.
Иосиф заметил мое смущенье и был уязвлен.
Но он деликатен для расспросов.

18.

Мы выехали в Ниспорены для приготовлений.

Чистка.
Уборка.
Дом для гостей.

Окно глядит на парк, отороченный еловым мехом старых сосен.
Острая цветочная аллея выводит к озеру.
В воздухе сильно парит.
До блеска натираю окна на 2-м этаже.

В обед на аллее показались работники с лопатами.
В толстых робах, несмотря на жару, они направлялись к летней кухне.
Миха Фогл – среди них.

Да, Миха среди них... высокий, как церковная хоругвь. Как баба-Зима в деревнях на Рождество.
Я отпрянула от подоконника.

Только бы Иосиф не вошел.

Наше имение – первое в уезде, где кладут асфальт. Но Иосиф недолюбливает Миху. Мол, Миха практикуется в физическом труде и запустил свои прямые дела в конторе.
Какое идиотство!

Но только один миг видела я Михину фигуру в закопченной робе, и зрение отказало мне.
Я перестала что-либо видеть, а только знала, что он здесь... все ближе, ближе.
От ликования меня знобило.

Я стояла с клочком газеты у сверкающего окна и дышала так глубоко, точно тело мое состоит из одних жабр. Не умея отвести голову от взаблеск вымытого стекла, я стояла неподвижно и только молилась, чтобы в комнату Иосиф не вошел.

...

Но я не героиня стихов и романов, из которых происходит слово «любовь».

«Любовь» это то, что у меня к маме, к папе, к сыну.

А то, что произошло со мной при виде Михи Фогла... то совсем другое.

То – прибой сил. Прилив будущего. Запах моря.

Мои губы и щеки празднуют эту радость. Рот плывёт в улыбке, заголились глаза. Я смеюсь в голос – одна в комнате.

Хоть бы Иосиф не застал меня в таком виде.

...

Я стала насухо вытирать окно газетой.

Физическая мощь распирала меня. Неукротимая, новая.

Вместе с тем я была напугана и не знала, как себя вести с Михайой, с Иосифом.

Первого мне хотелось обнять как родного, дышать им, целовать в улыбку, в лоб, в голову, в его мягкий голос.

Со вторым я чувствовала себя дряхлой, конченной.

Я боюсь прокурора Октавиана Попа, боюсь пьяных слободских, боюсь новой беременности, боюсь, чтоб не сглазили Львенка, боюсь старости мамы и папы...

Но сейчас во мне прибыло столько чудесной силы, что и страхов не стало.

19.

Виктор Пешков. 1977.

Перед сном мама разогрела для меня пельмени с уксусом.

Её удивило, что я голоден после дня рождения.

– *В наше время*, – заявила она с подвохом, – на днях рождения кормили!..

И тогда телефон прозвенел.

– Давай говорить всю ночь! – предложил Тронин после того, как мама, скорее заинтригованная, чем недовольная, отдала мне трубку. – Обо всём!..

– Ладно! – отвечал я, стесняясь мамино присутствия.

– Ты не один? – угадал Костя. – Тогда через час?..

– Угу! – подтвердил я с той же скованностью.

Ночь с 13 на 14 февраля 1976 года.

Мама поцеловала меня на ночь и ушла.

В дверях она выключила свет.

Время пошло.

60 минут... 50 минут... 25 минут...

Я подкрался к балкону, высунул голову в форточку.

Веки фонарей дрожали, чернопашистый воздух волнил.

Что это была за волна?..

Знавал я такое: в кануны военных парадов, когда кишиневский гарнизон репетирует по ночам. Когда «Здравь... жлаю... таварици... салдаты! – долетает с Площади Победы. – Поздравляю... гадщиной... ликай... тябскай... личскай... люциш!». «Ур-р-ра!.. Ур-р-ра!.. Ур-р-ра!..» – отвечает гарнизон. И – духовая бень оркестров, рубосапогая сечка строевого шага...

Но то ведь осенью (7 Ноября) или весной (1 Мая).

А сейчас – февраль беспарадный.

Знал я и другой шум: мечерассветный, летний. Трижды за лето, на вносе юнь-юль-августов, будил меня удивительный шум под балконом. Это когда профсоюзных детей отправляют на море. Почему-то всегда из-под моего балкона. Казалось, там 1000000 голосов – гур-гур-гур! – натёрли на мелкой тёрке! Щелчки чемоданные, поцелуи мамянные. Вдоль тротуара новенькие ЛАЗы вытянуты в линию. Стреноженные акации в белых гольфиках вертят головами. Воробы вопросятельно шныряют. И из-за филармонии солнце подтягивается с подзёвом...

Но то ведь летом!
А сейчас февраль некурортный.

И Ко не зво.

20.

Chantal. На озере прогремел взрыв.

Я мыла голову в ванной, но услышала истошные крики на летней кухне.
«Иосиф?» – позвала я.
Ах, да. М-me Stefanita. Уехал встречать.

С фельдшерским *sac de voyage* я понеслась к озеру (Миха?!.. Миха Фогл?!..).
Небо кишело галдящими птицами. Воздух папушился гарью.

Котёл с асфальтом.

Вся толпа взревела, увидев меня.
Страшный котёл был перекошен, под ним кирпичи рассыпались от взрыва. Лютый пар валил.
Миха был включье, горячая вата наружу. Глаза его, красные от жара, просияли, когда он увидел меня.
Хромая, он пошел к воде. Я почувствовала себя на 7-м небе от счастья.

Повели меня к насыпи с асфальтом.
В толпе кто-то кричал от боли.
Все расступились.
Там изувеченный подросток на песке лежал. Розовые пузыри изо рта.
«Нож! – закричала я. – Кипяток!..»
Короткий нож в окаменевшей чешуе цементных крошек возник у меня в руке.
Подростка била дрожь, лицо в кровавой смоле.
Разрезала одежду от ворота.
Конечности неподвижны.
Смотрит на меня с пытливым ужасом.
Я улыбнулась ему: мол, всё по плану.

Нас окатили озерной водой.
Молодой батрачке стало плохо от вида раненного.

Через 20 минут.

...В больницу. В город.
Подросток в забвенье...
А у Михи глубокие хрипы от ожога. И заметно опухла правая ступня.

21.

Но хрипы – ерунда.
И опухшая ступня – тоже поправимо.
Другое печально. Все его пожитки при нем.

Ехали через лес.
Ночные, без неровностей, поляны белели с такой силой, точно из-под них морская соль выступила.

Украдкой смотрю на него...

Ну да, он уже не здесь.

Мыслями он давно в Палестине: укладывает асфальт на берегу моря.

Мы видимся в последний раз.

Он показал мне свой фотографический альбом.

Меня взволновали фотографии его родителей.

Как жаль. Но всё потеряно. Всё.

Не трудно ли ему покидать стариков родителей, спросила я.

Он не нашел ответа.

Но он посмотрел на меня так, что, забыв обо всем на свете, я схватила его руку и прижала к своей щеке.

Мне стыдно.

По возрасту я стара для него.

Оргеев. R-кабинет.

«Устрой ему ординарный перелом! – прошу я бога. – Все в Твоих руках, и R-скопия еще в проявке! Да, не все потеряно, и я еще жива – пока снимок не проявлен! Слышишь, я молю о закрытом переломе, чтоб его шинировали и он не уехал в Палестину!»

- - -

Через 1 час 40 мин.

Мое время вышло.

R-скопии до сих пор нет.

Ну, пора.

Меня в Ниспоренах ждут (где *festivitate* с салютом, павильон с буфетом возле пруда, 2 оркестра (цыгане и jazz), и целый поезд гостей – в честь моих именин).

И только Михи там не будет.

Сбежал, не попросив расчет. Плкнув на деньги, которые мы ему должны за вторую половину июля.

Я поднялась с лавки, направилась к дверям.

Еще через 20 мин.

Возле зернового склада я увидела нашу телегу, оставленную у забора.

Но ни лошади, ни возницы-дурака.

Где все? Целый город опустел, вымер.

Ноги сами привели меня на Ореховую улицу, к родителям.

В доме никого...

Ах, да!

Lacomedie. Папина. Артисты из Черновиц.

Два часа до того я сама слышала из окна больницы – «Ойи мэнтэ вэрмах!.. Хей-хей!.. ойи мэнтэ вэрмах!»¹.

¹ «Все на представлень!.. Все на представлень!» – идиш.

Бедная мама! Разве что в ногах у папы не валялась: «Не позорь! Не теряй последних заработков!»
И ведь она права. Какой уважающий себя клиент придет в столярную мастерскую человека,
пишущего *les comedies*?

Но этот папа... Все равно что с глухим разговаривать!
Май, 1939, Оргеев.

Я вышла из дома.
Деревья пропускали закатный свет с горы.
Я стара для него!..

За забором два *gendarmes* прошли – в направлении кукурузного холма.
Я слышала их разговор.

И вот, едва жандармы удалились... я подумала *о нем* с таким упорным желанием, что... ночная
темнота на Ореховой горке не могла мне *его* не породить.

22.

...Телефон как ишак забуфонил под одеялом. 1977.

– Не пишется! – вздохнул Тронин. – Хотя и поет внутри!.. Неужели у тебя не бывало такого?..
– Чего такого? – не понял я.
– Когда темнота прощита блуждающими огнями, глаза буквально взорваны ими, валяешься
и не можешь уснуть!..

Ночь с 13 на 14 февраля 1976 года.

– В такие ночи я погибаю от рифм! – поведал Костя. – И вот, в темноте хватаю что попадётся
под руку: вчера это был конверт с маминым деловым письмом... и, как слепой музыкант, задрав-
ши лицо горе, веду карандашом по листу... или ручкой... или маминой тушью для ресниц...

Я задержал дыхание.

– Конечно, с утра были неприятности за порчу делового письма! – рассмеялся Костя. – Но,
видимо, уровень стихов убедил матушку... Неужели у тебя не бывало такого?..
– Нет!..

(Будет смеяться?)

– А кто такие... *боги полей, ручьёв и васильков?* – вспомнил я невпопад.
– Микробы! – отвечал он не задумавшись. – Проводники живого!..
– Иди ты! – не поверил я. – Сам ты микроб!..

Но реакции не было.

– Аллё, Костя! – запустил я в трубку. – Ты притворяешься?..

Но он не притворялся.

Он спал так выпукло, так колодезно – глубоко, точно полностью исполнил задуманное.
Его дыханье, как мох, обложило провод.

– Эй! – подул я в трубку. – Хочешь... я про дедушку расскажу?.. Ну про этого... с письменным
прибором!..

Нет ответа.

– Эй! – еще раз позвал я. – А почему вы из Москвы уехали?.. А отец у тебя есть?.. И почему твоя сестра такая бледная?..

Но он запелёнут был в тайну.
И тайна его перекидывалась на меня.

Кто я?

Дундук малорослый, футболист 15-й номер (и то форму утащили), троечник и серость, *перфокарты* не заслуживаю. Что нашел он во мне, в самомъеме моих прозябаний? Как понять причуду его интереса? Как обозреть себя – его, тронинскими глазами?

...

И – обозрел!
Понял!!!..

Точно в кованом сундуке зацарапалось *нечто*.
Крышка сундука стала подниматься.
И – поднялась.
И – отпала с потрясающим шумом.

Всё, что было под ней, вздрогнуло и пошло в рост. Атомом – по пустоте!

В ту ночь личинки богов закопошились во мне: боги зим, боги лет, боги садов и долин, частые боги влюблённостей и дерзаний... – всё вдруг сделалось одушевлённо в жизни моей, всё на расстояние локтя. Из расплёсканности и самонечутия, из потерянности и ходьмы, переступал я в одно светозарое, с живочащимися богами сегодня.

Гадкое по беспомощности, 1-е стихотворение моё предрешено было в ту ночь.

23.

Оргеев. 1939.
R-скопия показала, что...

...перелома нет.
Он уедет в Палестину.

Мы вошли в дом.
Я провела *его* на бабушкину половину за шкаф.
На шкафу – бутылки с засахарившимся мёдом.
Сейчас *он* их увидит, будет смеяться.
Но лицо его оставалось измученным, серым.

Я говорила без остановки. Я давно заметила, что не закрываю рта в *его* присутствии.
Всю жизнь мама упрекала меня в скрытности.
И мой муж Иосиф то и дело спрашивает – о чем я так упорно думаю про себя...
А вот с *ним* я болтлива.

О чём же мы болтали?

Спустя несколько часов, ночью, на лесной дороге в имение, я с трудом восстанавливала в памяти тот разговор. Помню, поделилась... об одноглазом Шоре из Резены. Который побывал в Палестине и, вернувшись, начал всех пугать: «Там нет работы! Там бедуины стреляют!» Полил воду на мельницу моего папы. И это еще не все. Недавно мама перешла жить в другую комнату. Отдельно от папы. Когда узнала о его долгах. О том, что он к толстому Ёнгаре ходил (ну этому... с конзавода). Просить денег (на издание своих тетрадок).

«Чудеса! – при упоминании о толстом Ёнгаре Миха повеселел. – И что же, этот скупердяй дал ему денег?»

Он дал, подтвердила я.

Но и это еще не все.

Папа опустил до того, что и у малолетней Адассы, дочки маминого брата из Резены, выманил ее ханукагелт¹ из копилки, после чего сам Ревн-Леви (мамин брат) нагрязнул к нам со скандалом (а до того 100 лет с нами не вошелся!).

Вот такие у меня папа с мамой...

И я повинилась в том, что втайне желаю их моментального как по волшебству удаления. Раз уж смерти не миновать. Чтобы из леса выбежали 2 медведицы и... прихватили их вместе с маминим наследственным д(иабетом) и вместе с папиными тетрадками. Ну как в Chumash², помнишь, в главе про Елисея Пророка?! Про то, как глупые дети бежали за хромым и глумились над ним. Хотя мои мама с папой ни над кем не глумились, никому не делали зла (если не считать Адассиной разбитой копилки). Но я так решила. Мне будет легче одной. Я тогда не буду притворяться веселой, скрывать свое недоверие к жизни, свой страх перед нею. Я развяжу тогда узел лица и...

...и тогда Миха привлёк меня к себе.

Венский стул упал со стуком.

Лицо моё запылало, как от укола.

Какой он резкий.

Я потянула бабушкино одеяло, но он в бешенстве сбросил одеяло на пол.

Расправившись со мной, он покрыл меня поцелуями.

А до того не целовал совсем.

Сквозь ресницы я рассматривала его. Лицо его было юное, очень довольное. Он был в чудесном настроении.

Я решилась спросить его о том, что волновало меня сильнее всего. Думает ли он жениться в Палестине.

Он ответил, что в кибуце, куда он едет, не признают брачных уз. Между людьми там отношения нового типа. Земля и вода, станки и моторы, винтовки и пулеметы, женщины и мужчины – всё общее, всем управляет коллектив. Поэтому, если я согласна...

Конечно, я не согласна.

Но как мне привязать его?

Я схватила первое, что попало на глаза, – коробочку с папиными золотыми запонками.

«Пожалуйста, возьми от меня!»

Окончание следует.

¹ ханукальные монетки – идиш.

² Пятикнижие – ивр.

Данила ДАВЫДОВ

вы не думайте так
я мечтал бы чтоб патриотом
но вот совсем нет сил
совсем, совсем

и, главное:
те бактерии с титана, что говорят со мной
совершенно не понимают, боже мой,
ну вот вовсе не понимают, что такое патриотизм

тварям нечего пенять
нечего у них отнять
на то они и твари
давай-ка лучше в планетарий

там леж в кресле звёзды
и прочее движение планет
вы ожидаете тут рифмы
но рифмы нет

о чём ты плачешь, пустоглас?
о том, что плакать не
о том что это вот теперь сейчас
и всё в моей стране

а можем заодно спросить
красавицу-нечуду
она ведь тоже хочет быть
и тоже верит чуду

о чудо! как оно бы нам
хотелось бы его бы
но почему-то по землям
идут жлобы и снобы

Данила Давыдов родился в 1977 году. Поэт, прозаик, критик, литературтрегер, художник, кандидат филологических наук. Девять книг стихов, книга прозы, книга критики и эссеистики. Переведен более чем на десять языков. Живёт в Москве.

их пустогласу вертешня
наскучила, нечуде ж
постыла эта вот земля
но ты и там начудишь

предположим, что слово есть
не та завершенная форма, которую так бы
хотелось навек и чтобы твоя –

но лишь малонасущенный, в данный момент
скорей рудиментарный
сигнал
зрящего, осязающего, вкусового, обоняющего
электрического чувства или чувства давления

и когда проснётся, слову места не будет

и жалко мёртвых мне своих
и нечего сказать об этом
но вот поскольку тут живых
приходится быть тут поэтом

но как же гадко это, да?
так хочется спокойствия, покоя
не знаю уж зачем вот тут такое
я лучше чую города

чем этот странный злобный вызов
в котором мне уже совсем
мой город, мой! почти облизан
но нет здесь нужных эпистем

самое интересное, что это будет
вот это вот будет, за что положены
голова миллионов двадцатого века.
просто оно проступит само по себе
и наплюет на всех
интересно смотреть на это,
но приятнее перечитывать
переводы елизаренковой из ригведы

поражает, помимо прочего,
ожиданье чего-то хорошего,
и когда ожидания нарушены –
страх, и трепет, и прочие ужасы

здесь не то что б нарочно назначено
но устроено так что иначе не
происходит любое движение
хоть рождение, хоть разложение

хоть странно, ложные посылки
приводят к истине какой
а истинные недомолвки
ведут и дальше ой-ой-ой

ты лжёшь, я лгу, и это славно
в нас много не скончалось сил
но не пойму кому забавно
кто в этом аде старожил

поэты и писатели
они ведь с буквами всегда
а группы славных и точных людей
пропадут навеки, да-да

ну, есть конечно есть сеть
можно в ней жить, в ней же и помереть
но про многих нет ничего
а про других такое, ого-го

писать лень. жить лень
рифма «олень»
хороша, но пуста
надеюсь, я хоть обозначил места

очумели производные
корень страшен как всегда
мы такие благородные
пощадите, господа

товарищи, пощадите
я не умею ходить в питер
у меня болят ноги
и вообще мы совсем одиноки

я тут перечитал кассирера
и вижу что-то тут не так
опять метафизически пытаются
понять предметный знак

вот айзенберг поспорив с бродским
сказал примерно это же
но пренебрегши чувством плотским
он некий смысл разворошил

мизантропу доказательства
лишние не нужны
но они начнут как вваливаться
прямо с неожиданной стороны

замечательно что мнение
есть практически у всех
у меня вот нету мнения
понимаю, грех

нежный, умный, понимающий
друг из ленты новостей
так такой всезнающий
мир без тебя куда пустей

банка сайры и пачка сушек в ночи –
это почти счастье
но только почти
потому что счастье –
это когда тебя понимают

Дана КУРСКАЯ

Баллада

И приходит в дом
и на ощупь – льдом
– Где твой верный конь?
– Вот мой верный конь
Из ноздрей огонь
А в зубах ладонь.
...И она так растерянно смотрит
Так молилась, так плакала – вот и
Он вернулся, Всевышний упас
Но черны его радужки глаз.

Он смеется вслух
Да как филин «ух»
И его рука
Как петля крепка
Говорит – ну да, я алкаш-стервец
Но внутри-то – ух! – да как есть – мертвец!
...И она понимает, что всё,
Сила крестная не спасёт
И идет собирать пакеты
Необута и неодета.

и уже с крыльца
не видать лица
и они летят –
не сбежать назад
над полянами да над просекой
ни о чем у ней и не спросим мы.
...И стоит до утра над могилой
Как Ленора, Светлана, Людмила
И могила что спальня желанна.

Я Людмила, Ленора, Светлана.

Дана Курская родилась в 1986 году в Челябинске. Автор книги стихов «Ничего личного» (2016). Организатор Российского ежегодного фестиваля современной поэзии MuFest. Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Москва», «Кольцо А» и др. Публикации на интернет-порталах «45 параллель», «Полутона», «Сетевая словесность», «Этажи», «Интерлит» и др. Живет в Москве.

Гроза

Они вопрошали: «И с кем, Катерина, ты шлялась всю ночь?»
Они утверждали: «Мы просто хотим помочь!»
Шептали, косясь на Волгу: «Ты только скажи – зачем?»
Отвечала, рыдая: «С Борисом Григоричеееем!»
Они заставляли: «Покайся в своих грехах!»
Крестилась пред каждым – дело, мол, не в стихах.
И сверкала зарница в каждой ее слезе.
«Быть грозе! – говорили они. – Быть грозе!»
Дураки вы, это не та Катерина, это совсем другая.
Эта приехала в Кунцево на трамвае.
На скамейке бульвара сидеть удивительно хорошо.
И ее снимает на камеру сам Меньшов.
И она настоящий директор завода, не просто зам.
И Москва не верит ни грозам, и ни слезам.
И в потоках воды чуть дрожат ее фонари.
«Как я долго искала тебя», – говорит.
И всё смотрит как дура ему в глаза.
...Над Москвою в июле фигашит гроза.

и вот оно прощанье у реки
один из них воротится к восходу
по пояс входит в ласковую воду
круги по глади след его руки
она смахнула брызги со щеки

секунды вызревают как года
одна из них застыла на причале
и на лице ни страха ни печали
качается зеленая вода
но он не возвращался никогда

Artificial intelligence

В далеком и очень близком две тысячи втором году
Константин Сергеевич подарил мне компьютер.
Пентиум второй он назывался.
И там была такая игрушка
Типа поговори с искусственным интеллектом.
Надо было написать кучу всяких фраз
В его интеллектуальную искусственную память.
А он хитро запоминал и выдавал тебе по ходу диалога
Твои же собственные фразы,

Уже почти тобою забытые
за последние полчаса.
И к нам приходила в гости бабушкина племянница тетя Тамара
И все дивилась на это чудо прогресса
и приставала ко мне:
«Дан, а Дан! А вот спроси у этой штуки – когда я умру?»
И все сразу кричали – ну что ты, Тамара, типун тебе на язык!
Но я все равно втихую набирала в розовое окошко
«Когда умрет тетя Тамара?»
И искусственный интеллект каждый раз отвечал
С моей собственной знакомой интонацией:
« “Король и шут” – форева!»
Или
« “Сектор газа” – это круто!»
Или например
«Лучше с Кошкиной на трубах пиво пить!»
И никто так и не мог внятно ответить, когда же умрет тетя Тамара.
А она умерла в две тысячи девятом году.
Пережив моего дедушку.
Пережив моего папу.
Которые тоже когда-то любили задавать тупые вопросы
Искусственному интеллекту,
Отвечающему им
С даниными интонациями.
И вот –
Дана в две тысячи шестнадцатом году в городе Москва
Сворачивает во двор Булгаковского музея,
Закуривая на ходу и пряча бутылку в сумке.
Все ответы, которые получает Дана
На свои вопросы, обращенные ко Вселенной,
Звучат с какой-то знакомой интонацией.
Если Дану надумают забрать
Инопланетяне,
Чтобы изучить искусственный интеллект,
Им придется забрать ее вместе
С тетей Тамарой,
Пивом «Уральский мастер», оставленном в середине июня на трубе,
И плакатом группы «Король и шут».
Ведь в Дана навечно – голосит «Сектор газа»,
Истекает кровью в подъезде Листьев,
Мама улыбается, когда поет романс Лапина
Из кинофильма «Верные друзья».
Все ответы уже получены в две тысячи втором году
И даже раньше.
Тетя Тамара, может, Вы живы?
Просто Вас тоже забрали инопланетяне
Со всеми Вашими ответами

Знакомыми интонациями
Искусственным интеллектом
Розовым окошком.
А если даже и нет, то не страшно.
Ведь все равно Вы уже записаны на мою дискету.
А я – на чью-то еще.
Все будем живы
Пока мерцает монитор
Пока жужжит электричество
Пока работает
Пентиум Второй.

Выйдешь ночью в поле с конем.
Все твои мысли – о нем.
И следов ваших в поле к утру не сыскать –
От таких остается лишь мел да тетрадь.

Ни о чем не жалею. Ты всегда на коне.
Помнишь фразы, что слышались раньше во сне?
Ты иди, расплетая их на алфавит.
На распутье тебе серый камень стоит.

И все ближе рассвет, и колышется рожь,
Ты к могильному камню тому подойдешь.
А на камне всего лишь пять букв «ИТОГО».
Там и примешь ты смерть от коня своего.

Коронация в яблоневом саду

Ты сманил меня в сад подышать на твои посева
Я стою в травяном междурядье, не помня клятвы.
Ты поверил, что я застыну здесь верным деревом
И останусь с тобой до Спаса, спасая сад твой.

Подбираясь плющом к запрокинутым вверх запястьям,
Ты начнешь шелестеть про реки и их тоннели.
Ты качнешь мою спину, но не смогу упасть я,
Ведь ступни от твоих поцелуев затравенели.

Но я лягу на дно травы – как цветок нелепа –
Ты раздвинешь колени мне ветра живой рукою.
И сквозь тело твое я стану глядеть на небо.
Ты войдешь в меня ветвью, выйдя меж губ строкою.

Оно явилось. С ним – пришел январь.
И брызги стекол снегом полетели.
Рука в руке, и высветил фонарь
Две точки среди вспыхнувшей метели

Мрак наступает, воздуха в обрез
Проходит звук
Над картой с пустырями
и самое надежное вот здесь
Вон там внизу
Вот тут под фонарями

Памяти Ромы Файзуллина

В это утро я проснулась с ощущением смерти
Я давно думала о ней но сегодня было бы некстати
Меня ждал шумный мой день рождения
Небо было светлым и все писали, что любят меня
Ты написал мне «Поздравляю обнимаю» и приготовился.

В этот вечер сто восемнадцать человек пришли обнять меня
Было много разноцветных пакетов с подарками
Было много самоцветных бутонов в целлофане
Вика принесла шкварки и банки с домашней аджикой
Лу бегала мне на вокзал за туфлями
Лиза читала стихи своего дедушки
тетя Румия плакала от гордости
Они все правда очень-очень любили меня
Ты пил стакан за стаканом
и писал мне «празднуешь? а я пью и скачаю»

Я громко смеялась и заклинала смерть стихами
Я отводила ее от себя и ото всех
Я читала про жив человек жив
Я читала про пусть сегодня никто не умрет
Я читала про чтобы шаги над рынком продолжали звучать
Смерть боится грохота аплодисментов
Когда любящие люди собираются вокруг
И каждый стучит ладонью о ладонь
Чтобы ты знал вот это и есть любовь
Вот этим шаманам ты нужен, да
Тогда все успевает закончиться хорошо
Смерть проходит по самому краю
и не задевает

В эту ночь мой бывший муж Дима
помог мне сгрузить букеты в багажник такси
я шутила, что выглядит как катафалк
но уже можно было шутить
ведь все уже было кончено
мы уже спаслись
Петя выгрузил мои пакеты возле подъезда
ты закрепил петлю на ремне

в темноте мне было тепло и уютно
невыносимо прекрасно пахло весной
и можно было услышать
счастливым пьяным ухом
как пробивается к солнцу первая трава
как она вырывается из влажной земли
выбирая жизнь жизнь жизнь
я сказала «Петя, поцелуй меня»
ремень скользнул по твоему доверчивому кадыку
Петя обнял меня,
но это были твои руки
которые меня ранее не касались
и уже никогда не коснутся
я выдохнула
ты оттолкнулся

дальше будет стихами поскольку ты птица
да гнилая вода да сырая беда
в этот день мне исполнилось тридцать
а тебе наступило тридцать
отныне и навсегда

СЕСТРОРЕЦКИЕ РАССКАЗЫ

1. Котенок

Улица называлась Песочная, и действительно представляла собой песчаный пустырь, окруженный частными домами. Поодаль высилось огромное мрачное здание городской больницы. Летом и зимой, когда мы с бабушкой приезжали из Ленинграда «на дачу», в одном из домов на Песочной и жили – большим, бревенчатом, с вместительной верандой.

Хозяйкой его была полная седая дама по имени Елена Никитична, на сельскую жительницу никак не похожая. Местный сестрорецкий бомонд. Была она знакомой моей бабушки. Не знаю, платили ли мы за жильё, но бабушка вела себя с властной Еленой Никитичной немного заискивающе.

На задах участка стоял сарай, крытый толем. За забором шла полоса тополей, а дальше снова пески с островками кустарников вербы. Тополя были низкорослые, старые, удобные для лазания, с развилками метрах на двух-трех высоты – легко можно было вскарабкаться и сидеть там. Отличный НП – наблюдательный пункт.

Однажды летним утром услышал я со своего НП у сарая писк. Слез с дерева, пошел на эти звуки и нашел котенка. Хребет его был перебит чем-то тяжелым – палкой или даже ломом, – задние лапы свисали неподвижно. Глаза у котенка были выколоты.

Я отскочил, заплакал, побежал за бабушкой, привел ее. «Это, наверное, Женька Щепочкин! – сказала она (был у нас такой соседский хулиган). – Вот паразит, живодёр!» «Я убью его!» – кричал я...

Но что ж с котенком делать? «Бабуля, надо его к ветеринару снести...» Бабушка пригляделась к котенку, пробормотала: «Какой уж тут ветеринар...»

Бабушка моя была человеком без сантиментов. Выросла в деревне, в Тверской губернии. Рано, в три года, потеряла мать. Сама рассказывала – в день похорон сидела на телеге, болтала ногами, напевала: «У меня мама умерла! У меня мама умерла!» Приходившие на поминки односельчане качали головами: «Что ж ты поёшь, Маня? Сиротой ведь осталась...» А она, не задумываясь, бойко отвечала: «Зато маме там хорошо будет!»

Отец ее, не долго думая, вскоре после смерти жены подался под Петербург, завел новую семью, оставив малолетнюю дочку на попечение деревенских родственников. Отсюда – въевшееся бабушкино сиротство, даже чуть показное. До старости ела из маленьких тарелочек или блюдецек – мол, ем мало, не объедаю.

К концу двадцатых годов жизнь вроде бы наладилась – переезд в Ленинград, работа паспортисткой (ответственный работник!), муж из своих же тверских мест, непьющий, любящий семью, при должности – зав. табачно-фруктовой секцией Кировского универсама. Вот уже четверо детей, примерно погодки, подрастают.

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор восьми сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза», премия журнала «Зинзивер» в номинации «Проза» (2014). С 2002 года живет в Германии.

Но – нет, всё прахом! Посадил деда черт усатый! Слишком часто качал он головой, узнавая новости из родной деревни – раскулачивание, высылка... А уж обсуждать эти новости с сослуживцами и совсем не надо было.

Через пару лет вызвал бабушку участковый, ознакомил с похоронной бумагой, на руки не дал – не положено. Недолго дед в лагере продержался...

Между тем бабушка ушла в сарай и вернулась с лопатой. Сняла слой дёрна, начала рыть ямку. «Бабуля, ты что делаешь?!» – ужаснулся я. «Ну, потерпи!» – ответила она. Вырыла ямку, спихнула туда котенка, и первая лопата рыхлой земли упала на искореженное тельце, на ослепленную мордочку. Он попытался смахнуть землю лапкой...

Я упал в траву и теперь уж заревел во весь голос. Бабушка, закончив дело, подняла меня, отвела в дом, умыла лицо из рукомойника. Сказала: «Не плачь, ему там хорошо будет!»

2. Учитель физры

На лыжах я научился рано, еще до школы. Надолго уезжал на реку Сестру или к скату в низину у железнодорожной линии, – чтоб с горки покататься. Пробирался через окраину местного кладбища, занесенную в снежные зимы чуть не до верхушек покосившихся крестов. Или добирался до сосновых лесков, всё дальше и дальше.

Бабушка, когда к вечеру возвращался, о забор оббивала ледышки со штанцов из «чертовой кожи».

Накатанная лыжня, с которой начинались мои путешествия, проходила прямо за нашим задним забором. Однажды, только встал на нее, как услышал, что нагоняют меня школьники. Пятиклассники, примерно, – вероятно, был у них урок физкультуры, лыжный кросс. Впереди – учитель физры: в темно-синих шароварах, фуфайке с белыми полосками по горлу и запястьям, вязаной шапочке. Шикарный лыжный костюм! И крепления на узких беговых лыжах – большая редкость! – металлические, «жесткие», не то что мои, на сырмятных ремешках.

«Лыжню!» – грозно прикрикнул он, и пришлось сделать шаг в сторону, уступить лыжню. Проезжая мимо, он что-то сказал своим, и ребята, пробегая мимо, засмеялись.

Я посмотрел вслед учителю. Ход у него был с нарочитым пружинистым приседом каким-то, с пританцовочкой, «фасонный». И его ученики, естественно, стремились ему подражать. Снова встав на лыжню, поплелся следом, а они всё удалялись, увеличивая расстояние...

Через несколько дней история повторилась. Я заранее сошел с лыжни, встал поодаль и стал думать, что мне такое сделать, чтобы на меня обратили внимание, зауважали, такое мужественное... Нагнулся, зачерпнул снегу, и стал его с независимым видом есть.

Проезжая мимо, учитель физры, вероятно, смекнул, что к чему, и бросил своим громогласно: «А, вот кто тут наш снег ест! А нам его потом не хватает...» Все опять засмеялись. И проехали мимо, пружинисто пританцовывая.

Конечно, шутка была безобидная, но я еле сдержал слёзы. Нет, не быть мне для них своим, равным лыжником...

И вот теперь, вспоминая те годы, думаю: какой-то доблестью, что ли, всегда было у нас высмеять кого-то, выставить этаким... И сам ведь потом старался от других не отставать. В общем, по Салтыкову-Щедрину: «Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки...» Да и куда эта «фабула» в пятидесятых годах так уж исчезла? Да и сейчас...

А насчет манеры бега на лыжах этого щегольского учителя физры... Видел я потом и накати-стый бег олимпийского чемпиона Веденина, и великолепных норвежцев и шведов, видел мощный ход финского гиганта Юхи Мието. И никто из этих великих лыжников не подтанцовывал вертляво, не выпендривался на лыжне...

3. «Няня»

«А няня старая оглохла, ворчит, не помнит ничего...» Когда всплывают в памяти эти строки Блока, я вспоминаю ее...

Никакой няней она, конечно, не была. Тем более старой. Эта девушка лет девятнадцати-двадцати в какое-то лето шестидесятых годов жила с матерью на даче у Елены Никитичны. Худенькая, изящная, любившая разгуливать по участку в невиданном заграничном купальнике (отечественных таких еще не было) – из двух узких полосок яркой эластичной материи на бедрах и на груди. Чего Никитична, естественно, не одобряла, но терпела.

Мне было уже лет двенадцать-тринадцать, я вовсю ездил в пионерские лагеря, и, возможно, это было мое последнее сестрорецкое лето.

У девушки было пушкинское имя – Наина. Та самая неприступная красавица из «Руслана и Людмилы», с приобретением жизненного опыта ставшая колдуньей.

В то лето в Сестрорецк должен был приехать в отпуск сын Елены Никитичны, Игорь, военный моряк, капитан-лейтенант. Я знал его, и он мне очень нравился – веселый, мощный человек, правда, казавшийся мне тогда старым, то есть лет тридцати. В появлении на даче Наины с матерью, которая была какой-то дальней родственницей нашей хозяйки, таился, как я теперь понимаю, элемент сватовства. Неженатого Игоря хотели познакомить с Наиной.

У красивой Наины был один, но существенный изъян – она была от рождения глухонемой. Хотя мать ее, конечно, крепко надеялась, что этот факт не станет определяющим для Игоря и их дальнейших отношений. Наивная женщина, видимо, была.

Бабушка моя между тем не упускала случая побурчать под нос, как бы про себя, чтобы только я и мог услышать: «Ну как же, нужна она ему, глухая, гнусавая...»

Почему гнусавая? Дело в том, что Наина умела говорить, то есть издавать звуки – действительно гнусавые, непонятные. И складывать из них слова и фразы.

Но непонятым этот язык был только для непосвященных. А я довольно скоро научился понимать Наину. И мне нравилась удивленная реакция посторонних, когда мы вместе выходили куда-нибудь в город. Картина была, вероятно, странная: девушка издает натужные звуки, а мальчик отвечает ей на нормальном русском языке. Такие вот диалоги. Я представлял себе, будто захавшая к нам иностранка говорит со мной на своем таинственном наречии. И только я его понимаю...

Конечно, Наина могла изъясняться и на языке жестов. Но в то время, как я теперь думаю, обучение глухонемых звуковой речи и чтению по губам было передовым направлением советской педагогической науки.

Кстати, прозвище «Няня» возникло из-за того, как Наина произносила собственное имя – «Ныня», как-то так. «Вон, беги, идет твоя няня!» – посмеивалась надо мной бабушка.

Надо сказать, что Наина хорошо различала, говоришь ли ты с нею нормально или только имитируешь речь, шевеля губами. Экспериментировал я не раз, пытаюсь ее обмануть. Но не удавалось. А иногда эта особенность оказывалась полезной.

Участок Елены Никитичны был засажен кустами малины, обычного сорта и желтой. Никогда потом не пробовал я такой крупной и сладкой ягоды. Срывать ее было категорически запрещено. Разве что хозяйка сама милостиво соберет несколько ягод и угостит.

Однажды с Наиной стояли мы среди кустов, и она протягивала мне пригоршню только что собранных ею ягод: попробуй! Как вдруг за ее спиной возникла Елена Никитична. Наина, естественно, ничего не слышала и продолжала совать мне малину. «Сзади Елена!..» – беззвучно, одними губами сказал я. Наина поняла и прижала пригоршню к груди. Хозяйка, вроде, не заметила, – во всяком случае, скандала не случилось.

А времени с Наиной проводили мы всё больше и больше. Бабушка моя как в воду глядела: приехавший в отпуск Игорь поначалу обратил внимание на красивую, пусть и глухонемую дачни-

цу. Но позже, поняв, что тут затевается сватовство, общение с нею свел к минимуму и всё больше пропал где-то в Сестрорецке или уезжал в Ленинград.

Относительно Игоря Наина всё поняла. Да, вероятно, ничего другого и не ожидала. И, таким образом, я стал ее штатным кавалером.

Вместе мы ходили купаться на озеро Разлив, сине-зеленые дали которого пропадали в зарослях камыша, отчего озеро со своими крохотными плавающими островками казалось еще таинственнее.

Неподалеку от декоративной арки на всхолмии в то лето был построен маленький «городок для гномов» (так прозвала его Наина). Это было кинематографическое изделие для съемки сверху эпизода какого-то фильма о войне. Сцены бомбёжки мирного советского городка фашистской авиацией. Улицы, перекрестки, двух-трехэтажные домишки сантиметров двадцати высоты, Дом культуры на площади, железнодорожный вокзальчик с цистернами на рельсах... Из картона, жести, фанеры, папье-маше. Однажды утром всё это мы нашли разрушенным и обгоревшим. Налет мессеров состоялся. Не стало больше нашего «города гномиков».

Уходили мы с Наиной и дальше, за станцию, через парк «Дубки», на Финский залив.

Однажды загорали там на пустом пляже. День был солнечный, но ветреный. Невысокие сосны вовсю шумели. Залив блестел, вдали виднелся Кронштадт с полусферой купола Николаевского собора.

Переворачиваясь на бок, я случайно взглянул на Наину. Верхняя полоска ее купальника косо сползла, и я увидел розовый сосок. Сейчас сказал бы о нем – «идеальной формы».

Не слишком понимая, что делаю, я придвинулся к ней, чуть обхватил ногами икру ее ноги, замер. Вот сейчас она рассердится, отдернет ногу, скажет что-нибудь резкое... Но нет – моя «Няня» глубоко вздохнула, придвинула бедро ко мне, словно «дала» мне его. Сквозь чуть приподнятые веки она внимательно смотрела на меня – серьезно, без улыбки.

Уже не слишком таясь, я оплел ее бедро своими бедрами, прижался к нагретой коже. Испытал пугающие толчки внизу живота. И сладость этого нового небывалого ощущения не забылась никогда...

После того лета я ее больше не видел.

«А няня старая оглохла...» Нет, это не про нее, «оглохла» – это ей никогда не грозило. Старая? – да, стёрлись наши шесть-семь лет разницы, оба мы уже старые – или почти старые. Далеко шестидесятые годы, нет Сестрорецка моей памяти.

«Не помнит ничего...» Мне почему-то кажется, что помнит. Ведь я-то помню...

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

Акварельное озеро. Помнишь, как мы смотрели многосерийный фильм об английских акварелистах? Они раскрывали этюдники в парках тенистых, а мы открывали такие возможности акварели (разумеется, чисто теоретически), о которых когда-то, на школьных уроках рисования, не подозревали. Вода и туман размывают реальность, что вся в повторах, вся в отраженьях сомнительных, в сплошном *едва ли*.

По существу, акварель – отражение английского романтизма: от якобинских симпатий – к спокойствию абсолютизма, вместо германских бездн – двуединство неба и моря, будущее и прошлое сходятся, вторя и споря. Это – озёрная школа: Саути, Кольридж, Вордсворт с долгой волянкой филологической – Кембридж, Оксфорд. Простые радости жизни с лёгким оттенком грусти... Образ лохнесского пугала узнаётся в большом лангусте.

Вот и вторая молодость минула... Бледные страсти радикального сдвига не вызвали – разве что чуть стугили краски бытийного ужаса, чтобы игрой на контрасте ожили разных эпох, не мешая друг другу, стили. Многообразье зелёного влечёт к элегической форме. Озеро напоминает об океанском шторме. Вода зацветает к августу, как после бури, буря. Кистями в стакане торчат обломок весла, фок-рея.

2011

Репатриант

Пригляделся и Явленного узнал,
из анналов извлёк провидческий фоторобот,

Борис Лихтенфельд родился в 1950 году, живет в С.-Петербурге. Публиковался в журналах «Обводный канал», «Часы», «Арион», «Волга», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Зинзивер», «Дети Ра», «Слово\Word», антологиях художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Петербургская поэтическая формация», «Лучшие стихи 2010 года» и др. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000), «Метазой» (2011).

убедился, увидел: воистину Сын Давидов –
и пошёл за Ним, не вполне себе представляя
предстоящий путь. Оказалось, как раз и вёл
к той реке святой, к тем горам святым и пустыням,
в тот заветный град... Но как только нашёл приют в нём,
усомнился: да Тот ли? а может быть, поспешил?
Может быть, не настало время ещё и надо
ещё долго ждать со смиреньем, как ждали предки?
Может быть, о ком-то другом вещали пророки?
Огляделся, увидел ждущих вокруг, подумал
и решил пришествия дальше со всеми ждать –
всё равно какого – первого или второго...

2012

Пастораль

Эротический танец стрекоз голубых:
изогнувшись, прижались друг к дружке, как две запятых.
«Мир прекрасен!» – кавычки повисли,
вывода на прямую, рождённую музыкой, речь
или, чтобы от ложного пафоса предостеречь,
намекая: да нет, не в прямом, разумеется, смысле.

Здесь, под ласковым солнцем, вдали от страданий и бед,
от проклятых вопросов, таящих банальный ответ
«это всё ненадолго», природа ли, Бог ли –
хореограф, вчитайся, дрожащая тварь,
в пируэты любви, в перезрелой морошки янтарь!
Помнишь, Пушкин просил перед смертью?.. Чернила ещё не просохли,

как и слёзы, с того (на слуху Пастернак) февраля...
А стрекозы немолчной жизелью, беспечным своим труляля
летний морок усердно клубят перед зимнею стужей.
И вербальный прозрачен балет. Партитура его – палимпсест:
вещих муз хоровод или нежных загробных невест?
Не овец ли словесных рожок созывает пастуший?

«Жизнь – блаженство!» – жужжи-стрекочки, пока пыл
не остынет! Наверно, ты просто забыл,
что не Эрос, а Танатос этою музыкой пылкой
дирижирует, губы – два жирных синюшных червя –
то слюной увлажняя, то нервно кривя
саркастической скользкой ухмылкой.

2014

Утонул инженер человеческих душ
в утопических грёзах всегдашних,
и теперь твой черёд: потихоньку разрушь
цех его, диверсант-саботажник!

От станка Гутенбергова за облака
чтоб слова улететь не успели,
разболтай, раскурочь механизм языка
и настрой на преступные цели!

Незаметно ослабь семантический болт,
чтоб, контроль обманувшая строгий,
речь твоя, пережив и коллапс, и дефолт,
в область новых вошла технологий!

2015

Кириллу Бутырину

Справедливость, свобода, честь и слава отечества...
Всех высоких понятий тучные облака,
друг о друга трясь и чешась в толчее овечества,
и паршивого не отшерстят от руна клокка.
На любое из них, пусть самое достославное,
и бесправный раб или узник своё найдёт
возражение: но ведь не то и не это главное!
И зачем повторять эти руны, как анекдот
с бородой козлиной. Как там – «ярмо с гремушками»?
Не понятия, а проклятия – и всё гремят, гремят,
и свистит над ними бич громовержца Пушкина:
весь греховный луг им, как ливнем шальным, примяют.
Эти язвы не заживут без доброго пластыря.
Чем бы уши заткнуть, чтоб не слышать со всех сторон,
как ползут на убой, вразной-вразброд благодарствуя,
это бляньё, это мычание, этот стон
из некрасовских песен? Твердя сей бред идиллический,
идентичность свою обретёшь разве что в козле
отпущения всех грехов до потери личности
гражданина мира, который лежит во зле.

2015

Ну хорошо: Крым – ваш! Когда ж удастся вам
с ним сообщенье новое наладить,
легко найдёте вы и там,
чем поживиться, всё успеете изгадить.
Уже доносит южный ветер вонь
от берегов пленительной Тавриды,
ещё не знающей, какие любит виды
олигархическая шелупонь.

Но всё яснее, сколь мозги ни пачкай
сакральностью корсунских скреп,
какие дамы вместо той, с собачкой,
нагрянут в стратегический вертеп.
Когда-нибудь фонтан иссякнет эйфории
(а он иссякнет, кажется, скорей,
чем старый, мраморный, что пушкинский Гирей
воздвигнул в память горестной Марии).
Тогда не Макс – другой какой-нибудь Волошин
(или Володин, хитрый интриган)
крымчанину кремлёвский балаган
преподнесёт – и тот уж облапошен!

Медвед-гора урчит, что денег нет:
польнь и асфодели, а казна-то
пуста! Зато в конце туннеля – свет!
Зато веки там не будет базы НАТО!
Затопит землю эту, как Сиваш,
гниль вашей алчности безмерной.
Душок распространится, чтобы скверной
всё поразить... Ну хорошо: Крым – ваш!

2016

Елена СУНЦОВА

Снежный покров не лежит на прогретой земле
Я забываю что видела в этой золе
В этих объятиях холода мороси снов
Я не лежала как будто я снежный покров

Путаясь в яви из горлышка память глуша
Я не ищу ни спасения ни палаша
Чтобы отсечь многоглавые тени ночей
Утра лишь ярче лишь стеклышки эти звончей

Так снегопад напирает ударом под дых
Бледным столичным рассветом выносят святых
И окружают водой ей под силу укрыть
Силу любой теплоты и такую же прыть

Я провожаю тебя и весь обморок мой
Но напиши мне когда доберешься домой
Чтобы опала скукожилась зимняя страсть
Чтобы земля научилась себя прогревать

Прощайте две тени у этих дверей
Пусть охраняет насупленный Камов
Огни золотые былых фонарей
И я не забуду не вспомню пока нам

Еще хорохорится снятся еще
Ноябрьские звезды июльские плечи
И нашим бокалам вблизи горячо
Звенеть и искриться и требовать встречи

Елена Сунцова родилась в 1976 году. Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. С 2008 г. живет в Нью-Йорке. Автор десяти книг стихов, а также публикаций в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый мир», «Урал» и других. Лауреат специального диплома премии «Anthologia» за создание издательства «Айлурос» (Ailuros Publishing), главным редактором которого является с 2011 г.

А там в высоте на седьмом этаже
По-прежнему это окно зажигают
Там новые двое согрелись уже
И прежние сполохи стены ласкают

Как просто запутаться сбиться с пути
Спастись потерять опомнясь вернуться
И то что дороже себя обрести
К чему не посмела опять прикоснуться

Вот разрушается, смотри,
Смотренью это разрешай,
Там ложка, полая внутри,
Долбит мороженого шар,

Как камень шара жизнь долбил,
Со всеми возгласами в ней,
Так тот, которого любил,
Еще живой, уже теней,

Их братства глупого, масон,
Гнедая кровь, седая кость,
Он наизусть произнесен,
Проволочен уже насквозь,

Но ложку можно повернуть
И каплю, если повезет,
В нее поймать, вздохнув, вдохнуть
Печальнобокий ныне сон,

Так шаром катится слюна,
Чтоб этот ужас увлажнить,
Вот разрушается стена,
К которой мне не прислонить

Ни плеч смеющихся, ни рук
Как таковых, как не моих,
Так не твоих, и мерзкий звук
Всеразрушения проник

В ту сердцевину существа,
Где плоть срастается с землей
И где вода была права,
Нам подтасовывая клевет,

Возьми же в руки горсть своих,
Нет, наших, сбывшихся одежд,

Всех этих саванов, без них
Любви винительный падеж,

Смотри, шевелится в кривых,
Пустых развалинах, без сил,
В слепых фигурках домовых,
Которых ты домой носил,

И вот стоим и смотрим, как
В пыль превращается броня
Тех слов, что ты во мне искал,
И больше нет их у меня.

Памяти Д. Д.

Откажется память
Беречь и выдумывать слух,
Касаться губами
Любимых нетронутых рук,

Останется сдаться,
Остывшую ночь сторожа
Параболой танца
Веснушки на устье ножа.

Сломается льдинка
В подтаявшем утреннем сне,
Как прозвище Динька,
Вот тут и почудится мне,

Поспевшим, неверным –
Не верить такому нельзя –
И он будет первым,
С кем я не закрою глаза.

Твои кусочки радости, мои ошметки верности,
Все Маши разбежались, все Наташи растеклись
По крылышкам случайности, комочкам принадлежности,
Растаяли, уехали, по камешкам прошлись.

Все Кати пригорюнились, всех Лен облатка за полночь
Скрутила и, беспамятная, птицей легкой вдаль
Взлетела и, кормя ту ослепительную шапочность,
С тобой знакома будучи, нажала на педаль.

Опомнились Ирины, Насти выдумали поводы,
Согласно им, ввергаться в искушение родством
Лишь временный опаздывавший юношеский голод, и
Его принять готовы преклоненным существом.

Взволнованы все Жени, Саши, Вали успокоены,
Капели карамель течет и падает туда,
Где заживо сигаешь в света белые пробоины
И, наглая, ярится беззаконная звезда –

Без имени, вне имени, лукавой беспризорницей,
Которую не спрятать, не оставить, не назвать,
Растеряна, напугана, сияет в небе горлицей,
Которой безразлично, чье дыханье отпевать.

До отвращения жив бесподобен реален
Спрятан в руках одиночества прян музыкален
Притча такая была не водись с отраженьем
С белой лукавинкой ангела не снаряженьем

С нею поборешься о все бессильны канаты
Будут поверь нежелательны счастья кантаты
Что чаровали змеились дурманили тая
Вот и попалась такая вот пара витая

Если любовь настигает простить невозможно
Друга невымышленность погибаешь бескожно
Воздух хватаешь алкая живейшей водицы
Мертвая брызнет остынешь как те рукавицы

Так побывав в восхитительном рая кармашке
Верность поймешь нахаленку изгою замашке
Быть навсегда там где радостью море блистает
Свет выключаю твое отражение тает

Кот бежит земля дрожит
Путь сквозь родину лежит
Широка страна и в ней
Спотыкаешься сильней

Если вправо ты пойдешь
Однозначно упадешь
Если влево ох смельчак
Значит ждет тебя нунчак

Помню были времена
К лапе ластилась страна
Это сон туманил глаз
Оставляя перифраз

Если выдран шерсти клок
Поделом же лежебок
Так во сне к охапке ос
Ненароком ты прирос

И если можно с ней но что же будет с ней
Она моя судьба ей море не чета
Но почему она похожа на убей
На то что я увы не помню ни черта

Ни маленькой черты ни носа губ ни глаз
Ни пряди на висок спадающей нигде
Никак не вспомню я но миллионный раз
Преследует меня и в моря темноте

Та маленькая гроздь колышется уйти
Уйди в ту темноту где не бывает лиц
Где лозы по ногам хлестали нет кути
И ты увидишь свет безжалостных столиц

И зеркало не лжет я вижу этот взгляд
С чего бы он возник и заострил черты
Да видимо есть плоть и в этой плоти яд
И капли на лице как на стекле и ты

Что проворонила сваха,
Вот и неважно, плачевен
Быт, убежала заварка,
Велик в прихожей ничей.

Был и не буду, не буду,
Била, жива и вертя,
Пластиковую посуду,
Супом кормила дитя.

Полбьтия, пилорамы
Города, бабочки век.
Глупые злые рекламы,
Дворники, сжавшие снег.

Иван БЕЛЕЦКИЙ

Машина сворачивает, солнце перестает печь висок.
Дорога становится белой и будет слепить,
пока солнце не сядет.
Она проложена как было проще.
Здесь проходили ватаги и дикие кабаны,
теперь она расширяется и способна вместить автобус.
Вокруг есть трава, острая для всех органов чувств.
Небо темнеет, мы забираемся все дальше
в плохо освещенную местность.
Мы блюдем ритуалы,
но мы в безопасности.

Американская комната с призраком за стеной:
Кто-то бился под черную музыку и стенал.
Город готовился праздновать День всех святых.
Призрак был взаперти.

У хозяина будто фальшивая борода,
У съемщиков точно поддельные паспорта.

Листья умеренно падали во дворе.
Свет кусками выхватывал потолок,
Заполняя комнату от дверей:
Хоппер бы смог.

Мы знали, что эти участки дарованы для пшеницы,
Те – для овса, дальше для ячменя.
Думали, память земли о земле хранится
Или ее хранят.

Но земля пригодна по большей части для сбора пыли.
Как мы – для усталости, для вины,

Иван Белецкий родился в 1983 году в Краснодаре, в 2005 окончил юридический факультет. Работает журналистом. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге. Стихи публиковались в журналах «Крещатик», «Урал», «Нева», «Волга» (2014, №11-12; 2016, №1-2).

Для искусства сказываться большими
По выходным.

Небо не треснет, луна не зацепит сучьев,
А из земли не восстанет выношенный скелет.
Только поля, только сезон насыщенный
и хлеб.

Кубанская дикая ночь, вся в известке и сундуках.
Но ничего не спит, так как мешает страх.
Валяются облака, смотрит вниз козодой.
Мается эскадрон, скинутый на постой.
Дом монотонно стоит, темен, скошен, горбат.
Брошенные в полях, умирая, не спят.
С бритвой наискосок, спрятавшись у окна:
«Я помнил о страхе всё, но, видать, не всё знал».
Страх приходит один и берет под крыло
Черной гравюрной земли, где белеет село.

Весна, градиенты, ожившие тени.
Земля как чужая смерть.
Проснуться, и встать из былинной постели,
И заживо постареть.

Когда-нибудь выйти к одной из окраин,
К большим магазинным огням.
Где лето наступит, и небо завянет,
И прошлое втянет меня.

Ключ от погромов, ключ от приступов кашля,
ключ от голода.
Сила дикого быка разлита по бурьяну,
и бурьян усыхает.
Землю трясет, потому что по ней скачет бык
с заштопанной шкурой.

Диета из воды и угля, от которой краснеет лицо
и тело темнеет внутри.
Если тебя высадят здесь, ты почувешь угрозу:
бока твои будут открыты.

Дорога между холмов,
трава, достающая до подмышек.
Шахтерские логова, выброшенная порода.
Бык, стало быть, ходит вверху,
где холмы набирают вес,
а ты глядишь снизу.

Воздух вдыхается, ворона плетет гнездо.
Конь непонятной масти, а должен был быть гнедой.
Потому что на нем посылали из этой глуши
выменять табака на мешок черемши.

Время засохло, как стираное полотно.
И у коня лес летит из-под ног.
Справа город, где поселился враг.
Слева горы, а которых летает мрак.
Посередине река. И разбит огород
у перехода из этого мира в тот.

Может быть, это и стоит принять –
Как на ходу меняется масть коня.

Лев УСЫСКИН

ЧЖУАН-ЦЗЫ

(Из цикла «Пути Мнемозины»)

...Осталось рассказать про этот чужой сон – привидевшийся как-то невзначай моему соседу по убогой комнатке студенческого общежития.

Снилось ему, что сидит он за нашим столом и читает книгу. Толстую и интересную, уже порядком истерзанную прежними читателями, с утратившими белизну страницами и потрепанным переплетом, – по всему, взятую в институтской библиотеке или же у кого-то позаимствованную на день или на два.

Молочный свет пробивается через давно не мытое окно... Квадратная столешница из чего-то бурого, как текстолит, с застарелыми хлебными крошками и засохшим пятном от пролитого чая...

Неловкое прикосновение всякий раз покачивает стол – пугая буквы и заставляя их спасаться в соседние шевелящиеся строчки... Надо бы поправить подставленный под ножку кусочек картона, сложенный вчетверо, – да только недосуг: от чтения не оторваться никак, книга привязывает к себе, вбирая в себя полностью волю и не оставляя времени ни на что.

Видимо, книга и впрямь – хороша. Известно, что мой товарищ охоч до чтения – но дело сейчас не в этом даже... потому как он отчетливо *знает*...

...что в действительности-то – спит!

Он понимает, что все происходит в золотой паутине сна, время которой на исходе и которая вот-вот прервется, заместившись повседневной явью – где, впрочем, будет та же комната, тот же стол и то же окно. Но уже не найдется той книги – и стоило бы по меньшей мере запомнить ее название.

...И нужно самую малость: оторвавшись от чтения, хотя бы на миг захлопнуть обложку, выяснив, что же на ней написано...

Но это же значит – и пожертвовать чем-то: несколькими строчками или даже абзацем – которые так и останутся непрочитанными в миг пробуждения!

Мучительно...

Мой товарищ спешит – словно играющий в блиц шахматист, нервно прощупывающий бо-

Лев Усыкин родился в Ленинграде в 1965 году. В 1988 году окончил Московский физико-технический институт. Публикации в журналах: «Нева», «Постскриптум», «Неприкосновенный запас», «Волга», «Новое литературное обозрение», «Отечественные записки», «Урал», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг прозы, в том числе романа-сказки «Необычайные похождения с белым котом» (премия им. В. Одоевского, 2016). Живет в Санкт-Петербурге.

ковым зрением нависание предательского флага – падение которого неумолимо и все ближе и ближе с каждым мгновением... ужас грядущего переполняет его, парализуя паникой...

Все же он решился на что-то... Превозмогая насылаемый богами сна паралич и чувствуя первые признаки подступающего пробуждения, мой товарищ рывком встает из-за стола и, захлопнув книгу, единым движением успевает воткнуть ее в ряд ей подобных, прильнувших друг к другу на приколоченной к стене книжной полке. И затем, уже последним усилием – нет, не воли, конечно, а ее зазеркального собрата – пытается в точности запомнить то место, где теперь расположился этот новый грязно-синий корешок... Нелепая пересылка меж несообщающимися мирами...

=====

Проснувшись, он тотчас же бросил взгляд на книжную полку – прежде еще, чем мягкий обруч окончательного отступил от его головы, забрав с собой во всегдашнее *ничто* последние следы давешней нежности.

Полка ничуть не изменилась: черный томик телефонного справочника организаций и учреждений города Москвы устало оперся об «Основы теории дифракции» Б.З. Каценеленбаума – никакого синего корешка между ними, конечно же, не было.

Мой товарищ качает головой и незлобно выругавшись, опускает на пол волосатые ноги.

24.03.2015

Сергей КУЛАКОВ

ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Рассказ

Был теплый весенний день. Внезапно поднялся ветер. Сильный его порыв взметнул свисавшие края черного ситца, которым был оббит гроб. Ветер скоро успокоился, утих, а я всё смотрел на это лицо, которое с выражением покоя и безразличия ко всему лежало во гробе, возвышаясь над остальным телом, над сложенными кистями рук, из которых торчала потухшая свеча.

Подходили, немного постояв – уходили незнакомые и знакомые люди. Они говорили, покачивая головой (и отчего-то полупешотом), о том, как не похожа покойная на ту, живую, энергичную женщину, которая прежде была моей матерью. Я стоял рядом с гробом. Я внимательно смотрел на впалые глаза, на заострившийся нос (его пышные, «африканские» ноздри теперь сузились, точно сдулись), на едва приоткрытый рот – щелочку, образовавшуюся между тонкими, бескровными губами (куда подевались прежние пухлые губы?), на острый подбородок над узлом платка... Лишь изредка проступали – больше даже угадывались – прежние, знакомые черты. Я был удивлен, потрясен и увлечен этими открытиями, и почти не замечал ни времени, ни тех, кто стоял рядом...

Когда должно совершиться какое-нибудь событие, чем ближе оно – время уплотняется, сжимаясь пружиной, точно играя с нами и как будто оттягивая наступление этого момента, обостряя наши чувства, желания, фантазии о том, что должно произойти. Прикрыв глаза, погрузившись в

Сергей Кулаков родился в 1964 году в Архангельске. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал Поэтов». Живет в Ялте.

это плотное течение времени, кажется, я слышал, отчетливо слышал глухой, замедленный стук падающих – одна за другой – неторопливых песчинок о стекло. Я почти физически ощущал, как изменилось время, будто в огромных песочных часах, точно по волшебству, перекрывался шуршащий поток песчинок, давая возможность проскальзывать им по одной, по одной – медленно, очень-очень медленно.

Крупная, с булавочную головку величиной, песчинка медленно падала; летела вниз; ударялась о стекло, глухо звеня; подсакивала; переворачивалась в воздухе; вновь падала, ударяясь о стекло...

Время, очнувшись, возвращалось к привычному ходу, возможно, слегка стыдясь того, что проявило подобие чувств. Покойную надо было везти на отпевание. Двое мужчин подняли гроб. Он показался мне маленьким. И она – там, во гробе – была маленькой, гораздо меньше своего, и так небольшого, роста; и ещё – она была такой одинокой среди нас, живых.

Мы с братом сели в катафалк, роль которого исполнял старенький автобус, – позади, рядом с гробом. Ещё несколько человек сели внутрь траурного авто. Они были знакомы нам. Все, кто сидел внутри, натянули на лица унылые маски. Все молчали, потупив взор. После ожидания чего-то, что так и не произошло, – кто знает, может, ожидали незримого сигнала смерти, который она, наконец, дала?! – катафалк тронулся в путь.

Всю дорогу я смотрел в лицо покойной. Оно удивляло меня. Обтянутое желтовато-серой кожей лицо было лицом чужим, незнакомым. Это было лицо смерти. Я не знаю, видели другие то, что открылось мне, или нет: лицо смерти не было обращено к ним, оно было обращено ко мне. Я смотрел на него, оно – на меня, а я на него, и не мог отвлечься, оторвать зрение от удивительного этого лика, который не спеша открывал мне свои чудеса...

Вокруг по-весеннему щедро светило солнце. Иногда солнечные лучи падали на лицо покойной, выделяя гладкий, восковый лоб под платком, и тогда нельзя было понять, кто лежит в гробу: женщина или мужчина. Это было тело. Тело лежало в гробу. Руки его – сложены под саваном. Тело было чужим. Оно не принадлежало этому миру. Иногда тело встряхивало на неровностях дороги, но оно покорно переносило всё, что делали с ним живые, всё, что делала с ним жизнь, точно кукла, которой играют дети.

Пускай будет так пускай делайте что хотите все снесу недолго вам забавляться осталось...

Во время всего пути – как и потом, на кладбище – мне не хотелось плакать. Мне не было больно от утраты. Всё, что захватило чувства мои без остатка, – невероятное удивление от перемен, открытий и преобразований, которые преподносила мне смерть.

Вячеслав ХАРЧЕНКО

ТРАМВАЙ

Рассказ

И вот он, тридцатилетний, неплохо одетый, лысоватый, вышел из трамвая и лег на рельсы.
– Вставай, – крикнула вагоновожатая, но он не встал.
Лежал на рельсах, смотрел в небо и о чем-то думал.

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Закончил школу в Петропавловске-Камчатском, выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крестьянка», «Новый берег» и др. В «Волге» публиковались рассказы «Шахматист» (2014, №3-4), «Сколупендра» (2015, №7-8), «Домик-пряник» (2016, 1-2). Живет в Москве.

– Вставай, – повторила вагоновожатая и выпрыгнула из трамвая, закурила «Яву», сплюнула на землю и несильно пнула его ногой.

– Как тебе не стыдно, – возмущались пассажиры, – мы на работу опаздываем.

– Я тоже на работу опаздываю, – сказал он и повернулся на правый бок.

Несмотря на полдевятого, стояла удушающая июльская жара, летали стрижи, чирикали воробьи, в окнах сталинских пятиэтажек появились подсматривающие. Из московских фонтанов лилась и сверкала пьянящая влага, всем хотелось пить.

– Как тебя зовут, – спросила вагоновожатая и поправила выбившуюся на лоб прядь.

– Николай, – ответил он.

За трамваем образовалась пробка, и некоторые водители были не прочь раздавить Николая колесами, но объехать электрическую махину не представлялось возможным, поэтому они просто гудели и матюгались из открытых форточек.

– У меня мужа звали Коля. Придет с завода, поест борщ и футбол смотрит. Зато детей не бил.

– И где он? – спросил Николай и перевернулся на левый бок.

– Зимой 2006-го проходную прошел, а дома не появился.

– Я тоже хотел дома не появиться, а тут трамвай, – Николай приподнял с рельсов голову и посмотрел в глаза вагоновожатой. Глаза были серые, обыкновенные, а спецовка оранжевая. – Как твое имя?

– Зина. Хочешь, я тебе бутерброд дам?

В трамвае истерили женщины. Они требовали, чтобы мужчины стащили Николая, но мужчины не хотели с Николаем связываться. Может, он чемпион по боксу.

– Ты когда-нибудь море видел? – Зина наклонилась над Николаем и провела ладонью по его щеке.

– Один раз в детстве был в Евпатории, мама возила.

– Ну и как там?

– Чайки орут, волны бегут, альбатрос летает.

– Счастливый.

В вагоне оказалось три таджика. Они вышли наружу и стали о чем-то совещаться. Кто-то требовал вызвать милицию, но все понимали, что милиция не придет.

– Может, скорую, – предположил ветеран с медалями.

Стали звонить в МЧС. Там посоветовали дать Николаю по морде. Позвонили мэру. Мэр был занят. До работы оставалось пятнадцать минут.

– Я никогда не думал, что жизнь конечна, – Николай посмотрел на часы и удивленно хлопнул ресницами. – Вот ты, Зина, думала, что жизнь конечна. Сидишь, сидишь, ходишь, ходишь, а получается, что жизнь конечна.

Зина затушила окурок о трамвай:

– У меня Стасик в этом году в десятый класс пошел. Говорит, хочу в институт на полярника.

Где учат на полярника?

– Но если жизнь конечна, то смерть вечна, – Николай сел на рельсах и еще раз посмотрел на Зину. Потом он посмотрел на часы, встал с рельсов и сел в трамвай. Пассажиры расступились и ничего ему не сказали.

Зина села за руль и откусила кусок бутерброда. Потом нажала на рычаг, и трамвай, медленно разгоняясь, покатил по рельсам.

«Жизнь бессмысленна», – думала Зина.

На перекрестке постовой отдал честь. Дети перебежали дорогу. Николай смотрел в окно. Люди входили и выходили.

Елена ЗЕЙФЕРТ

Язык

этот звуковой пейзаж
рождается внутри арки между рёбрами гиганта

вверх
– кольцами! –
брошена цветная бечева
небесные всадники обвязывают ею шеи своих лошадей

танцующее небо

собор осыпается до колокола

сколько золота и серебра в бронзе языка!

купол раскачивается
и бьётся
о царственный неподвижный язык
Бога
в зрачке каменного окна-розы

Париж, Нотр-Дам де Пари, 19 августа 2016

parisium
нежится
на спинке латинского языка
лежащего на дне сены
под горой святой женеьевы
вдоль узких улочек латинского квартала

как стрелы
летят в небо лучи языка

Елена Зейферт родилась в 1973 году в Казахстане, в г. Караганде. С 2008 г. живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Автор шести книг стихов, русско-немецкой книги-бilingвы «*Namen der Väite/Имена деревьев*», сборника стихов и прозы «*Малый изборник*», книги прозы «*Сизиф & К°*», книги критики «*Ловец смыслов, или Культурные слои*» и др. Публиковалась в журналах «*Знамя*», «*Октябрь*», «*Дружба народов*», «*Литературная учёба*», «*Новая Юность*», «*Волга*», «*Урал*», «*Нева*», «*Крещатик*» и др.

в шёлк
завернута тишина
колоколов

площадь измерена
голубиными шажками

рослый лувр опустился на колено
перед цветком
выросшим между плитками на мостовой

Париж, август 2016

Из цикла «Портреты»

Падающий на твой висок и щеку
свет
похож на пощёчину.

Он лежит плашмя,
пока темнота танцует
на твоих коротких ресницах, слёзных мешках, зрачках.

Её точечный танец на зрачке
узок.

Свет останется,
когда ты уйдёшь,
не освещённые черты просядут
под тяжестью молитвы.

Лоб и глаза в черноте,
ты ходил по небу,
твой приоткрытый рот –
вода,
текучая колокольня,
внутри которой
звонарь всегда голоден,
а звон насыщен.

Часть твоего лица молится,
часть – танцует.

Из венецианского цикла

зёрна
моего зрения
кормят
разбежавшихся птенцов
которых так хочется собрать с твоей детской верхней губы
и мягкой поросли подбородка
и вернуть в гнездо языка

но я слушаю твои стихи и мои руки заняты
воздушными слепками
ритма твоих пауз
и говорения

начиная петь
ты дуешь в парус своих носа и губ

если прижаться поющим лицом к моим волосам
в них откроются люки
впускающие в себя твои плывущие вперёд черты
и каналы венеции под ними

Внутреннему ландшафту

ступивший на мостки
капитан корабля
похож на выдыхательное движение
или застывший в воздухе манёвр шахматного коня

короткая ночь на плавучем мосту Понте-делла-Монета
и звёзды

пальцы моих зрачков знают только воздух возле твоих губ и носа

ты роскошен посреди своего пейзажа
растущего к естеству а не усилию

за кромкой ночи тает грифель

Моей дочери Ане Вайханской

ножницы надводных листьев лотоса
выдохнули

а н н а

как рыбак я ловлю тебя зеркалом моего неба
облизываю тобой губы

ты приходишь ко мне
когда исчезает боль

с детства я писала стихи о синеглазой снегурочке с хлебную крош-
ку
книгу, книгу синих стихотворений

мне невероятно повезло

как плод я выносила воздух
и вынула его из своего бессонного уха
окликнув первичным именем

а н н а

глоток моего молока
как лепесток белой гвоздики течёт по твоим щекам

кто-то уносит на кончиках своих пальцев толчёный лазурит

девочка
твои ресницы ночные звери
они растут до бровей
и затем уходят пасть к высоким-высоким горным буграм
в рамке моих спелых хлебных волос

твой язык
колокол в колокольчике
напрягает свободную уздечку

я целую щелкунчика на твоей нижней губе
с сабелькой наголо
и куколку в розовой пачке

а н н а

Из влажного каштана

на крыше высокого дома девочка удерживает от ветра
зелёные и синие воздушные шары
свои длинные светлые волосы
розовую юбку

в воздухе нарастают древесные кольца одиночества и смеха

но с первым лучом она отдаётся ветру
и летит

канат луча похож на качели-лодочки

напротив девочки рождаешься ты
по другую сторону взлёта

о цветок и корни сияния!
о Tetigit!

я влекома к лугам
где пасутся тёмно-гнедые лошади твоих радужек
диковинные сентябрьские лошади выточенные из влажного каштана

они пьют верблюжье молоко из Чьих-то рук
моя кожа щекочет их разомкнутые ноздри
рисует проточкины на их лбах
их гордые плечи и крупы

сквозь тебя как сквозь небо летят дети женщины и мужчины

мы растим розу и роза растёт в нас

ласка вместо одежды
песочные фигурки лепестков

золотая богиня
кулоном
лежит
на твоей груди

какие сильные плечи! сколько солнечных пальцев на них!

я на цыпочках тянусь к лучу ложбине твоего живота ресницам и стопам
твои ресницы целуют мочку моего уха
вдох
белое, белое молоко

в моём городе в парке возле дома
царственная скульптура твоей руки

листопад
небо

Владимир ТУЧКОВ

РУСАЛКА

Попытка реконструкции

Выкапывал на берегу Вори ямку,
чтобы похоронить замученную котом безвинную птицу.
Видел утром, как была полна жизни,
выписывая пируэты над яблоней.
И в том скольжении с невидимых воздушных горок,
заканчивавшихся трамплинами,
было столько надежды на вечность этого лета.
Всё, примерно, как и нас, прямоходящих.
И, сосредоточившись на невеселых размышлениях о том,
кто что предполагает,
а кто и располагает,
и почему этого самого располагающего
непросто признать эталоном справедливости,
углубился в землю сверх меры.
То есть места вполне хватило бы не только этой несчастной птице,
но и ягненку,
которого для оправдания располагающего величают агнцем.
Вдруг в земле что-то блеснуло.
Желтоватое.
Пуля, подумал я.
7,62.
Нет, золотое колечко.
Но какое-то слишком странное.
Оно впору было бы разве что этой птице, которая лежала чуть поодаль,
чья зрачки того же калибра
были покрыты веками без ресниц.
Откуда?
Ведь сорок лет назад, когда сюда нахлынула городская пена
с топорами, пилами, молотками, лопатами
место было абсолютно дикое.
И тут я вспомнил, как примерно месяц назад

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского рассказа XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. В «Волге» публиковалась проза (2014, №11-12) и стихи (2015, №11-12, 2016, №3-4).

в поселке появился странный человек –
в черном пиджаке, несмотря на жару,
с какой-то деловой папкой подмышкой.

Взъерошенный.

Назвался краеведом.

Рассказывал, что здесь была мельница.

Я не поверил.

Поскольку ничто в русле спокойной реки не говорило о том,

что когда-то ее заставляли работать,

впрягая в постромки, хомут, оглобли, шлею и прочую упряжь.

Воря – вольная птица.

Но краевед с ловкостью фокусника выдернул из папки нужную бумажку

и, продев за уши дужки очков, прочитал из писцовых книг Троице-Сергиева монастыря:
«Под селом Барково на реке Воре мельница немецкая мелет на двои жорновы, во дворе
мельник Перша Сысоев, мелют на монастырь да за молотьем собирают на той же мель-
нице найму по десять рублей в год».

– Это когда же было? – спросил я недоверчиво. – При Николае? Разумеется, Первом.

Краевед скривился в усмешке, мол, вчерашний день ему неинтересен.

И выдернул из папки еще одну бумажку, воздев перст вверх,

где в воздухах птицы чертили незримые тайные знаки.

– Писцовая книга от тысячи пятьсот девяносто четвертого года, – сказал он с таким пафосом,

словно намеревался сообщить о местоположении библиотеки Ивана Грозного.

И продолжил: «Ручьем Бритовским до реки Вори, да рекою Ворею вниз от лужка до
большие мельницы, что под лесом под Барковым, направо земля Троицкая села Бар-
кова и налево земля государева царева и Великого князя Федора Иовановича вся Руси
дворцового села Задвиженского деревни Бритовы да деревни Яковлевы...»

Я прервал краеведа, хоть это было и невежливо.

Все-таки человек, испытывающий неподдельный восторг,

проникая всем своим существом в седые загадки отчизны.

Просто мысль о том, что все мы тут,

в пойме Вори, –

холопы придурковатого сына Ивана Грозного,

меня сильно взвеселила.

– Я бы на вашем месте почитал за честь! – оскорбился краевед,

сверкнув стекляшками очков, на которые упал луч выглянувшего из-за тучи солнца.

На том и расстались.

И вот это колечко!

Колечко из глубины еще непонятно чего.

И оно тут же вытаскивает из памяти краеведа.

За ним – князя и мельника, Першу Сысоева.

И тут же – Пушкин.

За которым следует Даргомыжский – с партитурой, с либретто, с ариями и народными
песнопениями при лунном свете театральных прожекторов.

В общем, «Русалка».

Как говорится, ложи блещут.

Здесь, на Воре.

Которая протекает в тысяче километров от Днепра,

в котором Пушкин утопил обманутую Наташу.

И это странно. Поскольку Александр Сергеевич никогда ничего не писал с кондачка, наобум.

Он вообще ничего не придумывал.

Потому что не мог. Такова была конфигурация его гениальности.

Даже сказки у Пушкина абсолютно документальны. Все сюжеты позаимствованы им либо у немцев, либо из родного фольклора.

То же самое можно сказать и о недописанной «Русалке».

И первоисточник тут, разумеется, наш, отечественный – писцовые книги Троице-Сергиева монастыря.

И это, несомненно, история о Федоре Ивановиче, сыне Ивана Грозного.

И вполне понятно, что действие с участием inferнальных сил, то есть русалок, перенесено подальше от обители преподобного Сергия Радонежского.

На Днепр с его знаменитой Лысой горой.

Вот там им самое место.

Однако это не единственное и не главное отступление сочинения Пушкина от реальных событий, описанных сергиевопосадскими писцами.

Потому что соавтором у Пушкина был Николай, император,

добровольно взваливший на себя обязанность цензурировать творения гениального поэта.

И тут был особый случай – щекотливая тема, затрагивавшая репутацию, как теперь принято выражаться, первых лиц.

Император пришел в восторг от «Бориса Годунова» той же тематики.

Иначе и быть не могло, поскольку «Борис» был написан по мотивам

«Истории государства Российского» Карамзина.

Книги официально одобренной и утвержденной в качестве исторического эталона.

Здесь же шла речь о росказнях монахов, надувшихся браги!

Пушкин, как это было ему присуще, сразу же окунулся с головой в работу, как только пальцы попросились к перу.

И первый вариант «Русалки» был готов уже в 1827 году.

Император, прочитав драму, пришел в ужас.

И попросил Пушкина переписать ее таким образом,

чтобы Федор Иванович стал безликим князем.

Новый вариант был готов в 1829 году.

Но и он не был принят цензором.

Было предпринято еще несколько попыток,

которые уводили Пушкина от описания реальных событий все дальше и дальше.

И в 1832 году Александр Сергеевич понял, что драму надо бросать.

Потому что получается не оригинальная драма, а ремейк комической оперы Николая Краснопольского «Днепровская русалка», либретто которой Краснопольский позаимствовал у австрийца Карла Генслера, автора «Русалки Дуная».

И в 1932 году Пушкин прекратил вымучивание сюжета, который стал ужасающе банальным. То есть для оперы в самый раз.

Но в качестве сочинения солнца русской поэзии не лез ни в какие рамки.

Ни в эстетические. Ни в этические.

Вполне понятно, что первая редакция, в которой Пушкин строго следовал историзму, была уничтожена, дабы не порождала сомнения в незрелых умах соотечественников, которых, как сейчас выяснилось, не удалось подготовить к демократическому укладу и за два столетия, которые пролетели с той поры.

Так что же могло быть в этой первой редакции «Русалки»?

Разумеется, проблема престолонаследия.

Потому что о чем бы Пушкин ни писал, он всегда прежде всего имел в виду именно ее. Даже в «Я вас любил...»

И вот история с детьми несчастного Федора Ивановича гораздо туманнее, чем случившаяся в Угличе драма с его малолетним убиенным братом Дмитрием.

Точнее – с одним ребенком, с дочерью Феодосией, скончавшейся в двухлетнем возрасте. Ирина Федоровна Годунова вышла за Федора Блаженного в 1575 году, когда ей было восемнадцать лет. В 1584 году, после смерти Ивана Грозного и воцарения мужа, стала царицей. Родила единственную дочь в 1592 году. То есть на семнадцатом году замужества! Когда роженица по средневековым меркам была дряхлой тридцатипятилетней старухой!

Сей феномен был квалифицирован как чудо, как дар небес набожному Федору Блаженному.

Однако Пушкина на мякине провести было невозможно.

Сопоставив монастырские записи с народными сказаниями, которые жадно впитывал из уст Арины Родионовны,

Пушкин воссоздал те события, которые могли повернуть ход российской истории.

Федор Иванович, удрученный тем, что Годунова долгие годы не в состоянии родить ему наследника, начал подолгу отлучаться из Кремля, навещая свои обширные подмосковные владения.

В одну из таких поездок он познакомился с мельником, с Першей Сысоевым.

Дочь мельника, Наташа, оказалась столь хороша, что царь буквально потерял голову.

То есть страстно влюбился. Хоть у царей такие чувства были и не приняты.

Но царь был блаженный.

Наташа, выросшая на природе, была не только необыкновенно красива, но и обладала отменным здоровьем по женской части.

После нескольких встреч она понесла.

Через девять месяцев родилась девочка, крепкая и пригожая.

Царица была поставлена перед фактом.

Царь был счастлив – наследница!

Царица, объявленная матерью, сочла это за благо.

Поскольку Ирине Федоровне очень не хотелось остаться в истории пустопорожней царицей.

Народ, не имевший возможности наблюдать период беременности, был удовлетворен тем, что сие объявили чудом.

И шурин – Борис Годунов – не возражал, поскольку дитя – оно хрупкое.

Не помешает его воцаренью на троне после смерти Федора Ивановича.

Так оно и вышло, поскольку – дело привычное.

Дмитрия – ножичком.

Феодосию погубил в проруби, что специально прорубили на Воре.

Чтобы все концы в воду.

Двухлетнюю девочку, которой так и не выпало стать царицей.

Ее мать – Наташу Сысоеву.

И старика.

С тем пришлось повозиться.

Обезумев от горя, мельник с криком «Вор – он!», указуя перстом на боярина, пытался спихнуть его в январскую воду.

Но был утоплен.

Пар валил от Годунова.

Стоя у края проруби, он погрузился в тяжелые думы: нелегка, ох, нелегка дорога на самую верхотуру власти.

Потом достал из кармана золотое колечко, сорванное с хрупкого пальчика Феодосии, символа избранности – и в воду.

С концами.

Лишь только б девочки кровавые в глазах не мельтешили.

Прошли столетия.

Точнее – четыреста двадцать два года.

Река давно отступила.

Сжалась склеротично.

И где была широкая вода – теперь уж берег,

таивший колечко золотое –

улику того,

что подгнило что-то в Московском королевстве.

И не сегодня.

Не вчера.

А с незапамятных времен,

когда по небу летали птеродактили.

Сейчас на месте того колечка – тело птицы, бесхитростной, безвинной, для счастья созданной.

Пройдет немислимая вереница лет,

и какой-нибудь исследователь седых времен

откопает ее скелет.

И ведь не возразить ему:

да, здесь никогда не переводились посланцы юрского периода.

Вот этот мелкий.

Но были и размером с МиГ-35.

Что остается?

Лишь повторить за Лермонтовым:

люблю-отчизну-я-но-странную-любовью-ее-не-победит-рассудок-мой.

Поскольку мой он лишь отчасти.

Он сросся со всем, что тут вокруг,

повсюду,

рядом,

под ногами

на три штыка лопаты.

Михаил БАРУ

НЕ ПЕЧАТНЫЕ ПРЯНИКИ

Грязовец

Грязовец хоть и провинция, но никакая не глубинка, если мерить по нашим российским меркам. От Москвы до него по трассе «Холмогоры» всего-то четыреста двадцать километров на северо-восток, да еще то ли четыре, то ли пять вправо и все – приехали. Зимой, в январе, по свету добраться можно. Даже если пообедать по пути в придорожном кафе «Сытый ежик», купить пластмассовое ведерко обледелой клюквы или брусники у таких же обледелых торговков, поглазеть на огромных розовых и белых плюшевых медведей ростом с настоящими, которыми торгуют с незапамятных времен у деревни Новинцы и каменных от мороза судаков со щуками возле Ростова Великого.

Впрочем, все это теперь. При Иване Грозном не было ни федеральной трассы «Холмогоры», ни розовых плюшевых медведей, а был лишь большак, пыльный летом и раскисающий весной и осенью, прорубленный в дремучих лесах, идущий от Москвы к тому месту, где еще только-только появился крошечный зародыш Архангельска в виде монастыря, окруженного факториями английских и голландских купцов. В те далекие времена Грязовец уже существовал, правда, не был он тогда ни городом, ни даже селом, а был починок Грязовитским. Упомянут этот починок среди других деревень в жалованной грамоте Ивана Грозного, выданной Корнилиево-Комельскому монастырю. Как и полагается всякому старинному русскому населенному пункту, упомянут он впервые в связи с тем, что разорили его казанские татары.

И пока не стал Грязовец городом по указу Екатерины Великой, был он и Грязивицами, и Грязовицами, и Грязлевицами, и Грязницами, и Грязцами. Корень «грязь» так въелся в его название, что вытравить его оттуда не было никакой возможности. И навоз, добавлю я от себя. Во времена расцвета заморской торговли через Архангельский порт по селу Грязлевицы, оно же Грязивицы, оно же Грязницы в день проезжало до восьмисот подвод. Только одних воробьев на этот пир на весь мир слеталось видимо-невидимо. Тысячи несмазанных тележных колес скрипели так отвратительно, что у людей с тонкой нервной организацией случались припадки. Между подводами во множестве сновали мальчишки, подбирая не только упавшее с возов, но даже и то, что было крепко к возам привязано. Трактирные половые зазывали проезжающих отведать горячих щей, заливных заячьих потрохов и щучьих голов с чесноком. Кабаки... Про кабаки надобно сказать отдельно. Их было столько, что редкая лошадь, не говоря о возницах, уходила из Грязовца трезвой. Грязовчане и вовсе не ухаживали, а сидели, лежали и валялись, напившись до зеленых, красных и синих чертей. Те же, кто еще мог ходить и мычать нечленораздельное – дрались между собой и все вместе с проезжающими купцами. И такая дурная слава пошла про грязовецкие попойки и драки, что сам Петр Первый, проезжая как-то раз мимо села Грязлевицы, оно же Грязцы, захотел посмотреть на это безобразие, а, если получится, то и самому принять в нем участие. Понятное дело, что местные власти, заблаговременно узнав о таком желании Петра Алексеевича, приказали все грязовецкие кабаки закрыть на большие амбарные замки до тех пор, пока Государь не изволит проехать мимо. И кабаки закрылись. Едет, стало быть, царь по притихшему враз селу и видит несколько мужиков, сидящих на ступеньках закрытого кабака и охвативших руками большие свои головы... Если рассказывать все по порядку – выйдет длинно для такого короткого рассказа как мой, а если коротко – кабаки Петр велел открыть, всех страждущих опохмелил бочкой пива за свой государственный счет и сам первый выпил.

На самом деле неизвестно – сколько бочек царь выставил мужикам, было ли это пиво или водка, сколько больных сидело на ступеньках закрытого кабака, все ли кабаки были закрыты или все же где-нибудь из-под полы наливали, поскольку вся эта история лишь легенда.

Вторая легенда связана с проездом через село Грязивицы Екатерины Великой. Императрица по питейным заведениям не ходила, а только и успела выставить ножку из кареты, как тотчас с нее упала в непролазную грязь атласная туфелька. Как ни искали ее придворные, как ни ползали по грязи... Только изгваздались все по самые парики, да потеряли нырнувшего с размаху в грязь какого-то то ли камер-юнкера, то ли камер-казака, одну фрейлину и одну дворовую девку, которая и вовсе шла мимо, да заманил ее пряником в карету граф... Ну, да это уж отношения к легенде никакого не имеет. По легенде царица, осерчав на потерю, велела подать ей немедленно гербовую бумагу вместе с писцом и этим писцом написала указ о том, чтобы отныне и навсегда называться месту этому городом Грязовцом.

Третья легенда о проезде Высочайшей особы через Грязовец... и не легенда вовсе, а быль. Александр Первый, путешествуя по России, остановился в Грязовце, отстоял торжественную службу по случаю собственного приезда в городском соборе и изволил пить чай в доме городского головы – купца Гудкова. В благодарность за радушный прием царь подарил купчихе Гудковой бриллиантовый перстень и укатил в Вологду. Уже в Вологде, на торжественном обеде, между ботвиньей и жарким из куропаток с трюфелями, Александр Павлович спросил у предводителя губернского дворянства Брянчанинова об уездном городке Кадников, через который Государь не проезжал, поскольку тот лежал в стороне от царского пути.

Предводитель пожевал губами и ответил:

– Еще хуже Грязовца.

– Отчего же, – с улыбкой заметил император, – Грязовец довольно нарядный город.

Вот, собственно, и все истории, связанные с посещением Грязовца императорскими особами. После Александра Первого первых лиц государства в Грязовце не видали.

Вернемся, однако, к конскому навозу, которым город был обильно снабжаем на протяжении многих лет и даже столетий. Если им удобрять местные подзолы и суглинки... все равно ничего хорошего не получится. Плохо растут в тех местах овощи. И пшеница плохо растет. Рожь растет лучше, но не намного. Лучше всего растет лен. Вот его издавна и выращивали в тех местах. Особенно после того, как Петр Алексеевич повелел всю заморскую торговлю вести через окно, которое он прорубил в Европу и Грязовец стал мало-помалу снова походить на обычное село, а там, глядишь, и до починка докатился бы, но... Стали жители грязовецкого уезда сеять лен, ткать из него холсты, красить их и продавать. При том, что грязовецкий уезд занимает менее двух процентов от всей площади губернии, давал он в позапрошлом веке почти половину вологодского льна, а вологодская губерния, в свою очередь, давала больше половины всего российского льна. По городу и уезду было устроено почти три десятка красило.

В одном из залов грязовецкого музея истории и народной культуры висит женская льняная рубашка, называемая «сенокосницей». Это такая специальная праздничная рубашка, сшитая из нескольких полотен разного цвета, которую женщина надевает в первый, праздничный, день сенокоса. Первые полчаса директор музея Елена Смирнова рассказывала мне о технологии изготовления набивных льняных тканей, а вторые полчаса о том, что означает тот или иной узор на этой рубашке. И это не все. Перед рассказом о рубашке было вступление о том, как лен выращивают, убирают, жнут, вымачивают, сушат в сушилках, мнут мялками, треплют трепалками и чешут чесалками, о типах прялок, о том кто их делает, кто расписывает, об отличии местных прялок от других и о том, что одна из грязовецких прялок есть не где-нибудь, а в Русском музее.

Что же до технологии окраски льняных тканей... Черт ногу сломит в этих петельках, за которые привязывается полотно, опускаемое в куб с краской, во множестве гвоздиков для набивки рисунка, в специальных защитных составах, на основе пчелиного воска, которыми пропитывают участки ткани, которые не должны прокраситься, которые потом еще надо протравливать раствором алюмокалиевых квасцов, чтобы удалить этот восковой состав... Короче говоря, получалось красиво и весело – темно синий или голубой фон, а по нему глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бес-

подобно! Еще и цветочки. И вот еще что. Нельзя было во время нанесения защитного слоя, прокрашивания фона, протравливания сотен микроскопических глазок, лапок и горошин закричать: «Не получается! Да провались оно все пропадом!» и разорвать холст на лоскуты. Замучаешься рвать – уж очень прочная ткань.

Окрашивали ткани в Грязовце так искусно, что красильный чан даже попал на городской герб.

Про узоры на грязовецкой рубахе и говорить нечего – они так подробно рассказывают о ее владелице, что никакому паспорту, даже и биометрическому, и не снилось. Красный верх означает, что девушка или женщина находится в детородном возрасте. Вышитые петушки по краю подола – это уже имеющиеся сыновья, а курочки – дочери. Если по краю ни курочек, ни петушков, а лишь точки на белом поле – хозяйка рубахи в тягости. Точки означают семя. Вышитые крестиком бутоны – девушка на выданье. Бутоны раскрыты – она уже просватана или замужем. И еще множество затейливых узоров изображающих обереги от порчи, дурного глаза и нечистой силы.

Смотрел я на эти грязовецкие узоры и думал о том, что мужская одежда не была так информативна, как женская, а могла бы... Представился мне ворот рубахи с вышитым оберегом типа «отойди, шалава, я женат», или торчащий из нагрудного кармана пиджака кончик красного платка, или вышитый на подкладке этого пиджака женский каблук, означающий... Впрочем, к рассказу о Грязовце все это не имеет никакого отношения.

Как бы там ни было, а к середине девятнадцатого века и этот промысел стал умирать. Его убили ткацкие фабрики с их грохочущими машинами. Оставалось еще кружевоплетение. В начале прошлого века в городе и уезде им занималось более трех тысяч кружевниц. Кружевоплетение не убивало никто – оно само тихо умерло. Просто изменилась жизнь и на смену кружевам пришли короткие отрезки резких прямых линий. Впрочем, к рассказу о Грязовце...

Был у города и еще один кит или черепаха или слон на котором он держался, да и сейчас держится – сливочное масло. В Вологодской губернии по производству масла крошечный Грязовецкий уезд был вторым. В девятьсот десятом году¹ только из Грязовца были вывезены более семидесяти четырех тысяч пудов сливочного масла. Это для нас масло просто вологодское, а на самом деле было оно разным – и сладким, которое называли нормандским, и соленым – голландским. Сладкое масло делали осенью и зимой – с сентября до масленицы, а уж с масленицы до сентября – соленое². Везли его в Вологду, а из Вологды в Москву, Петербург, Ревель, Ярославль и даже в Париж, где его обидно называли «Петербургским». Везли, между прочим, не в брикетах, не в разноцветной фольге, а в небольших ольховых бочонках. Если поделить количество пудов масла на количество жителей уезда в девятьсот десятом году и даже прибавить для ровного счета к жителям уезда жителей самого Грязовца, за вычетом кошек, собак и городских как не производящих ничего, и результат пересчитать в килограммы, то получится... почти дюжина килограмм живого масла на душу населения. Из полученной цифры, путем несложных арифметических вычислений, можно вывести, что в начале двадцатого в городе Грязовце и уезде проживало почти сто тысяч человек. Спустя сто лет здесь проживает едва половина. Сколько теперь масла приходится на душу населения – я не знаю, а тогда, когда масла было много, делали еще и сыр, чтобы он в этом масле катался. Уже в семидесятых годах позапрошлого века в грязовецком уезде было более двух десятков сыроваренных заводов. Молоко в Грязовец не возили, а сыр – чеддер, швейцарский и голландский – делали на месте. Какими они были на вкус, эти сыры... Наверное, прекрасными, с тонким вкусом и неповторимым ароматом – как и все, что исчезло навсегда.

Если рассказывать все по порядку, то непременно надо упомянуть три ежегодных ярмарки, купцов первой гильдии, Корнильево-Комельский монастырь, которому в самом начале своей истории принадлежало село Грязлевицы, постройку огромного городского Христорождественского собора, городское освещение, библиотеку, женскую гимназию, пожарную команду, театральный кружок, семнадцатый год, войну, кинопередвижку «Дом крестьянина», клуб железнодорожников, драматический театр³, тридцать восьмой год, детский дом, еще войну, разрушение в шестидесятых Христорождественского собора, проспект Ленина, который проходит по тому месту, где стоял собор, музей истории и народной культуры, занимающий половину огромного купеческого особняка⁴, вторую половину этого особняка, стоящую с заколоченными окнами, газету «Сельская правда»⁵, огромный

валун на центральной площади с мраморной табличкой о «первом упоминании будущего города Грязовец 17 июня 1538 года» (исхитрились таки сформулировать), лечебные грязи, греческий сыр фета, который в количестве трехсот тонн в сутки производят местные сыроделы, но... я не стану. Вместо этого лучше процитирую одного журналиста, побывавшего в конце девятнадцатого века в Грязовце: «Недоимок нет, грабежей и убийств тоже, мертвых тел не объявляется, процессов почти не ведут, живут по-божьему, не жалуются, не клязничают, а сажают себе картофель, сеют лен...».

Наверное, теперь в Грязовце живут по-другому, но мне показалось... Нет, не так. Мне бы хотелось думать...

¹ Девятьсот десятый год был и вообще очень удачным для Грязовца. Общий оборот местных торговых домов достиг трех миллионов рублей. В городе к тому времени в купеческое сословие была записана одна десятая часть населения – триста человек. В пересчете на купеческую душу выходило по десять тысяч рублей. И это притом, что хорошая дойная корова стоила шестьдесят рублей, килограмм сливочного масла рубль двадцать, килограмм черной паюсной икры стоил дешевле килограмма красной, а за килограмм квашеной капусты и вовсе просили двугривенный. Да что капуста! Золоченые офицерские эполеты стоили тринадцать рублей, гармонь семь с полтиной, а рояль всего две сотни. На каких-нибудь пятьсот рублей можно было так замаслиться, перемазаться в черной икре и пройтись с гармонью по Грязовцу, сверкая золочеными эполетами... Вот только рояль за собой волочить неудобно.

² Вологодским масло стало только в тридцать девятом году после приказа Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР. До этого оно называлось Нормандским или Парижским. Ничего не попишешь – борьба с космополитизмом...

³ В одном из коридоров музея на стене висит афиша «Колхозно-совхозного Грязовецкого драматического театра Вологодской области». Лето тридцать восьмого года. Понятное дело, что тут и «Мещане» Горького и гоголевская «Женитьба», но еще понятнее присутствие в списке призывающей к бдительности пьесы братьев Тур «Очная ставка» и мелодрамы некоего Карасева «Путь шпиона».

⁴ У Грязовецкого музея истории и народной культуры трудная судьба. Поначалу он был просто народным. Существовал при школе. Собирали его энтузиасты – краеведы, учителя истории и денег на придание ему какого-то официального статуса не было. Обратились в Вологду с просьбой сделать Грязовецкий музей филиалом Вологодского. Вологда, увидев коллекцию русского фарфора восемнадцатого века, серебра и старинной зимней женской одежды, долго не раздумывала и согласилась, немедленно наставив при этом своих инвентарных номеров на грязовецкие сокровища. Когда через десять лет грязовецкий музей захотел и смог стать самостоятельным муниципальным музеем, то большая часть фарфора, серебра и одежды... И сделать ничего нельзя. Вот разве что заплакать, как заплакала нынешний директор музея, когда увидела грязовецкие экспонаты в Вологодском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Только одним названием вологодского музея, если его обмотать во круг шеи, можно удавиться. Можно, конечно, дружить сквозь слезы. Они и дружат. Иногда приезжают к ним выставки из Вологды. Директор, надо сказать, из тех, которые унывать не любят. Если сосчитать все экспонаты, которые она собрала вместе с сотрудниками музея в ходе своих экспедиций по району, то как раз и получится нынешний музей. Ну, может, и не весь, но уж никак не меньше половины.

⁵ В предыдущем своем рождении газета «Сельская правда» называлась «Деревенский коммунар» и писала эта газета в августе двадцать третьего года о том, что «Прибывший из России американский сенатор Фольс заявил, что денежное хозяйство России значительно улучшилось. По его мнению, не позже, чем через два года Литва, Латвия и Эстония будут просить у Советской России включить их в Союз Советских республик». В августе двадцать третьего года писала, а не в июне сорокового.

Данилов

Издавала, особенно из Москвы, или из другого большого города, Данилов виден не во всякую подзорную трубу. Маленький уездный городок в Ярославской губернии с невыразительным названием Данилов... Собирался я туда и почему-то в голове у меня все время вертелась цитата из «Мертвых душ»: «Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние кра-

пинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!» Если разобраться, то ведь это сказано о множестве наших провинциальных городков, существующих теперь лишь как посторонние крапинки или пятнышки на предмете, но если разобраться... Вот я и ехал в *девичью* Данилов разбираться. Не то чтобы я был твердо уверен, что Данилов – это «ого-го!», но очень на это надеялся.

Если начинать рассказ о Данилове с самого начала, то... никогда не кончишь, поскольку самое его начало археологи копают уже много лет и никак не могут выкопать все эти проржавевшие насквозь железные топоры, рыболовные крючки, глиняные горшки, орнаментированные ямками, полосками и ромбиками, пряслица, гребни, височные кольца, привески... Кстати, о привесках. В даниловском музее есть крошечные бронзовые привески в виде искусно сделанных птички и лошадки размером с половину или даже треть мизинца. Пряслица, гребни и височные кольца там тоже есть. Все эти сокровища нашли на территории современного Данилова, на берегу реки Пеленга¹, протекающей в черте города. Было там с начала десятого и до тринадцатого века поселение меря и ходили по нему русые и голубоглазые женщины меря, шумя привесками в виде птичек и лошадок, звеня височными кольцами и пели... Короче говоря, корни, истоки, волхвы, масленица, солнцеворот, колядование, ночь на Ивана Купала, Русальная неделя, прыганье через костер, купание в чем мать родила, *свадьный грех* и все то, по чему теперь сходят с ума родноверы. Впрочем, это уже не столько меря, сколько славяне, которые пришли в эти места позже меря и с ними вполне мирно ужились и перемешались до гомогенного состояния.

Существование славянского поселения на берегах Пеленги можно считать вполне доказанным, а вот основание Даниловской слободы в конце тринадцатого века московским князем Даниилом Александровичем, младшим сыном Александра Невского, скорее всего легенда. Зато красивая. По преданию князь поехал в северные монастыри, остановился на отдых на берегу Пеленги, покормил там лошадей, а заодно велел построить деревянную церковь, княжеские палаты и конюшни. Дорога от палат князя до конюшен с тех пор называлась Царевой улицей, а потом Пошехонской. Теперь-то она, понятное дело, улица Володарского.

Как бы там ни было, а в первом зале Даниловского музея висит большой портрет князя Даниила кисти одного из местных живописцев. Под портретом, на тумбочке, лежат два меча, похожих на кухонные ножи-переростки. На портрет, на мечи и кольчугу, надетую на манекен, стоящий в углу, на шлем, и на какие-то две круглые металлические пластинки с отверстиями экскурсовод смотреть не советовала. То есть смотреть-то, конечно, можно, но при этом не забывать, что все это легенда, что мечи, кольчугу, шлем и круглые пластинки с отверстиями изготовили для музея местные умельцы, что князь Даниил, может, и проезжал, но мимо, и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты... Вот на крошечную мортиру с ядрами величиной с яблоко или даже мандарин, на изъеденный ржавчиной наконечник рогатины, называемый рожном, экскурсовод смотреть советовала. Это все настоящее и было найдено на месте сражения даниловцев с поляками. Ох, как настойчиво поляки, под водительством пана Лисовского, тогда на этот рожон лезли... Впрочем, сражение было уже через полторы сотни лет после того, как село Даниловское в середине пятнадцатого века было впервые упомянуто в жалованной грамоте Василия Второго митрополиту Ионе под именем Даниловских пустошей. Поляки пришли грабить уже богатое торговое и ремесленное село. Даниловцы, надо отдать ему должное, никогда ни одному из Самозванцев не присягали. Пана Лисовского в шестьсот седьмом году, в самый разгар Смуты, даниловское ополчение под командой Федора Шереметьева разбило наголову. Сражение было кровопролитным. Место, где оно происходило, с тех пор называется Повалишкой, но... ядра и рогатина не оттуда.

Спустя год после сокрушительного поражения поляков, отряд вологодских ополченцев, по пути в Ярославль, занял Пошехонье и село Даниловское. В Даниловском они насыпали земляной вал, на нем поставили острог и укрепились. Откуда ни возьмись, появились поляки во главе с Лисовским, разбитым год назад на голову. То ли разбитая голова у него зажила, то ли у него их было несколько, то ли он и вовсе отрастил новую, но на этот раз удача от даниловцев не просто отвернулась, а, отвернувшись, еще и горько заплакала. Острог взяли штурмом и сровняли его с землей. Село сожгли,

а большую часть жителей, включая стариков, женщин и детей, истребили. Теперь на этом месте, где был острог, поставили памятный камень, а улица, на которой он стоит... Нет, не «Володарского», и не «Урицкого», как можно было бы подумать, а «Земляной вал». Синяя жестяная табличка с огромными буквами «Земляной вал» висит на стене музейного зала аккуратно над ядрами и маленькой муртирой.

В конце концов поляков, хоть и через семь лет, но прогнали, а Даниловская слобода зажила мирной жизнью. Была она, кроме всего прочего, ямской станцией на пути из Архангельска в столицу. Голландский купец Кунраад Фан-Кленк, ехавший в Москву, записал: «1 января 1676 года посольство проезжало красивым селением – Даниловской слободой, по величине похожей на город, с рынками и тюрьмами». Сколько в слободе было жителей в то время, как через нее проезжал Фан-Кленк, мне разыскать не удалось, но через сто лет в Данилове, уже почти городе, жило пятьсот с небольшим хвостиком человек. Видать, народ в слободе был бедовый, раз тюрем было несколько². Кстати, о тюрьмах. Уже в середине девятнадцатого века в Данилове был построен каменный тюремный острог. Он и сейчас стоит, только заброшенный и никому не нужный. За сто пятьдесят лет из этой тюрьмы удалось убежать только одному заключенному, который летом девятьсот двенадцатого года спустился из окна третьего этажа по жгуту, скрученному из арестантских роб, и был таков. До шестидесятых годов прошлого века острог использовался по прямому назначению. Потом в нем устроили склады гражданской обороны, потом склады ликвидировали, потом... течение времени в остроге остановилось. Поначалу хотели как лучше – устроить в нем музей, поскольку таких уездных острогов, сохранившихся практически в первозданном виде, у нас почти не сохранилось, но получилось как всегда. Выломали почти все кованые решетки времен постройки острога, украли дубовые двери, разобрали почти все печи, разломали на кирпич ограду... Напоминает теперь острог скелет кита, выброшенного на берег и обглоданного до костей собаками.

Оставим, однако, острог, и вернемся в Даниловскую слободу петровских времен, когда в ней был конный завод, поставлявший лошадей для армии. Завод принадлежал царю, и содержалось в нем почти две тысячи лошадей. Однажды, в самом начале восемнадцатого века, проезжал через село царь Петр. Остановился, осмотрел свой конный завод, посмотрел – нет ли карiesa у лошадей, обкромсал ножницами бороду местному старосте и, довольный собой, уже собирался уехать, как... Случилось ему зайти в небольшую деревянную церковь Одигитрии, стоявшую у дороги на Вологду. Пробыл он там недолго и вышел злой, как черт. Петр, который терпеть не мог попов, Петр, который велел переплавить церковные колокола на пушки... пришел в ярость, увидев грязь и запустение в храме. Священника император брить все же не решился, хотя руки, конечно, у него чесались, но разнос устроил такой, что в Даниловской слободе его запомнили. Долго даниловские светские и религиозные власти не думали – быстро заложили новый каменный собор с колокольной на средства прихожан и еще быстрее послали в Петербург гонца к Петру Алексеевичу с докладом об этом радостном событии. Кроме доклада привез гонец царю подарок – маленький серебряный ларчик с дорожными шахматами, сработанными местными умельцами. Когда в царствование Екатерины Великой городу Данилову был пожалован герб, то половину этого герба заняла шахматная доска, из которой в другую, серебряную часть выходит медведь с секирой на плече. Правда, часть клеток на этой доске – зеленые. Намекает этот цвет на прекрасные луга, окружающие Данилов. В даниловском краеведческом музее есть картина неизвестного местного художника (известные от нее открестились), изображающая Петра Великого, устраивающего разнос местному священству, стоящему пред ним на коленях. На картине у царя такие вытаращенные глаза, а в правой руке такая увесистая трость... Ей-богу, на месте даниловских властей я бы в набор шахматных фигур положил бы штоф с анисовой или хинной водкой и фунта два самолучшего немецкого кнастера. Не говоря о подозрной трубе и дюжине голландских тельняшек, которые царь так любил носить, что надевал, случалась, и под мантию.

Вычитал я, что серебряные шахматы еще до шестидесятых годов прошлого века занимали место в эрмитажной экспозиции, посвященной Петру Великому. Может, и теперь лежат, но в музее мне об этом ничего рассказать не смогли, несмотря на мои расспросы.

Что же до собора, который был построен в спешном порядке после того, как Петр уехал, то он простоял до пятидесятых годов прошлого века, а потом был разобран на кирпич.

Третьего августа 1777 года стало дворцовое село Даниловское городом. Проживала в городе к тому времени пятьсот двадцать одна душа мужского полу из которых семьдесят две души, имеющие достаточный капитал, записались в купцы, а остальные, не имеющие таковых капиталов, были записаны в мещане. Председатель Ярославского губернского магистрата докладывал ярославскому наместнику о том, что все новоявленные купцы и мещане о своих новых правах и обязанностях под подписку ознакомлены и к присяге приведены. Правду говоря, я и представить себе не могу – какие слова были в присяге мещанина. С купечеством все просто – торгуй честно, не обвешивай, не добавляй толченого мела в муку и воды в пиво, давши слово держись и все такое, а вот мещанская... Держать не меньше семи слоников на комоде, не меньше двух горшков с геранью на каждом окне и распускать не более одного слуха в месяц, исключая постные дни?

Уездным городом Данилов стал самым обычным – торговля сукном, шелковыми, бумажными и шерстяными материями, мясом, холстами, коровьим маслом, вином и овчинами. Выделывали кожу, огородничали, занимались серебряным, кузнечным, шапочным и плотничьим ремеслами, красили домотканые полотна, топили сало и делали свечи. Городскими головами избирали преимущественно купцов. Купцы головами становиться не очень-то и хотели – это отвлекало их от собственных дел, да и жалованья за эту работу не полагалось. Бывало, выберут городского голову, поблагодарит он общество за доверие, да и откажется, сославшись на запущенность в делах или семейные обстоятельства. Делать нечего – назначают новые выборы... По нынешним временам мы себе такого и представить не можем, чтобы купец, да отказался... По нынешним временам не то что в городские головы, а в городские... лезут без всякого мыла. Теперь попробуйте представить себе, что человек, выбранный на такую хлебную должность, разорился. Да не от того, что проигрался в карты, ездил к цыганам в Куршавель или истратил казенные деньги на строительство собственного дома в три этажа, а от того, что занимался благотворительностью на свои, кровные. Не получится представить... Однако же, в истории Данилова такой городской голова был и звали его Иван Иванов Женов. Занимал он этот пост несколько трехлетних сроков – с восемьсот девятого по восемьсот семнадцатый годы. Ярославский гражданский губернатор в восемьсот десятом году доносил генерал-губернатору Нижегородскому, Тверскому и Ярославскому принцу Ольденбургскому о том, что даниловский городской голова, «движимый состраданием к не имеющим способов пропитать себя бедным престарелым мещанам, вдовам, девкам и малолетним детям после отданных в рекруты граждан, сделал им, более нежели сорока человекам, все нужное пособие, согласив к тому примером своим и других благонамеренных обитателей города Данилова... Каковой благотворительный подвиг даниловского градского главы Женова осмелюсь довести до сведения Вашего высочества». По инициативе Женова было открыто в Данилове и первое народное училище, на которое он пожертвовал сто рублей своих денег. Он же и был первым смотрителем этого училища без всякой платы. Иван Иванович за свои труды был награжден по предательству принца Ольденбургского императором Александром Первым золотой медалью «За полезное» и стал именитым гражданином, которому позволялось по закону иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парюю и четверней, заводить фабрики, быть свободным от рекрутской повинности и от телесных наказаний. Ни каретами, ни садами, ни загородными дворами Женов так и не обзавелся. Разорился он вконец и выписался на старости лет из купцов в мещане с сохранением звания именитого гражданина³.

Между тем, кроме обычных промыслов, были в Данилове и свои, особенные. Даниловские самовары, если и не составляли в полной мере конкуренцию тульским, то уж точно были не хуже их качеством. Вагонами везли эти самовары в обе столицы⁴. Были в уезде деревни, которые делали только самоварные краны или только шишечки. Потом все эти детали привозили в Данилов и собирали на одной из трех самоварных фабрик. Сам процесс изготовления, к примеру, корпуса самовара был сложным и состоял, говоря нынешним языком, из множества технологических операций. Сначала кроили заготовку, потом заклепывали ее, потом зачищали, потом токарь что-то выгачивал, потом слесарь рихтовал вмятины, которые черт знает откуда появились, потом снова зачищали, лудили и выгачивали. И в промежутках между всеми этими операциями еще надо было успевать драть за ухо мальчика, который бегал как заведенный между всеми этими клепальщиками, токарями и кузнецами, нося заготовку от одного мастера к другому. Мальчиков никто специально не учил, но

рано или поздно они, глядя, как работают мастера, научались сами. Если, конечно, уши у них были достаточно крепкими, чтобы перетерпеть первые два или три года беготни.

От даниловских самоваров не отставали даниловские пряники. Эти, конечно, с тульскими не тягались и приходились им скорее бедными двоюродными племянниками, чем братьями. Все же, они не умерли, как вяземские, а дожили до наших дней и продаются в даниловских магазинах. Что же до их вкуса... Нет, не тульские, но хороши по-своему и хранятся долго, умудряясь при этом не каменеть. Одна беда – теперь они не печатные. В том смысле не печатные, что буквы на них расплываются, как чернила на промокашке. Про герб на большом круглом прянике и говорить нечего. Медведя на этом гербе не узнала бы и мать родная.

Вообще жители города Данилова и уезда были мастерами на все руки и делали все, что делается. Кроме самоваров делали амбарные замки, глиняные игрушки, посуду, тачали сапоги, шили шубы, делали бочки, щетки из конского волоса, плели из соломки и бересты все, что плетется, в селе Середя делали тарантасы и резные сани, а уж кузнецы даниловские были в своем деле ювелирами. В девятьсот седьмом году в городе открылась кузница Александра Третьякова, который перед этим окончил годичные курсы по теории изготовления подков и ковке лошадей при офицерской кавалерийской школе в Санкт-Петербурге. Топоры, которые делались отцом и сыновьями Красиловыми в деревне Починки Даниловского уезда были известны не меньше даниловских самоваров. Их закалывали в овсяной закваске – брали молотый овес, запаривали, разбавляли водой и опускали в бадью с этой закваской раскаленный топор. Со стороны все это выглядит натуральным шаманством, но качество топоров при этом было отменным. На топоре ставили клеймо – медведь. Это в том случае, если топор ковал сам старик Красилов. Если его сын, то медведь и точка рядом. Если внук – то точек было две. Трех точек не на клейме не случилось – раскулачили Красиловых. Третьякову в этом смысле повезло больше – он и при новой власти занимался любимым делом. Правда, не столько работал в кузнице сам, сколько преподавал кузнечное дело в школе ФЗУ, готовившей железнодорожников для станции Данилов⁵.

Железная дорога пришла в Данилов еще в 1872 году. Даниловские купцы отвели для нее участок земли под названием «Козье болото». Строилась дорога тяжело: грунт плыл, шпалы вместе с рельсами тонули в болоте, рабочие болели и помирали, подрядчики, как водится, наживались. Тем не менее через год после утверждения проекта из Ярославля пришел в Данилов первый паровоз «Овечка» с товарными вагонами, а еще через год было открыто пассажирское движение от Данилова до Ярославля и вслед за ним от Данилова до Вологды. Построили деревянный пассажирский вокзал с часовой и буфетом, выдали паровозным бригадам карманные часы на цепочках⁶, кондукторам и дежурным по станции толстые, закрученные вверх, усы и пронзительные свистки, могущие просверлить голову насквозь от уха до уха, повесили на стену вокзала колокол, завезли на привокзальную площадь торговки с калеными орехами, семечками и пряниками, научили провожающих кричать сквозь паровозное уханье «Пиши каждый день!», а отъезжающих быстро писать пальцем на стекле вагонных окон справа налево «люблю, мой ангел, не забудь выслать пять рублей», велели провожающим, наконец, выйти из вагонов, и... уездный город зажил новой железнодорожной жизнью. Задыхал, закашлял клубами пара, засвистел паровозами, застучал молотками обходчиков, вагонными колесами и телеграфным аппаратом, зазвенел станционным колоколом и зашумел пассажирами на деревянном скрипучем перроне. Каждый день по железной дороге проезжало три сотни человек. Данилов стал, говоря железнодорожным языком, стыковой станцией. Из него поезда уходили на север и на восток.

Машинисты в Данилове чувствовали себя как капитаны в порту или как космонавты в Звездном городке. Правда, до машиниста нужно было еще дослужиться: покидать уголек в топку, потаскать ведрами паровозную тягу, сдать экзамен на помощника машиниста, научиться свистеть паровозным свистком не меньше пяти простых мелодий и одной сложной, уметь вовремя поднести спичку к папиросе машиниста, сдать экзамен на машиниста и только потом ходить, как капитан или космонавт. Машинисты были в Данилове на вес золота. Даже новая, советская, власть их так ценила, что выдавала каждому бумагу о том, что ни личное имущество, ни продуктовые запасы машиниста не подлежат реквизиции.

Тут, однако, рассказ мой несколько забежал вперед – перед советской властью еще была война и беспорядки. В войне Данилов участвовал по мере своих небольших, уездных сил: принимал эвакуированные из западных губерний школы, на городские и частные пожертвования организовал лазарет на двадцать пять легкораненых солдат, на средства Красного Креста устроил убежище для литовских беженцев, открыл подписку по сбору средств для поляков и по призыву ярославского губернатора пожертвовал сто рублей на изготовление знамени Ярославской пешей дружины.

Средств у города катастрофически не хватало. Прибегли к крупным займам на покупку топлива и продовольствия под залог городской недвижимости. Образовали комитет по закупке продовольствия, а городская дума обратилась к расквартированной в городе военной бригаде с просьбой выделить солдат для охраны мирного населения от воров и грабителей. Управа наняла дополнительно несколько ночных сторожей и купила лошадей для конной милиции, но погромы магазинов и продуктовых лавок, грабежи, спекуляцию и беспорядки ни солдаты, ни конная милиция, ни даже ночные сторожа остановить уже не могли...

В двадцать первом году, когда городских голов, управ, дум, гласных, негласных, а тем более несогласных и след простыл, к исполнению своих обязанностей приступил первый, выбранный на сессии горсовета, председатель. Звали его Иван Константинович Каменский. Наверное, он что-то успел сделать на своем посту за пять с небольшим месяцев, после которых был заменен новым председателем. Наверное... Честно говоря, упомянул я его только ради примечания против его фамилии в списке депутатов горсовета на двадцать первый год: «Возраст – 27 лет, профессия – студент. Беспартийный. До Октябрьской революции – ученик. Семейное положение – холост. Выдвинут от просвещения и социалистической культуры. Занимаемая должность в настоящее время – секретарь наробраз. Образование – среднее».

Если коротко, то после Каменского, с двадцать второго по сорок первый годы, было еще десятка полтора председателей. Все они удерживались на своих местах, в среднем, года по полтора или даже меньше. Дымили папиросами, устраивали бесконечные совещания, на которых кричали до хрипоты, накладывали резолюции, писали на бумагах красным карандашом «Срочно!» и «Об исполнении доложить мне лично!», выступали на митингах... Самовары, пряники, подковы, сделанные по всем правилам, и топоры с клеймом медведь остались в прошлом. Оглядываться на это прошлое теперь можно было только украдкой. Зато в тридцатом году снесли старое деревянное здание вокзала с часовой и на его месте возвели новое, каменное, да еще в сороковом построили завод по изготовлению деревообрабатывающих станков – единственный такого рода завод во всей стране⁷. Железнодорожникам построили стадион, клуб, детские сады, завели театральный кружок...

Немцы бомбили новый вокзал и эшелоны, шедшие на фронт, по пять-шесть раз в сутки. Надо было отбиваться от налетов, водить эшелоны с техникой к линии фронта, ремонтировать паровозы в пути, а не в депо, расцеплять горящие составы с топливом, принимать в Данилове поезда с блокадниками, вытаскивать и хоронить тех, кто умер по дороге, кормить еле живых четыре раза в сутки из собственных средств и запасов, устраивать детские сады и дома для осиротевших детей, снова отбиваться от налетов и снова водить эшелоны к линии фронта.

Послевоенная жизнь Данилова, да и теперешняя его жизнь проходит точно также, как и в те времена, когда он был еще Даниловской слободой – при дороге. Только раньше он был ямской станцией, а теперь железнодорожной. Все, что в Данилове не железная дорога, то молоко, масло, творог, сметана и сыр. Молоко привозят из района и перерабатывают на Даниловском сыродельно-маслодельном заводе. Сыр производят в Данилове четырех сортов: «Костромской», «Голландский», «Пошехонский» и, собственно, «Даниловский».

Пробовал я этот сыр. Все четыре сорта. Если их есть с закрытыми глазами, то ничего, кроме вкуса мыла... Если даниловский «Голландский» сыр сравнить с «Голландским» сыром, который производят во Франции или в самой Голландии, то лучше этого не делать. Довелось мне как-то попробовать французский «Голландский» сыр, и я с удивлением обнаружил, что французские сыроделы, в отличие от наших, совершенно не добавляют в сыр мыла. Не только дешевого, но и самого дорогого. Может, секрет в этом... Зато послекусие у даниловских сыров куда как дольше, чем у французских. Пришлось даже пообедать, чтобы его перебить.

¹ Название реки Пеленга (так она обозначена на карте) или Пеленда, как ее называют даниловские краеведы, в переводе с языка меря означает «вкусная вода». Поселение, бывшее на ее берегах, археологи называют Пелендово. Правду говоря, документов на этот счет не сохранилось – ни каких-нибудь берестяных грамот, вывесок или накладных. А вода и сейчас вкусная. Даже из-под обычного водопроводного крана.

² В одном из залов музея увидел я четырехствольный револьвер «Мариэтта» бельгийского производства, полтора года назад оброненный кем-то из проезжающих через Данилов. Наверное, постояльцев даниловских гостиниц в те времена по ночам мучили не только бесчисленные клопы в тюфяках. А может быть этот револьвер этот проезжающий и не потерял, а у него отобрали его же товарищи, когда он, напившись в одном из бесчисленных даниловских кабаков, божился, что попадет в шкалик с водкой с двадцати шагов не целясь. Как раз в то самое время в Данилове на три тысячи жителей приходилось полсотни питейных заведений. То есть одно на каждые шестьдесят человек, включая баб и детишек. Получается, что все даниловские дороги вели в кабаки. В это же самое время в городе было всего двадцать керосиновых фонарей. По одному на каждые полторы сотни жителей, включая тех же баб и тех же детишек. Конечно, были еще фонари, которые даниловцы регулярно ставили друг другу под глазами, но вопрос с освещением они не решали. Нет, я не хочу сказать, что все эти люди сидели в потемках и пили горькую, но получается, что... В теперешнем Данилове питейных заведений, конечно, не так много, но одно из них мне запомнилось. Не столько ассортиментом, сколько названием «Данилка».

³ Несмотря на все усилия городских властей по благоустройству, оставался он городом захолустным. Чиновник по особым поручениям, приехавший в Данилов в 1845 году для ревизии городского хозяйства, в своем отчете писал, что «По наружному благоустройству замечено отступление от конфирманного плана: некоторые улицы загорожены домохозяевами и употребляются как частная собственность. Тротуары загорожены палисадниками, в черте города находятся две салотопни, загрязняющие воздух и угрожающие опасностью от огня, гостиницы не имеют нумерованных покоев для проезжающих, рестораны посещаются черным народом, не имеют общего стола и не содержат прислугу в рубашках». К концу девятнадцатого века ситуация с благоустройством лучше не стала. В книге историка и краеведа К.Д. Головщикова «Город Данилов Ярославской губернии и его уезд», изданной в 1890 году, написано «Наружность города непредставительна, и хотя расположен он на возвышенном месте, по склону горы, но, несмотря на это, весной и осенью город буквально утопает в грязи».

⁴ Этими же вагонами везли даниловские чайники, самовары-кофейники, просто кофейники и другую медную посуду вроде тазов для варки варенья, которые теперь продаются в антикварных магазинах и стоят как серебряные.

⁵ В тот самый момент, когда экскурсовод с гордостью и даже восторгом рассказывала мне о том, какие мастера своего дела работали в Данилове и уезде, о том, как процветала торговля, о том, какие были меценаты и о том, как сейчас их днем с огнем не найти, я спросил:

– Когда же, по вашему мнению, был золотой век Данилова? Тогда или...

Она подумала, подумала... и ответила:

– С одной стороны... наверное, тогда и даже конечно тогда, в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, а с другой... – тут она снова сделала паузу: – очень уж труден был этот золотой век. Приходилось тяжело работать и пробиваться самим. А вот в семидесятых годах прошлого века государство о нас заботилось, не бросало.

Она еще немного поразмыслила и сказала, застенчиво улыбнувшись:

– Нет, вы не думайте, ностальгии по советскому прошлому я совсем не испытываю, но... государство о нас заботилось.

⁶ Между прочим, часы машинистам давали только те, что делала фирма Павла Буре. Только они ходили с той точностью, какая требовалась на железной дороге.

⁷ Проработал завод ровно шестьдесят девять лет и обанкротился. А когда был жив, то пилорамы делал отменного качества, и продавали их по всему миру. В Болгарию продавали, в Польшу, в Йемен, в Иран, в африканские страны и в Латинскую Америку. Такой это был мир... Не первый и даже не второй. Теперь и этого нет.

⁸ С одной стороны, конечно, нехорошо заканчивать рассказ о Данилове на такой минорной ноте, а с другой... местные жители говорят, что сыры эти делают из порошкового молока, а хорошее молоко

продают в Ярославль. Вот как станут делать хороший сыр в Данилове – так я в тот же день и перепишу этот абзац. Не буду тянуть до следующего.

Лукоянов

Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино...

А.С. Пушкин

В Нижний я не ехал и в Болдино тоже не собирался. Я ехал в Лукоянов. Выражаясь языком пушкинской эпохи, ехал «на долгих», в том смысле, что на своей машине. Пушкин ехал на перекладных и до Болдина. Через Владимир, Муром и Арзамас. До Лукоянова, который был последней остановкой перед его имением, Александр Сергеевич домчался за три дня. Мне хватило и одного. Дороги от Москвы до Мурома хорошие, а вот дальше, в Нижегородской области, местами напоминают... Ну, да где они не напоминают. К примеру, в Костромской области они не то чтобы напоминают, но вообще ничего не помнят.

Я ехал в конце апреля, а потому на полях, которые расстились по обеим сторонам дороги, еще ничего не колосилось. Деревенские жители копошились в своих огородах, готовя их под посадку картошки, шустрые козы выщипывали молодую траву из-под носов медлительных, отощавших за зиму коров и скворцы, уже обжившиеся в своих скворечниках, галдели так, что даже дети, которые могут перегадть кого угодно... Одним словом, была весна – такая же, как и тысячу лет назад, когда в этих местах были дремучие леса, в которых уже несколько сот лет жили племена эрзян, мокшан и терюхан, известные нам под общим названием мордвы¹. Языческая мордва, в основном, жила охотой и собирательством. Места были тихие и малонаселенные. В эти края приходили уже не столько славянские племена, сколько русские крестьяне, которых их хозяева переселяли на вновь присоединенные к Московскому государству земли. Это, однако, сказать просто – «присоединенные». На деле, начиная с двенадцатого века, целых четыреста лет на землях Нижегородского Поволжья русские князья беспрестанно воевали то с волжскими булгарами, то с Казанским ханством, то с Золотой Ордой, то с татарами вообще, то с ногайцами... Бедные эрзяне, мокшане и терюхане все эти четыреста лет были между молотом и наковальней. Тех, кто принимал сторону русских, утесняли татары, а тех, кто поддерживала татар – били русские. Тем не менее к началу шестнадцатого века, к тому самому моменту, когда первый раз русским по белому был упомянут Лукоянов, местное население на две третьих состояло из мордвы. Версий о происхождении названия Лукоянова всего две – мордовская говорит о том, Лукоянов основали терюхане еще за двести лет до того как он был упомянут в писцовой книге Арзамасского уезда. Русская версия, которая по мордовской версии, есть совершенная сказка и выдумка, утверждает, что первое поселение на месте современного города было названо в честь Ивашки Лукоянова, поставившего в верховьях речки Теши мельницу. По началу это поселение принадлежало Бутурлиным, а во второй половине шестнадцатого века было пожаловано Иваном Грозным Федору Кирееву и Афимье Карповой. Сам Киреев в этой глуши не жил, а управлял его вотчиной приказчик. Село Лукояново принадлежало Кирееву ровно до Смутного времени, когда бес попутал Федора связаться с поляками. За связь с поляками, за ~~рытье тоннеля от Лукоянова до Варшавы~~, отрубил ему царь голову, а село отдал тоже Федору, но уже Левашову. Левашов был деятельным нижегородским ополченцем. Левашов был настолько деятельным, что успел получить еще одно пожалование в другом, видимо, более выгодном месте. Так или иначе, а Лукояново перешло во владение некоего Панова².

В царствование Алексея Михайловича³ боярину Морозову были пожалованы несколько тысяч десятин в окрестностях Лукоянова. Переселили в эти места «литву» или, выражаясь современным языком, белорусов. Местное русское население называло их «будаками». Местные леса были настолько густыми, что южная часть лукояновского уезда была заселена лишь во второй половине девятнадцатого века.

Тогда же, во времена Алексея Михайловича, стали развиваться в здешних местах, связанные друг с другом, поташный и дегтярный промыслы. Поташ, используемый в стеклодувном деле, при производстве дорогих сортов стекла и хрусталя, при варке мыла, отбеливании холстов, изготовлении красок и пороха, ценился очень высоко и был экспортным товаром. Везли его в Англию и Голландию. Продажа его была огорожена со всех сторон высоким забором государственной монополии. Добывали его просто. Варварски просто. Вырубали в лесу площадку, называемую местными жителями будным станом или майданом⁴. На площадке этой жгли дрова, нарубленные в окрестных лесах. Получившуюся золу, смешивали с водой до получения тестообразной массы, которой обмазывали новую партию дров и снова жгли. Эту, с позволения сказать, технологическую операцию повторяли несколько раз. Иногда из золы теста не делали, а делали суспензию и осторожно поливали ею горящие дрова, да так, чтобы костер не потух. На дне кирпичного очага, в котором жгли дрова, собирался выпаренный поташ, куски которого выламывали ломом и затаривали в бочки. Это было большое искусство – поливать костер. Рабочих, которые это делали, называли «поливачами» и в обучение к ним шли с малолетства. В конце всего процесса получившуюся золу просеивали, помещали в деревянные корыта и заливали чистой горячей водой для экстракции поташа. Раствор или «щелок» выпаривали до получения серого порошка и уж этот порошок прокаливали до тех пор, пока он не превращался в белый. Вот, собственно, и вся технология. Из кубометра дубовых дров можно было получить до трех килограммов поташа. Кубометр сосновых давал полтора, а березовых всего килограмм или даже меньше. Мудрено было при такой эффективности производства не вырубить начисто огромное количество лесов. И это мы еще не берем в учет контрабандное производство поташа, без которого тоже не обошлось.

Поташ был так ценен, что в 1660 году, когда появилась угроза вторжения татар, Морозов, крупнейший землевладелец и, понятное дело, производитель поташа, писал в свои вотчины приказчики, чтобы они закапывали поташ в ямы «где б вода не была, на высоких местах».

Производством, а точнее, добычей поташа занимались довольно долго – почти весь восемнадцатый век. В начале двадцатого века, когда поташ уже получали совсем не из древесной золы, в двадцати километрах от Лукоянова купец, а точнее сказать, промышленник Черемшанцев построил стеклозавод. Развели в тех местах залежи формовочного и стекольного песков. Делали винные бутылки и банки для варенья. В двадцать четвертом году заводу было присвоено имя Степана Разина, который в здешних местах погулял с размахом. Во время второй мировой войны делали на заводе стеклянные солдатские флаги и бутылки для коктейля Молотова. В начале нынешнего века завод стал умирать. В девятом году его выставили на продажу за десять миллионов долларов⁵, но не прошло и года, как он был признан банкротом.

Раз уж зашла речь о Степане Разине, то никак нельзя обойти молчанием многочисленные разинские клады, которые, по словам местных жителей, зарыты во множестве потаенных мест. Одних разинских станович по берегам реки Алатырь знающие люди насчитывают около дюжины. Лежат клады в глубоких подземельях пятнадцатисаженной глубины. Лет сто, а то и больше тому, спускались в одно из таких подземелий два человека. Один умер сразу, после того как его вытащили на поверхность. Очевидцы утверждали, что от изумления. Второй же был псаломщик и полез туда с молитвой, а потому не умер, но сознание потерял и, перед тем, как потерять, успел внимательно рассмотреть огромные дубовые, окованные железом двери, закрытые на три огромных навесных замка и запечатанные Большой Разинской Печатью с изображенными на ней перекрещенными казачьими пиками. Была там и надпись, но человек был темный, неграмотный и букв не разбирал даже при дневном свете, а уж в полутьме, при неверном свете сальной свечи... Тогда же один из помещиков Лукояновского уезда нашел чугунок с золотыми николаевскими пятерками и десятками, принадлежавшими повстанцам. Есть в этих местах и несколько каменных валунов, которые абorigены называют «разинскими камнями». Под ними, как гласит молва... Впрочем, на эту тему в лукояновском краеведческом музее со мной даже и разговаривать не захотели.

Надо сказать, что лукояновцы, как мордва, так и русские, и пугачевское восстание охотно поддерживали. Часть из них была повешена посреди села «За преклонность крестьян к злодейской шайке и за намерение злодеев встретить хлебом и солью».

В царствование Екатерины Великой село Лукояново превратилось в уездный город Лукоянов. Нельзя сказать, что это было началом лукояновского процветания. Как был он похож на большую деревню... так и до сегодняшнего дня. Часть лукояновцев записалась в мещане, часть в купечество. В купцы записывались все больше, по недостаточности капиталов, в третью гильдию. Была бы четвертая – записались бы и в нее, но...

Первые несколько десятилетий городской лукояновской истории протекли незаметно. Не происходило ничего. Хоть иди штурмом брать Арзамас или объявляй себя республикой. Даже куры по улицам бродили так же медленно, как и тогда, когда были сельскими, а не городскими. Вили веревки, плели лапти, рогожи, делали деревянные бадьи, тележные колеса, жгли уголь, шили армяки и поддевки. К царскому столу не поставляли, кроме поташа, ничего... Впрочем, веревки у лукояновцев выходили отменные и славились на всю губернию и даже за ее пределы, но посылать их к царскому столу все же не решились. Мало ли как могут понять в Петербурге...

В мае восьмисот шестнадцатого года, ровно через тридцать семь лет после того, как по екатерининскому указу Лукоянов стал уездным городом, он сгорел. Не весь, но на две третьих. Из почти трехсот обывательских домов сгорело двести. Кроме домов сгорела деревянная церковь с колокольней, все хлебные магазины с семенным зерном, соляные магазины, в которых хранилось сорок шесть тысяч пудов соли и цейхгауз с оружием. Пожар был в мае. Как лукояновцы пережили зиму семнадцатого года... Набились ли как сельди в бочки в оставшиеся дома или разъехались по окрестным деревням, или рыли землянки... Ровно через год после страшного пожара, в мае семнадцатого года сгорели оставшиеся дома и здания всех присутственных мест с документами. Хорошо еще, что пожарным удалось вытащить живыми из горящей тюрьмы арестантов. Как говорил по другому, но тоже печальному, поводу персонаж одной из пьес Уайльда «Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как несчастье, но потерять обоих похоже на небрежность».

Нижегородский губернатор, узнав о том, что Лукоянова больше не существует в самом прямом смысле этого слова, повелел перенести столицу уезда в село Мадаево в двадцати пяти верстах от пепелища. Лукоянов был разжалован в село, а Мадаево стало городом. Всем лукояновским чиновникам было предписано немедленно переехать в Мадаево и там приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Чиновники, не посмеяв ослушаться, переехали, но через восемь месяцев так запросились из этой лесной глуши обратно на родное пепелище, что написали *донное* прошение императору Александру Первому о том, что условий для их работы никаких, жить приходится в курных избах и козы, оставленные бабами без присмотра, жуют гербовую бумагу. Простение было составлено так умело, что уже через четыре месяца пришел высочайший указ о возвращении столицы в Лукоянов, возвращении ему статуса уездного города и переезде из Мадаево всех чиновников. Мадаевских баб обяжали внимательнее присматривать за козами, а вот нижегородского губернатора отставили. Вдруг выяснилось, что при нем в губернии расцвело мздоимство, и даже он сам был уличен в том, что во время войны с французом брал взятки за откуп от воинской повинности и присваивал казенные деньги от сиротского довольствия. То есть взятки-то он брал давно и расхищать начал тоже не вчера, но лукояновские пожары осветили всю эту его противозаконную деятельность таким ярким светом, что... будь ты хоть трижды губернатор, а связываться с чиновниками не стоит. Себе дороже выйдет.

Лукоянов отстроили быстро – года за три. Потом еще десять лет прошло в полудреме. Впрочем, был построен каменный Покровский собор, колокольный звон которого был слышен на двадцать верст в округе, а в двадцать седьмом было открыто двухклассное уездное училище. Первое в городе. Достоин упоминания и тот факт, что в городе с двадцатого по двадцать четвертый год, с двух до шести лет прожил будущий писатель Мельников-Печерский. Увы, отец его увез в двадцать шестом году вместе со всей остальной семьей в Балахну, а проживи он здесь еще шесть лет, мог бы встретиться с Пушкиным, который проезжал через Лукоянов по пути в Болдино. Наше все могло бы погладить смышленного мальчонку по голове и подарить ему каменный мятный пряник, который Наталья Нико-

лаевна сунула своему жениху в дорожную сумку с едой еще в Москве. Теперь этот пряник занимал бы почетное место в экспозиции лукояновского краеведческого музея и директор музея Мельникова-Печерского в Нижнем изводил бы директора лукояновского музея просьбами предоставить пряник для выставки, посвященной годовщине или к юбилею писателя, а директор лукояновского музея писал бы письма в областное министерство культуры с просьбой оградить его и пряник, и на витрине держал бы муляж, а настоящий пряник прятал бы в сейфе, где его погрызли бы мыши, и приехала бы комиссия...

Пушкин останавливался в номерах при трактире местного булочника купца Агеева, что на улице Пушкина. Помылся в большой деревянной кадушке, поспал, поел в трактире горячих агеевских калачей с маслом, напился чаю с густыми сливками, послушал музыкальную машину, посмотрел с тоской на соседний стол, где пехотный поручик обygрывал в штосс какого-то елистратишку, вздохнул, приказал подать себе на посшок рюмку лукояновской горькой и укатил в Болдино.

Двухэтажное, прямоугольное в плане здание агеевского трактира и до сих пор стоит на том же месте. Рядом стоит еще одно, похожее, но гораздо длиннее и угловое. В угловом выбиты стекла и только на первом этаже в правом углу дома теплится жизнь в маленькой конторе под названием «Эфест», оказывающей финансовые услуги населению. В прямоугольном здании, в том, в котором действительно останавливался Пушкин, стекла целы и даже кто-то, судя по занавескам на окнах второго этажа, живет. На всякий случай я зашел в незапертую дверь организации торгующей пластиковыми окнами, и спросил у скучающей девицы – в каком из этих двух домов останавливался Пушкин? Скучающая девица скучным голосом ответила, что не знает, и продолжала скучать. Правду говоря, не одна девица не в курсе того, где был трактир Агеева. Когда областные специалисты из департамента по охране культурно-исторических объектов заносили в специальный реестр номер агеевского дома, то перепутали дома, и в реестр попал угловой дом купцов Валовых, в котором в пушкинские времена находилось военное присутствие и казармы. Отчего не спросили местных краеведов и музейщиков – Бог весть. Теперь музей пишет и пишет письма в Нижний, чтобы изменить в реестре номер дома, но проще, видимо, поменять дома местами, чем изменить цифру в документе. И черт бы с ним, с этим реестром, но в доме Агеева еще живут две семьи, и сам дом по документам проходит как ветхое жилье. Вот расселят эти две семьи в другие дома, а ветхое жилье... Конечно, до такого дойти не должно, поскольку это уж совсем ни в какие ворота не лезет, но как представишь себе наши ворота, в которые и не такое влезало, то поневоле и задумаешься.

В Лукоянове есть и еще один дом, связанный с Пушкиным – дом, принадлежавший бывшей его крепостной, Ольге Михайловне Калашниковой. Пушкин ее отпустил на волю и даже выдал замуж за мелкопоместного дворянина Ключарева. Этот дом и был приданным Ольги Михайловны. Пушкин дал ей денег, чтобы она его купила. У Ольги Михайловны от Александра Сергеевича был не только дом, но и сын. Муж Калашниковой был человек хороший, тихий. Вот только пил сильно.

Ольгу Калашникову Пушкин сделал прототипом русалки в одноименном произведении, а Лукоянов, хоть и краешком, но все же протиснулся в «Историю села Горюхина». Примечательно, что всегда по этому случаю цитируют место из повести, в котором написано: «...был переименован в город в 17... году, и единственным замечательным происшествием, сохранившимся в его летописи, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места». И точно – это о Лукоянове и о страшном пожаре, который был в нем в шестнадцатом году. Со всем тем и предыдущее предложение «История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и представляла мало пищи красноречию» тоже о нем!

Лукояновцы, несмотря на бюрократические чудеса с домом купца Агеева, Пушкина любят. К двухсотлетию со дня его рождения поставили бюст и разбили скверик на том самом месте, где находилась ямская изба, в которой Пушкину меняли лошадей. Ну и чтобы уж закончить с пушкинской

темой в истории Лукоянова, скажу, что возле железнодорожного вокзала видел я крошечный продуктовый ларек под вывеской «Болдинская осень»⁶.

Вернемся, однако, в музей. В одном из его коридоров стоит прислоненная к стене бронзовая табличка довольно внушительных размеров. На ней написано «В память освобождения крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1861 г.» Такие таблички сразу после реформы правительство рассылало по деревням. В одну из деревень Лукояновского уезда тоже прислали. На каком доме висела она первые полторы сотни лет – неизвестно. Да и висела ли. Совсем недавно один учитель истории пошел гулять со своими учениками и, перебираясь через ручей по мостику, заметил, что на плите, на которую он наступил, есть буквы. Плита тяжелая. Буквы рельефные...

Вот я написал про буквы и остановился. До самого открытия в семьдесят четвертом году в Лукоянове первой почтово-телеграфной конторы на линии Лукоянов – Арзамас – Нижний Новгород не происходило ровным счетом ничего. Купцы торговали рогожами, деревянными ложками, говяжьей, чаем, кадушками, пряжей, тележными колесами и воском, обыватели выращивали на огородах капусту с горохом, а на подоконниках герань. И все, включая мышей⁷ в погребах и амбарах, спали после обеда. Зато уж после открытия телеграфа можно было молниировать в Арзамас «Встречайте партию рогож» и... снова тишина. Шутки шутками, а Лукоянов все же развивался и даже богател. Если в 1784 году в городе числилось всего два купца третьей гильдии, то в 1864 году уже одиннадцать. Правда, все той же, третьей гильдии. В списке тринадцати городов Нижегородской губернии по объявленному купеческим капиталам Лукоянов занимал лишь девятое место. Как бы там ни было, а к столетию Лукоянова именно на деньги местных купцов построили двухэтажное здание городского начального училища для мальчиков.

В девяносто первом году Поволжье поразила засуха, неурожай и голод. За голодом пришли сыпной тиф и холера. В Лукоянов в составе губернской продовольственной комиссии по борьбе с голодом приехал В.Г. Короленко, написавший об этих печальных событиях книгу очерков «В голодный год». Если вспомнить «Историю села Горюхина» и то, по какому поводу в ней оказался Лукоянов, да прибавить к «Истории» книжку Короленко... Воля ваша, а лучше бы таких поводов и вовсе не было⁸.

В девятьсот третьем году через железнодорожную станцию Лукоянов прошел первый пассажирский поезд. В Лукоянове устроили паровозоремонтное депо. Железная дорога... не превратила Лукоянов в Нью-Васюки. По-прежнему торговали на городских базарах кадушками, рогожами, деревянными ложками, мукой и яблоками. Среди местных сортов славились сладкие: «Черное дерево», «Бабушкино» и «Бель духовская». Прогресс медленно вползал в Лукоянов. В городе появилась первая частная аптека Канцевича. От других уездных аптек отличалась она не тем, что в ней имелся большой выбор сельтерских вод с самыми различными сладкими сиропами, а тем, что ее хозяин был большим оригиналом и держал на привязи вместо собаки волчицу. Мало того, он еще на Масленицу запрягал в санки огромного черного козла и катался по городу.

Прогресс коснулся и лукояновской торговли. Если в магазин к купцам Чивкуновым за покупками приходили дети, то им выдавали бесплатный леденец на палочке. Купец Бычков над дверью повесил колокольчики, звеневшие при каждом открытии двери, а в магазине Королевых не было ни леденцов, ни колокольчиков, но над входом было написано большими буквами «Сегодня за деньги – завтра бесплатно». Эта вывеска имела в Лукоянове огромный успех. В те простодушные времена о том, что завтра не наступит никогда, кроме старика Королева, в городе не догадывался, кажется, никто.

Булочник Сипин был любим лукояновской детворой за то, что в удачные базарные дни, распродав все свои пресные калачи, имел обычай выпивать стакан водки и с песнями идти домой, но не по суху, а по реке Теше, на берегах которой и стоит Лукоянов. Дети бежали за Сипиным по берегу и бились об заклад или на щелбаны – дойдет ли до дому булочник по воде или все же выберется на берег.

Уездным исправником в Лукоянове был Философ Геннадьевич Велтистов. Бог весть, отчего его называли так родители. Кажется, ни в каких святцах, включая древнегреческие, такого имени нет⁹. Может, был его батюшка вольнодумцем и любил после обеда вздремнуть с томиком Канта или Лейбница на коленях, может, даже и сам пописывал статейки о лейбницевых монахах в лукоянов-

ский «Вестник садовода и огородника», а может, просто изводил жену вопросами о феноменологии духа и, не дождавшись от нее ответа, злился, стучал кулаком по столу и спрашивал: «Прасковья, ты вообще Гегеля читала?!»

В селе Атингеево местные крестьяне научились делать прекрасные свиные окорока, которые, как утверждают местные краеведы, даже поставлялись к царскому столу. После поташа это был второй лукояновский продукт, который поставлялся к царскому столу.

Тому, кто в этом месте зевнет и... еще раз зевнет, скажу, что другой истории Лукоянову дано не было. Кабы лукояновцы покоряли Северный полюс или строили Вавилонскую башню – я бы и писал о полюсе и башне, а не об уездном исправнике. Хотя... можно и о полюсе.

Жила в Лукоянове купеческая семья Урванцевых. Был у них на Базарной площади магазин, где торговали тканями, но не о тканях речь. В 1893 году у Николая Урванцева родился сын Николай. В восемнадцать лет он поступает в Томский технологический факультет на механический факультет, но под влиянием профессора Обручева и его книг «Плутония» и «Земля Санникова» переводится на горное отделение. В восемнадцатом году Урванцев институт заканчивает и в этом же году, работая в Сибирском геологическом факультете убеждает адмирала Колчака в необходимости финансирования экспедиции в труднодоступные районы Заполярья. Адмирала Колчака. В восемнадцатом году. На пароходе экспедиция добирается от Красноярска до Дудинки, а от нее на оленях и пешком до Норильских гор. Именно Урванцев обнаружил в районе будущего Норильска наряду с углем медно-никелевые руды. Именно Урванцев был одним из основателей Норильска. Потом были экспедиции на Таймыр, Северную Землю и в Северную Сибирь на поиски нефти. Советская власть наградила Урванцева за его выдающиеся успехи в деле изучения полярных районов двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Большой золотой медалью Географического общества, серебряной медалью имени Пржевальского и семью годами лагерей. В тридцать восьмом его арестовали как бывшего колчаковца и члена контрреволюционной вредительской организации. В основанный им Норильск он попал в сорок первом году заключенным. К счастью, Урванцев выжил и вышел на свободу в сорок пятом. Через год после смерти Сталина его реабилитировали. Похоронили его, как он и просил, в Норильске вместе с женой. Теперь в Лукоянове есть улица Урванцева. Такие же улицы есть и в Красноярске и в Норильске. Есть еще и бухта и мыс Урванцева на острове Олений в Карском море, минерал урванцевит... Таких посмертных почестей удостоился, пожалуй, еще только один знаменитый лукояновец – ботаник Валерий Иванович Талиев. По решению Географического общества его имя увековечено в названии четырнадцати растений, среди которых колокольчик Талиева, василек Талиева, сирения Талиева, тюльпан Талиева и даже загадочная наголоватка Талиева. Талиев, кроме своих научных заслуг, был одним из тех, кто подготовил в двадцать первом году знаменитый декрет об охране памятников природы, садов и парков.

Вообще, если начать рассказывать о знаменитых лукояновцах, то никогда не закончить. Среди них и основоположник науки о вечной мерзлоте М.И. Сумгин, и выдающийся хирург-онколог Н.Н. Блохин и многие другие. Видимо, судьба, отказав Лукоянову во внешних событиях его истории, решила возместить их яркостью биографий самих лукояновцев.

Кстати, о лукояновской истории. Пока мы говорили о знаменитых лукояновцах, в городе в девятьсот пятом году успела образоваться социал-демократическая организация, прошла в том же году забастовка лукояновских железнодорожников, в четырнадцатом году открылась эвакуированная из Ревеля женская гимназия, и, наконец, в январе семнадцатого в Лукоянове завелись первые большевики. Дальше все покатилось как снежный ком с горы – образование Совета солдатских депутатов, объединение его с советом рабочих депутатов, митинги, лозунги, съезды, резолюции и прокламации, провозглашение Советской власти и присоединение к совету солдатских и рабочих совета крестьянских депутатов. Когда концентрация советов в Лукоянове достигла предельно допустимых значений и даже превысила их, в городе прошел первый уездный съезд Советов.

Уже в девятнадцатом году в городе вышел первый номер большевистской газеты, который назывался «Лукояновская мысль». Не правда, не зная, не труд и не серп с молотом, а мысль!¹⁰ И это в то время, когда в столицах были одни «правды», «известия» и «труды» со «знаменами». Много ли в России газет, в названии которых и теперь есть это слово? И не газет, кстати, тоже.

Первым редактором «Лукояновской мысли» был Александр Зерчанинов – будущий литературовед, профессор и создатель школьного учебника по литературе для восьмых и девярых классов, по которому детей мучили литературой с начала тридцатых и до конца шестидесятых годов. Это в его учебнике цитат из Ленина, Маркса и Энгельса было едва ли не больше, чем цитат из Гончарова, Толстого и Чехова. Это в его учебнике написано про «оторванную от жизни поэзию Фета», про то, что в «Обломове» Гончаров «углубляет показ разложения феодально-крепостнического строя и выносит ему суровый приговор, хотя и с некоторой затаенной грустью».

Зерчанинову было мало «Лукояновской мысли» и он придумал издавать еще и школьный литературно-художественный альманах «Апофеоз». Определенно этот человек не привык отказывать себе в названиях. Кабы не уехал неугомонный Зерчанинов в двадцать первом году в Нижний Новгород, а потом и в Москву, кто знает, как сложилась бы судьба «Лукояновской мысли» и «Апофеоза». В тридцатые можно было только за одни названия этих изданий получить срок.

Оставим, однако, литературу и повернемся к лукояновской каждодневной жизни. Из уездной она превратилась в районную. В тридцатом открыли МТС, в тридцать втором все сорок четыре районных сельсовета получили телефонную связь и теперь начальству, вместо того чтобы трястись по ухабам в какую-нибудь глухую деревню, собирать колхозников на собрание и в синем махорочном дыму перекрикивать мужиков и баб, можно было просто позвонить по телефону и, не повышая голоса, спросить председателя – где надои, почему до сих пор не посеян овес и не завелись ли у него часом в сельсовете трощисты с зинovieвцами.

В тридцать четвертом заложили парк имени Ленина, а в тридцать восьмом вступила в строй первая очередь городского водопровода. Забегая вперед, скажу, что ответную к водопроводу часть – городскую канализацию – в Лукоянове стали строить почти через полвека, в восемьдесят шестом. В тридцать восьмом же открыли школу медицинских сестер и через год приняли участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Еще через два года была война. Одна лукояновская промартель шила летнее и зимнее обмундирования, другая – маскировочные сетки, а третья – вязала стальные заградительные сетки против подводных лодок. Между прочим, именно лукояновским швейникам было поручено изготовление первых армейских погон. Погибло лукояновцев много. Так много, что почтальоны, которые, конечно же были женщинами, гнали самогон, поили им местных забудыг для того, чтобы те относили похоронки в семьи погибших.

После войны, в конце пятидесятых, наконец-то закончили электрификацию всего района. В шестидесятых построили завод по производству сухого обезжиренного молока, новый цех мяскокомбината и ремонтно-подшипниковый завод. В семидесятых – заводы крупнопанельного домостроения и кирпичный. Если все эти заводы и цеха перечислить еще раз, то получится список умерших в последние годы предприятий¹¹.

В музее создан уголок послевоенных лет. В нем, к счастью, нет таблиц и графиков с кубометрами, центнерами с гектара, литрами и киловаттами, зато есть коврик с оленями, витиеватая этажерка и висящие на стене портреты серьезных, принаряженных для фотографирования лукояновцев. Все эти коврики, этажерки и портреты принесла из дому директор музея – Елена Валентиновна Кузнецова.

Она директорствует в музее уже восемь лет. Самому музею уже пятьдесят семь. Поначалу он был музеем на общественных началах. Тогда-то его и ограбили в первый раз, еще в восьмидесятых. Прямо в день города и ограбили. Вынесли старинное оружие, попавшее в музей еще из дореволюционных, купеческих коллекций. Теперь в нем целых три сторожа женского полу. Нижегородское начальство требует от директора сторожей сократить, а вместо них завести современную сигнализацию и решетки на окнах. Оно, конечно, правильно, но только одно оформление бумаг на эту сигнализацию стоит двести тысяч, а еще установка, а еще ежемесячный платеж. Нижегородское начальство говорит, что деньги на это все надо брать, где хочешь. Елена Валентиновна хочет не сокращать сторожей, потому как они живые и потерять работу, где им платят целых семь тысяч рублей в месяц... Ну, да про эти подробности начальству слушать неинтересно. Директор и сама получает многим больше сторожа, а потому еще и подрабатывает учителем истории. Зато ей грамоту дали за хорошую работу. Правда, на листке обычной бумаги, а не на красивом бланке. Она не обижается, но

губы поджигает, когда об этом рассказывает. И то сказать – почему бы ей не дать грамоту, если она со своим музеем что ни год, то издает книжки по истории Лукоянова. Получила несколько грантов от «Единой России» на издание книг о знаменитых лукояновцах. Сразу эти деньги в типографию и отдала. Ну, это сказать просто – получила и отдала, а по условиям гранта надо привлечь еще полстолька и эти полстолька надо выбить у местной администрации. Поди, выбей из них... На ремонт проваливающихся полов в музее она брала доски из дому. На ремонт повалившегося забора... все же денег дали. Со скандалом, но выбила. Если не шуметь, то и не дадут. Вон дом культуры на центральной площади ничего не требовал – теперь из него всех выселили, потому как он вот-вот завалится.

В программе развития внутреннего туризма они участвуют. Как все – так и они. Вот только участие их бумажное. Для настоящего участия туристам хорошо бы что-то показывать, кроме музея. К примеру, трактир Агеева, в котором останавливался Пушкин. Хорошо бы этот трактир к моменту показа отремонтировать и привести в божеский вид, а как это сделать, когда в реестре памятников значится совершенно другой дом...

Походив о центральной части Лукоянова, я увидел, что и правда, показывать особенно нечего. Купеческих домов осталось мало, а на дома советской постройки глаза бы не глядели. Все же глаза мои углядели памятную табличку на одном из старых домов. На ней был портрет улыбающегося старика в очках. Рядом с ним написано «Выдающийся Лукояновский краевед, внештатный сотрудник газеты «Лукояновская правда», Алексей Иванович Пох. 1909 – 1993. «Чего не знает Пох – знает лишь Бог», – говорили о нем лукояновцы». Смотрел я на эту табличку и думал о том, что хорошо жить в провинции, в маленьком уездном городке – там есть хоть и небольшой, но все же шанс оставить после себя памятную табличку с прилагательным «выдающийся». Впрочем, об этом надо было раньше думать. Теперь уж поздно.

Перед уходом из музея показала мне Елена Валентиновна странный аппарат, напоминающий выкованный из железа скелет огромного кузнечика юрского периода размером с велосипед. Оказалось, что это аппарат для изготовления гвоздей. Ему без малого сто лет. В первую мировую войну увидел его один из лукояновцев в Германии. И так ему это устройство понравилось, что каким-то образом умудрился он изготовить его чертежи. По возвращении с фронта пошел он в кузницу и, поскольку сам был кузнец, да еще и хороший, этот аппарат выковал. Так и кормилась его семья до второй войны изготовлением гвоздей. И всю войну кормилась, и после нее. Сам-то кузнец ушел на фронт и не вернулся. Принесли это чудо техники в музей его потомки. Елена Валентиновна принесла из дому проволоки и... наделала гвоздей. Пока была проволока – приходивших в музей детей от этого аппарата было не оттащить. Если бы на экскурсию не пришли полицейские из Нижнего, проволока и сейчас бы еще оставалась.

¹ Здесь мы ни в коем случае не входим в рассуждения на тему о том, правильно ли называть эрзян, мокшан и терюхан* мордвой. Вопрос этот болезненный и до того запутанный... В лукояновском краеведческом музее, в зале, где проходит выставка местного эрзянского скульптора и резчика по дереву Николая Абрамова, экскурсовод Николай Иванович (эрзянин, как мне потом рассказали) чуть не съел меня вместе со всеми, довольно внушительными, деревянными скульптурами, когда я неосторожно объединил эрзя и мокшу одним этнонимом «мордва». Короче говоря, не входим. Даже и не пытаемся.

*От терюхан, которые когда-то жили еще в селе Лукояново в шестнадцатом веке, оставалась в городе улица Терюшаны. Терюхане были «засечными сторожами» и охраняли проходы в засечных полосах от проникновения казанских татар и ногайцев. За это им полагались привилегии – бесплатные земельные наделы и освобождение от уплаты налогов. После взятия Казани граница отодвинулась и терюхане свои привилегии потеряли, а в 1639 году им и вовсе пришлось уезжать из Лукоянова в места компактного проживания своих соплеменников. Улица, однако, по старой памяти так и называлась Терюшанами, пока не переименовали ее в улицу Ленина, который в Лукоянове никогда не жил, засечным сторожем не служил и от одного вида татарской или ногайской конницы, мчащейся с гиканьем и свистом в атаку, наверняка упал бы в обморок.

² Куда при этом делась Афимья Карпова – ума не приложу. Может, так и жила в Лукоянове старой одинокой старухой, помнившей еще Ивана Грозного. Висел у нее в красном углу под иконами портрет

Ивана Васильевича, с которым она каждый день разговаривала, а мужиком, забывавшим ломать шапку при встрече, грозила скрюченным узловатым пальцем и шипела: «Грозного на вас нет! Вот бы он вам башки-то поотрубал бы вместе с шапками».

³ В одном из залов лукояновского краеведческого музея висят за стеклом два красивых женских костюма богато украшенных вышивкой. Один из них костюмов – костюм мокшанки, а другой – эрзянки. Сами костюмы сравнительно новые им лет по сто пятьдесят, не больше, а вот мониста на них удивительные. На костюме мокшанки оно сделано из медных денег времен Алексея Михайловича, а на костюме эрзянки – из латунных счетных монетовидных жетонов времен Людовика Шестнадцатого. После французской революции, когда в самой Франции нужда в королевских жетонах отпала, их завозили в Россию буквально в промышленных количествах. В Поволжских деревнях продавали их местным красавицам татары-коробейники.

⁴ И доньне в некоторых мордовских селах есть в названиях существительное «майдан», а уж прилагательные могут быть разными – и Казенный, и Тольский, и Сялеевский.

⁵ В объявлении о продаже, в графе «срок существования бизнеса», я прочел: «сто лет». Не знаю, как владелец, но я бы себя чувствовал при этом так, точно продаю бабушкины фамильные драгоценности.

⁶ На привокзальной площади, на специальном постаменте стоит огромный паровоз серии «Л», выкрашенный черной и красной красками. Приезжали бы в Лукоянов туристы – они бы с этого паровоза не слезали бы. Увы, они не приезжают и потому лукояновский вокзал безлюден и тих. Сами же лукояновцы приходят на вокзал только по нужде. К примеру, когда уезжают в Москву на заработки.

⁷ Должен сказать, что отдел природы лукояновского краеведческого музея поразил меня большой коллекцией чучел мышей. Здесь есть и чучело лесной мыши, и домовый, и желтый, и полевой и даже какой-то огромной мыши в желтых пятнышках, оказавшейся при ближайшем рассмотрении детенышем крапчатого суслика. Есть в отделе природы удивительный экспонат. Это чучело пеликана, про которого на этикетке, лежащей рядом, написано: «Пойман у села Поя в 1964 году гражданином Ермолаевым». Как его занесло в лукояновский район... Жаль, что гражданин Ермолаев не спас его, а отнес в музей. Мог бы спасти, выкормить рыбой. Перезимовал бы пеликан у него в теплом хлеву. К весне выпустил бы. Одного пеликаньего гуано сколько осталось бы. Удобрять – не хочу. А может, и не улетел бы он. Ермолаев звал бы его, к примеру, Михалычем. Ходил бы с ним на рыбалку, как вьетнамский крестьянин. Защищал бы от назойливых ребятишек. Эх, Ермолаев, Ермолаев... Зачем ты оказался пеликану гражданином, а не товарищем...

⁸ Во время голода лукояновский купец Валов пытался нажиться на народном несчастье. Каким образом он пытался это сделать теперь уж неизвестно. Может, продавал хлеб по высокой цене, а может, присваивал часть государственного зерна, выделяемого для голодающих крестьян. Зато доподлинно известно, что настоятель Поковского собора о. Василий Цедринский наложил на него за это епитимью. Кроме строгого поста должен был купец Валов приходиться в церковь по праздничным дням в специально отлитых для этого случая чугунных колодках. О приближении Валова к церкви прихожане слышали задолго до его появления. Кабы теперь... то от грохота колодок все тех, кто наживается... Ну, да что об этом мечтать.

⁹ На самом деле в святцах есть такое имя. Если ты родился тринадцатого июня, то быть тебе Философом. Впрочем, на тринадцатое июня есть еще два имени – Борис и Николай. Нет, как хотите, но его папаша был вольнодумцем.

¹⁰ Увы, теперь газета называется «Лукояновская правда».

¹¹ Когда развалился ремонтно-подшипниковый завод, тысячи и тысячи сверкающих металлических шариков выкатились на улицу Пушкина. Счастливые дети набивали ими полные карманы, бросали крупные с моста в речку, а мелкими стреляли из рогаток друг в друга и по окнам. Множество проходивших мимо людей не смогло пройти и упало, поскользнувшись на шариках. Пришлось даже вызывать полицию, чтобы навести порядок.

Андрей ТАВРОВ

В ПОИСКАХ НЕДОСТИЖИМОГО ЯЗЫКА

(Заметки о творчестве Елены Зейферт)

«Античный цикл» Елены Зейферт «Греческий дух латинской буквы» обладает стилистическими приметам, свойственными так же ее прозе, пишущейся параллельно ему: сочетанием интенсивной метафоричности и отчетливой документальности, почти научной фактографичности. Сам по себе такой сплав достаточно редок, тем более взятый всерьез, а не в игровом варианте, свойственном, например, «Хазарскому словарю» или другим игровым вещам подобного рода. Вообще, «юношеская германская серьезность», о которой в свое время писал Аверинцев, литературный регистр, все реже встречающийся, Елене Зейферт близок и доступен, и это говорит о том, что автор отваживается на мужество произнесения слов, обладающих равенством со смыслом, собственно говоря, жизни автора. Но это особая тема.

«Античный цикл» населен казавшимися второстепенными героями греческой и римской мифологии – традиция, к которой в XX веке прибегал, например, Сеферис, так как для него второстепенный Эльпенор, «маленький персонаж», ничем не примечательный, оказывается куда интереснее Аякса или Одиссея – героев, облаканных вниманием классицизма, романтизма и модернизма.

У Елены Зейферт это Библида, или Гелен, или, на тех же правах, герои и персонажи, возникающие по ходу развития стихотворного сюжета, маленькие-великие люди, вошедшие в него, потому что не могли не войти.

Когда речь заходит о творчестве Елены Зейферт, российской немки по происхождению, ученого, чья работа во многом связана с немецкоязычной литературой, в том числе и живой, современной, невольно возникает тема двуязычия, довольно-таки привлекательная для сегодняшней «лингвистической критики» художественного текста. С таким подходом вполне можно согласиться, но, на мой взгляд, продуктивнее будет применить его в несколько иной перспективе. Рассматривая письмо (и речь) «Античного цикла», конечно же, следует говорить не о двуязычии, например, Джозефа Конрада, Набокова или Петрарки, а о том двоящемся языковом эффекте, который в свое время заворожил и измучил Мандельштама.

Например, здесь:

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

И дальше:

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить.

И еще:

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг –
 Язык бессмысленный, язык солоно-сладкий
 И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
 Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!

Тут главное не оттенки, не сам конкретный второй язык – немецкий или итальянский, неважно, – а присутствие некоторой *абсолютной недостижимости выражения*, к которой почти на физиологическом плане приводит сопоставление родного поэтического языка с другим, свойственным другому поэту, действующему в другой великой звуковой и речевой традиции. Вот эта-то великая речевая недостижимость, проявляющаяся при сравнении разноязычных поэтических практик, и становится главным героем, развившимся из второстепенного, почти незаметным Эльпенором, почти прозрачным персонажем, обнаруживающим постепенно невероятную, завораживающую поэта силу невозможного – «Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить».

Но в этой речевой невозможности скрыт огромный императивный импульс, и тот, кто его почувствовал, становится под его знамя, как это происходит с автором «Античного цикла». Ведь дело как раз в том, что речь *любого* языка сама по себе двоится, троится, множится. Слово, произнесенное в полдень, никогда не совпадет с тем же словом, произнесенным вечером. Слово, произнесенное грузчиком, никогда не совпадет со словом, произнесенным нимфой или солдатом. В одних устах у имени – одни свойства и смысл, в других – другие.

...я улыбнулась, она замолчала.

– имя бога в самом боге, а твоё имя в тебе? – я положила перед ней шар из ячменного теста.

– если ты, смертная, назовёшь меня Халкидой, я превращусь в землю, и буду то в Афинах, то в Фивах, то даже в Венеции, лежачий ком солёной греческой земли, и мне придётся ждать оклика бога, чтобы опять научиться летать.

хорошего неба, Киминда.

вода между Эвбеей и материком такая же синяя, как воздух.

(... – на зависть-то, у хеттов...)

Вот что пишет сама Елена Зейферт о «двуязычии» цикла: «Я пробую разные регистры – от возвышенного (Эвриал, Тиррен), трагического (Полиник) до сатирического (политика – Фокида), даже шутиwego (Оры), форму диалога.

Тема двуязычия очень важна, как человеческого (Тиррен, Квирин), так и языка смертных/языка бессмертных. Если Халкиду окликнет человек, она превратится из птицы в греческую местность, и будет ждать оклика бога (это моя догадка); человек должен называть ее Киминдой».

Наш родной язык каждый миг является и становится сам себе языком иностранным – вот в чем главная проблема выразительных средств поэзии. Слово двоится по отношению к самому себе. И я бы не сказал, что слово двоится в зависимости от контекста: так сказать – ничего не сказать, увести в сторону. Слово двоится в зависимости от самого себя-иностранного, и это сводит поэтов с ума и вкладывает в них непостижимую отвагу.

Тут самое главное – промежуток, зазор, который такая двуязычная речь образует, потому что поэтика «Античного цикла» построена не столько на словах, сколько на зазорах между словами, между именами, относящимися к греческой, римской или русской культурной сфере. И в зависимости от ситуации такие сопоставления имен и глаголов образуют различные формы зазоров, «щелей». Языковой зазор – «молчаливое пространство» между именем в одной культуре и именем в другой – не бесстрастно, не безразлично. Оно как раз способно молчаливо, но ярко и красноречиво выразить то, что не могут сделать сами слова – ограниченные и конечные формы.

Более того, зазор, пауза начинает переселяться внутрь любого имени, любого слова – слово становится углубленным внутренней трещиной тишины, уводящей во все более сокровенные пространства внутренней формы.

Парадокс состоит в том, что на земле не существует языка, способного выразить то, что является поэту в чистом и нерасчлененном виде в сфере довербального смыслового пространства. Такая чистая весть не может найти себе языкового тождества, и поэт, отчаявшись в попытках, начинает вести поиск в межязыковых областях, на которые падает ответ возможностей, присущих каждому отдельному языку, как воплощение мечты о языке идеальном или изначальном.

Итак, слова в «Античном цикле» не образуют линейного повествования, а скорее, выявляют коридоры, произошедшие из зазоров – коридоры безмолвия, но безмолвия отнюдь не бесстрастного и не немого. Скажем так – эти коридоры напоминают лабиринт, его пустоту, образованную при помощи форм стен или пола. Но если в лабиринте жив минотавр, то молчание, пустота, образованная каменными ли, или иными блоками стен, будут вполне красноречивы, более того – они будут все время разговаривать, но не на обиходном человеческом, а скорее на ангельском языке, не обладающем синтаксисом и частями речи, и все же доступном восприятию путешественника по лабиринту. Структура «Античного цикла» как раз и является таким лабиринтом, а читатель соучаствует страннику, путешествующему по его бесконечным узорам.

В архаичных культурах такое «путешествие по лабиринту» было связано с инициацией или посвящением в некоторую тайну, скажем, у шаманов. Тот, кто проходил лабиринтом с прячущимся в нем минотавром, обретал внутри себя новое измерение, новую силу и жизненное пространство, не подлежащее смерти. Он получал весть вне слов, которая говорила ему сразу все о самом главном на своем таинственном языке, способном выразить невыразимое.

Конечно же, я не собираюсь говорить, что «поэтика лабиринта» обязательно приводит к озарению, как бы красиво ни звучала такая гипотеза. Но такая поэтика, по крайней мере, провоцирует читателя на припоминание чего-то очень важного не только в природе слова и речи, но и в себе самом. Итак, языковая или поэтическая недостижимость снимается самой пустотой коридора – тем дополнительным смыслом переживания, который обретает идущий по коридору чуткий читатель, способный обнаружить в поэзии не столько внешний эффект, сколько ее глубины. На то слово и двоятся в самом себе, на то «Античный цикл» и дрейфует от себя современного и от себя греческого к себе историческому и себе русскому, и, добавив, к себе несказанному чтобы в траектории этого дрейфа обнаружить возможность достижения недостижимого, обозначить несловесное в слове и выявить область принципиального невыявления.

Любой язык происходит из не-языка. Эта простейшая истина забыта наукой, но памятна поэзии. Любое слово одновременно и понятно, и совершенно иностранно, непроницаемо –

*Тиррен ты шёл одновременно из Анатолии Скифии из-за Альп
во рту твоём вырос этрусский язык этот комок глины невкусный липкий
как уступили ему колыбель твои органы речи?
прости но мне он так же непонятен как и лидийский*

Слово все время раскалывается само на себя. Имя всегда напоминает нам о том, что оно произошло из не-имени. Как стул, например, происходит не из себя – а из дерева, плотника, топора, родителей плотника, солнца, без которого сосне не вырасти, и так – до неартикулируемой бесконечности. Без всего мира стул невозможен. Без всего мира невозможно имя. И оно не только двоятся внутри себя, оно несет в себе, в своем внутреннем объеме огромный запас трещин, в сумме объединяющий все вещи мира и то, что им предшествует. Трещины складываются в коридоры, а те в лабиринты.

Пустые речевые коридоры глубокой поэзии и, в частности, «Античного цикла», обнаруживают как невозможность самого мира в силу его постоянного двоения и преодоления/исчезновения смысла самого себя, так и невозможность языка как такового, но, самое главное, – тем самым они демонстрируют и актуализируют наличие снимающего эту невозможность некоторого ангельского сверхречевого и бытийного Единства, некоторой *целостности*, по любимому выражению Мандельштама, которая каждый миг делает невозможное возможным и которая соприродна как слову, так и космосу, и в нем человеку.

Стихи Зейферт не составляются из слов и пауз или промежутков, но и слова, и промежутки выходят и возникают из некоторого предшествующего и преодолевающего их единства. Его условно можно обозначить как единство речи-состояния – области дословесного, и стихи цикла пронизаны силой этого единства, несут на себе его ответ. Это поэзия не концептуальная, не конструктивная, собирающаяся из слов и их комбинаций, – это поэзия, возникающая словами и образами из изначального, из первоосновы всего при помощи двоящегося языка и того, что древние называли вдохновением.

Отсылка к «большой реальности» в поэзии часто происходит за счет других, невербальных средств выражения – таких как ритм, рифма или чистая магия у Блока с его «задремали ресницы», или благодаря божественной игровой природе речи, как у Пушкина, но сейчас, скорее всего, – время отказа от средств, ставших инерционными, затверженными. Традиционные методы «договаривания» неполного слова сегодня почти не работают. В «Античном цикле» автор уходит от привычных стихотворных средств выражения и обнаруживает древнейший и насущнейший на сегодня поэтический ход – двуязычие речи как таковой, собственную ее недостаточность, собственную невозможность, которая провоцирует писателя и приводит к осуществлению и воплощению предзаданного.

Василий ЧЕПЕЛЕВ

О СТИХАХ ВИКТОРА ЛИСИНА

Виктор Лисин. Селяне: стихи¹. – Владивосток: niding.publ.UnLtd, 2016. – 60 с.

1.

«Селяне» – органичны и увлекательны. Цикл попросту интересно читать, «деревенский» метасюжет затягивает, сюжеты и метафоры отдельных стихов, героями которых становятся все эти деревья, явления природы и приравненные к явлениям природы «крестьянские дети» – радуют остроумием², сюрреалистический и абсурдистский нарратив подмигивает, как старый знакомый, а оптика повествователя, ребенка-фантазера, оказывается чрезвычайно уместной.

Эта органичность и увлекательность – признак успешной продуманной и прочувствованной поэтической работы, обещающий нам появление новой «звезды». Тем более, что подобные тексты, как следствие систематического подхода, авторского метода – давненько не появлялись. А история последних десятилетий говорит нам, что этот системный подход – самая верная стратегия для того, чтобы быть быстро замеченным и услышанным (Родионов, Сваровский, Никита Иванов и т.д.).

Но это, безусловно, лишь первичное, читательски-кураторское³ впечатление.

¹ <http://polutona.ru/?show=0320014105>

² «С объективацией такого рода, распределением и опредмечиванием одновременно, связано специфическое остроумие новых поэтик. Под остроумием я имею в виду не шутки и веселье, а поиск аналогий – там, где они наиболее неожиданны, сведение воедино в принципе несводимого. И это остроумие обычно дистанцируется от остроловия, потому что оперирует не словами, а понятиями или даже самими предметами. Это своего рода рифмы, и они принципиальны для поэзии, хотя и не имеют никакого отношения к концам строчек и сходству звучания. <> Это остроумие так или иначе свойственно формации в целом, но ярче всего оно проступает в стихотворениях Виктора Лисина». Евгения Риц. Точки и линии. – Воздух. 2014. №4. http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2014-4/riis/view_print/

³ Речь идет о Премии имени Евгения Туренко. Виктор Лисин стал победителем в 2016 году в номинации «На взгляд вперед», «за само-

2.

Разбирая же тексты «Селяне», а тем более – тексты из «воздуховской» подборки «Влюбленные солдаты», – подробнее, в первую очередь фиксируешь изменения в поэтике автора, кристаллизацию стиля, формы и парадигмы высказывания, которые происходят практически у нас на глазах. Так, в первой своей книге «Теплее почвы» (Нижний Новгород, Поэтическая серия Арсенала, 2015) Лисин в значительной степени предстает как тонкий, обладающий острым взглядом наблюдатель, миниатюрист на грани с афористикой.

*человек прозрачен как окно
и непонятен как
погода*

(облачно с прояснениями)

Но уже в той же книге в отдельных текстах пространство между смысловыми жестами, молекулами наблюдений за природой (те самые лакуны) начинает заполняться внезапными фейерверками неожиданных сегодня (в том числе в рамках поколенческих стереотипов) несдержанных метафор, заставляющих вспомнить Поплавского, раннего Василия Бородина, метареалистов и тагильчан. (См. например «И школа мертвая летает».)

*восходит солнце – сад китайский
китайка нарожала выше крыши
а выше крыши фабрика летает
где все слепые и не слышат*

*и узко птицам – сон печальный
приснился всем печальным людям
там яблочко хоронит мальчик
и косточки на блюде*

В других текстах («о птица птица стой что было/ как Рая мертвецца любила») Лисин отдает должное актуальности работы с чужой

стоятельностью относительно поколенческого мейнстрима». Василий Чепелев, первый лауреат премии имени Евгения Туренко, выступил экспертом (*Прим. ред.*).

речью, но делает это с подчеркнутой отсылкой (прием «песни» как способа отстранения хорошо известен, например, это конкретное стихотворение немедленно оживляет в памяти некоторые стихи Линор Горалик). В третьих стихах – автор «собирает» более крупные тексты из миниатюр, напоминая о сравнительно недавно вышедших книгах Евгения Туренко или Тани Скаринкиной¹, в которых мы наблюдали подобные композиционные решения. Всё это позволяет Евгению Прощину говорить о сочетании в стихах Лисина той поры миметического и литературоцентричного².

3.

В «Селянах» о мимесисе, как сколько-нибудь важной составляющей стихов, говорить не приходится. Перед нами – сугубо литературоцентричный, культуροцентричный текст, а все эти действующие в нем утки, свиньи, деревья и кроты, конечно, ни в малейшей степени не призваны даже хотя бы обозначить специфику деревенской жизни. (Подобное развитие событий заставляет задуматься: а были ли наблюдения, было ли миметическое начало раньше? В конце концов, многие миниатюры Лисина с их скобками в разных внезапных местах напоминали скорее хитро устроенные микропесны для читательской мысли и авторского голоса, чем документы зрительной памяти.)

Литературоцентричность созданного им маркесовского мира Деревни Лисин пробует отрицать: утрируя очевидность некоторых отсылок («Превращение» Кафки и т.п.), автор как будто требует от читателя вынести за скобки все эти кафкианские, лавкрафтовские, библейские зачины, всю эту доволатовскую водку с плавленным сырком, признать их незбылемыми жизненными обстоятельствами, рассмотреть его сказочный мир как чистый сюжет, в этих обстоятельствах просто лишь происходящий.

¹ Евгений Туренко. *Ветвь*. – N.Y.: Ailuros Publishing, 2013, Тая Скаринкина. *Португальские трёхстишия*. – N.Y.: Ailuros Publishing, 2014.

² «Стиль Лисина именно лирический, но при этом учитывающий область взаимодействия миметического и литературоцентричного». Евгений Прошин. Из номинационной аннотации. Премия Драгомощенко-2014.

По большому счету не выходит: немедленно открывается «второй слой» литературных взаимодействий. Здесь и стихи Сен-Сенькова, зачастую формирующего высказывание, заполняя пространство между «кирпичиками» визуального сюрреалистическими или абсурдными фрагментами; здесь и совпадение образности с некоторыми текстами Виктора Иванова (см., например, стихотворение «когда ветер только-только до горячего дерева» из книги «Стекланный человек и зеленая пластинка» (М.: Ракета, 2006)), в котором собраны едва ли не все «фирменные» образы из «Селян» – и растения (деревья), причем одушевленные, и бабочки, и птицы, и даже червяк; здесь и холодно-сдержанный сюрреализм скандинавских поэтов (Тур Ульвен, Ингер Кристенсен, Гуннар Вэрнесс), творческую взаимосвязь с которыми подчеркивает сам автор³. Кроме того, единый метасюжет цикла, его устрашающая псевдобуколика, его трагическое псевдоретро с вкраплениями подчеркнутой литературности заставляет вспомнить цикл Марии Степановой «Spolia»⁴ и поэму Михаила Сухотина «Без названия»⁵, во многом выстроенные и воспринимающиеся похожим образом.

4.

Отдельно следует оговорить возникающую параллельность «Селян» с книгой Владимира Богомякова «Дорога на Ирбит: Экзистенциалы бескипешного жития» (М.: Грифон, 2015) и – в особенности – с прозаическим циклом Тараса Трофимова «Духоборы»⁶. Мне уже доводилось писать, что «книга Богомякова является бескомпромиссным путеводителем по цивилизации бесконечного и бессмысленного

³ «Я люблю держать книги в руках, что-то в этом есть трепетное для меня. Будто ребенка качаешь на руках, а он потом на руках вырастает и говорит. Со мной говорили Тур Ульвен, Гуннар Вэрнесс...», – из интервью В. Лисина «Новой газете» в Нижнем Новгороде».

⁴ SPOLIA. Гефтер.ру публикует новые стихи Марии Степановой. <http://gefter.ru/archive/12647>

⁵ <http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOTIN/BezNazvanija.htm>

⁶ Тарас Трофимов. *Духоборы*. – Урал. 2003. №11. <http://magazines.russ.ru/ural/2003/11/trof.html>

ужаса, отгородиться от которой – а значит, спастись – помогает только маска идиота, она же, в менее радикальном варианте, улыбка путешественника-этнографа». Ровно то же можно повторить и касательно «Духоборов», и касательно «Селян». Два последних текста, наряду с сюрреалистичностью и абсурдом, роднит и литературоцентричность, и инфантильность повествователя (сферический «ответственный инфантилизм» по Кукулину¹ в вакууме), а главное – их роднит ключевое, на мой взгляд, социокультурное высказывание. Деревня здесь – метафора чуждости, взаимонаковости повествователя и его героев, взаимонеприемлемости, взаимоксенофобии. Метафора, описывающая, возможно, самое важное сегодня для русской культуры общественное расслоение (речь, конечно, не об отсутствующем в актуальной общественной мысли расслоении город vs село, а о гораздо более широком и всеобъемлющем разделении). Не случайно селяне Лисина не только «ходят по полям», но и вполне себе смотрят телевизор, а духоборы Трофимова (по сюжету действие происходит «во время и после Великой отечественной») встречаются с писателем Кассилем и ездят в Москву, чтобы посетить Мавзолей. Но ничего не меняется: проявления, казалось бы, логичного и обычного внешнего мира лишь встраиваются в абсурдное мироустройство Деревни, становясь его столь же безумными, как всё остальное, элементами.

Лисин описывает симптоматику этой чуждости и безуспешные попытки подстроиться под селян в самом начале цикла:

*Страшная смерть утки поразила деревню,
и селяне теперь в память о ней
ходят по воде.*

¹ «Но ребенок в процитированных стихотворениях – понятно, не детские воспоминания. Ребенок здесь – прежде всего образ самоотчужденного и беспомощного существования. Такой «ребенок» воспринимает окружающую действительность, но также собственное тело и психику как чужие, пугающие и захватывающие интересные. Все происходящее – особенно психическая жизнь «я»-персонажа – оказывается нежным, беззащитным, неготовым и затерянным в бесконечно большом мире». Илья Кукулин. Актуальный русский поэт как воскресшие Алёнушка и Иванушка. – Новое литературное обозрение. 2002. №53.

*Я тайно пытался запечатлеть их но селяне
конечно же догадались что я чужак,
когда я промочил ноги.*

*И возможно жизнь моя оборвалась если бы
я не вспомнил как умер мой попугай,
и начал ходить по воздуху.*

*Я ходил по воздуху и плакал с ними и
цветы похожие на младенцев
сосали пчел.*

А затем еще не раз возвращается к проблеме – «Переехав в деревню», «Селяне умели передвигать предметы», «В деревню недавно приехали медики» и др.

При всём желании полюбить или хотя бы понять селян повествователь Лисина, однако, к этому оказывается не способен, в лучшем случае сохраняя позицию естествоиспытателя, а в худшем – присоединяясь к принятым в деревне оценкам и интерпретациям, в рамках которых любые внешние изменения – необъяснимая, непонятная катастрофа, в которых смерть утки важнее смерти человека (ведь люди же всё равно сами себя хоронят), в которых любые проявления в человеке необычности и индивидуальности объясняются болезнью, паразитами, подлежат лечению (здесь имеются подросток, считающий себя жуком, девушка, у которой в волосах вырос цветок, мальчик, у которого легкие-мотыльки, мать, кормящая грудью баклажан и называющая его «мальш», и так далее).

В последнем (в версии «Полутонов») стихотворении цикла герой-повествователь символическим образом поит водкой старожилу деревни – изливающий ему в благодарность душу дуб, вросший корнями в здешнюю почву, которому доводилось видеть разное и даже, умирая от жажды, пить кровь, но который – конечно же – никогда не имел возможности эту Деревню покинуть.

В конечном счёте Лисин, тонко чувствующий образы, умеющий работать с этих самых образов столкновениями, создает цикл, который смело можно назвать актуальнейшим, крайне важным и при этом изысканно-красивым высказыванием.

5.

Не менее яркое впечатление производит подборка Виктора Лисина «Влюбленные солдаты», опубликованная в журнале «Воздух» (2016, №2). Здесь фирменная наблюдательность становится попросту агрессивной.

*Вот вы знали что бананы – это туристы в
спальных мешках?*

Нет!

*А что гроздь винограда – это кладбище
вернее братские могилы?*

И снова нет!

Герой-повествователь из «Селян» в этой подборке «понаехал» в город, и теперь всё так же наивно, «под дурачка» фиксирует выходы принадлежащих будто бы к иному биологическому виду гопников (вспоминаются ксеноцефалы Виталия Пуханова), отрезанные головы в цветочных киосках, родителей, которые между делом ненавидят детей, и городских сумасшедших, сливающихся с телевизионными рекламными роликами.

Все эти сюжеты словно подтверждают: метафоры не помогут и ничего не скроют, везде всё одинаково, они подталкивают автора к так называемому прямому социальному высказыванию – с одной стороны («Здесь я умру», «Влюбленные солдаты»), к кинематографичной событийной жесткости («Самосуд за изнасилование цветка совершенный с особой жестокостью», «Душевные переживания китов от просмотра фильма молодого режиссера») – с другой стороны, к спрессовыванию структуры текста – со стороны третьей.

Это спрессовывание, в результате которого метафоры и фрагменты разбиваются друг о друга, а резкость и сила высказывания растут, на выходе дает стихи перенасыщенные, скороговорочные не в смысле фонетики, а в смысле молекул восприятия.

Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ОКУНЕЙ

*Группа туристов
с палатками и рюкзаками*

*постоянно передаются
половым путём
родители уехали
на дачу в оконный проём
давай я говорю
неуверенно пошутив
устроим пляски локтей
а ты меня обнимаешь
и говоришь я жду
окуней*

Эти тексты своим стремлением к некоей, что ли, идеальной логорее, соединенным с – куда же без нее у Лисина – наблюдательностью и очень необычной, прошу прощения за слово, доброй оптикой заставляют вспомнить недооцененного в свое время екатеринбургского поэта Дениса Сюкосева¹. (Да что там – лично у меня вся воздуховская подборка Лисина ассоциируется именно с Сюкосевым).

6.

Таким образом, главными критериями, по которым Виктора Лисина можно выделить из числа остальных претендентов на Премию², можно назвать динамику авторского развития, которую мы наблюдаем здесь и сейчас; способность элегантно, осмысленно, легко справляться с огромным массивом поднятых реминисценций, отсылок, сюжетов; совершенно при этом особую, отдельную оптику поэта.

Безусловно, Лисин – поэт вполне поколенческий. С другими главными претендентами (Банько, Коблов, Серенко) сегодня его роднят, например, и всеобъемлющий инфантилизм, и потребность анализировать травму и боль, и исследование границ поэтического текста. Однако если у Банько и Серенко мы видим, условно говоря «я-инфантилизм», «я-травму», «я-боль», то у Лисина инфантилен и страшен в своем инфантилизме весь мир, а травме и боли говорящего противопоставлена, опять-таки, травма и боль других – и где-то в этом противопоставлении и формируется высказывание. Если Кузьма Коблов изучает простран-

¹ Денис Сюкосев. Это что: Первая книга стихов. – М.: АРГОРИСК; Книжное обозрение, 2007. – 48 с. – Серия «Поколение», вып. 20.

² См. прим. 3.

ство поэтического высказывания в значительной степени за счет пересечения границ между стихотворениями и прозой, то Лисин работает над прозаизацией поэтического текста за счет сюжетности и метасюжетности, за счет изучения возможностей заголовка, за счет инверсирования метафор.

Лично мне он в этих своих поисках более симпатичен, чем его, вполне прекрасные, конкуренты. И я очень рад, что могу наблюдать, как Виктор становится одним из важнейших сегодня поэтических голосов, как он, если использовать метафорику самого Лисина, к тому же решительно отпочковывается от поколенческого мейнстрима в сторону безусловной самостоятельности.

Олег РОГОВ

СКВОЗЬ КАПЛИ НА СТЕКЛЕ

Ара Мусаян. Капли на стекле. – СПб, Алетей, 2016. – 144 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

Фактура книги – короткие заметки: блокнот, диктофон-эккерман, инсайт-импринт – провоцируют имитацию, но попробую устоять.

Родиться 70 лет назад во Франции армянином, первые 18 лет прожить в СССР, прочесть Монтеня в 14, вернуться, учиться в Париже 1960-х философии, переводить, начать «русское письмо» после 60-ти, издать первую книгу сейчас – это Ара Мусаян. Его публикации сливаются в какой-то невероятный, но уютный локус: можно заглянуть в «Новый журнал», пройдя по «Крещатику» и «Мостам» через «Волгу».

Шестьсот с чем-то «лингвистически-экзистенциальных экспромтов» (определение из аннотации) выстроены в восемь глав. Французская афористика и розановская пронизательность, этимологические эквилибры, красные нити музыки и живописи, ковры полевоенной философии над бездной.

«Этимология имен числительных. Лишь порядковое “второй” указывает на ожидаемое

повторение, остальное – лишь немые знаки, ни перед кем, кроме себя, не отчитывающиеся».

Если не умственное, то бьющее по ощущениям:

«Фруктово-сладковатый с примесью соляночной гари запах мусорных грузовиков – по пути пешочком на работу».

«Табак – открытие относительно недавнее, а уже в производных “сигарета”, “сигара” отчетливо *слышится* “гарь”.

Сложная картина с русскими словами вокруг обоняния.

Парадоксальная роль *слуха* в нем: благоухание.

Чуять звучало, видимо, в чьих-то, опять же, ушах, – чуточку *псинно*, а *чувствовать* – длинновато... Тут кто-то и ляпнул “слышу” – и вошел с тех пор *ляпсус* в употребление».

Привет Гачеву, поклон Хлебникову, – и что-то особенное, свежее, подкупающее и широким замахом – и в то же время какой-то домашней доверительностью. Как и в суждении об иронии Хичкока или в удивлении культу Леонардо.

Маленькое чудо этой книги, наверное, в том, что всё происходит в ней одновременно, как в этом отрывке:

«Одновременно:
фейерверк в соседнем Нантере, –
Луна
пучок прожектора вдоль фасадов зданий
собачонка залаяла на поводке у старушки
группа людей *служебного профиля* – один-
надцать, полдвенадцатого!..
паренек с мячом на лестницах перрона мэ-
рии

две подружки – легкие платьица – одновременно оглядываются на неожиданный в этот час шлеп мяча.

Радио выключено – пора укладываться спать».

Текст сплетает случайное в единое. Или даже в Единое. Собственно, как и при каждом нашем осознанном контакте с реальностью.

Алексей СЛАПОВСКИЙ

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
(вместо рецензии)

Саратов 13/13: книга стихотворений (Валентин Ярыгин, Александр Ханьжов, Николай Кононов, Светлана Кекова, Олег Рогов, Евгений Малякин, Лариса Грекалова, Евгений Заугаров, Станислав Степанов, Игорь Алексеев, Алексей Голицын, Сергей Трунев, Алексей Александров). – Библиотека Альманаха «Слова, слова, слова», 2017. – 198 с.

И я там был.
Но слишком лично, частно,
частично, безучастно, а сейчас
ищу себя среди вас
напрасно.

Досадно, блин, хоть задним веком вклей
себя в семейность этих фотографий.
И я так жил, и времени не трафил...
Забудь.
Налей.

Нет, правда, ведь в одних и тех пивных,
аудиториях, квартирах и объятьях

мы были, но, как сводный среди братьев,
не свой своим и чуждый для иных –

тут следует какая-то строка,
но нет ее. Надо потом дописать, а может,
и не надо.

Так вот. О чем я? Да, о том, что мы,
кто умерев, кто спившись, кто уехав,
несчастий нахлебавшись и успехов,
попробовав и смуты, и сумы,
вдруг оказались заодно и вместе,
и я среди вас, хоть не видать лица.
Как карты ни крести, а козырь крести
на перекрестке духа и тельца.

Чем дальше взгляд, тем меньше
расстоянье.

Мы одолели жизнь в один присест.
И то, что виделось как расставанье
теперь похоже на приезд.
(Это вот не очень удачно, в лоб, но не хо-
чется выглядеть лучше самого себя, пусть
так и останется).

Так вот... Я, впрочем, все уже сказал...
Но это чувство – будто бы вокзал,
и обнял всех, и пожелал дороги,
но все топчусь, как будто на пороге,
не зная, мне сюда или туда.

Как о..ительны в России поезда.

Алексей ГОЛИЦЫН

ЗЕМНОЙ И МУХИНА

О быте и нравах саратовских писателей времен Большого террора

В сентябре 1936 года в саратовском отделении Союза писателей произошло событие, которое надолго определило стиль отношений в этом творческом коллективе. Словесная перепалка между молодыми людьми могла бы вовсе не иметь никаких последствий, случись она годом раньше, когда страна еще не погрузилась в политические процессы. Однако конфликт в 15-й комнате Дворца труда¹, которую занимали писатели, привел к трагическим последствиям. Сразу после инцидента горстка литераторов (буквально десяток активных плюс начинающие) разбилась на фракции и повела борьбу за власть путем уничтожения оппонентов. Достаточно сказать, что два руководителя отделения СП были расстреляны, минимум трое писателей (а до этого еще четверо) – репрессированы, и до сих пор ведутся споры, кто на кого доносил и в какой форме сотрудничал с органами. Данная публикация – первая попытка на документальном материале описать начальные годы существования саратовской писательской организации.

Но сначала – несколько слов о фигурантах скандала, который вполне мог остаться бытовым, но немедленно принял политическую окраску.

Валентина Мухина (с 1950-х годов – Мухина-Петринская) родилась 7 февраля 1909 г. в Камышине. После окончания девятилетки работала прессовщицей на заводе комбайнов в Саратове, занималась в литературном кружке под руководством местного драматурга Смирнова-Ульяновского². В 1935 г. поступила на заочное отделение Литературного института им. Горького, ее взяли на работу в редакцию главной краевой газеты «Коммунист». Мухина была автором нескольких рассказов в местной периодике и повестей «Побежденное прошлое» и «Тринадцать дней», опубликованных в первых номерах альманаха «Литературный Саратов».

Вадим Земной (настоящее имя Иван Глухота) родился в 1902 г. в селе Завьялово Алтайского края и, как записано в учетной карточке члена ВКП(б), 7 лет занимался хлебопашеством. С 1924 по 1928 г. служил в армии, в том числе в 55-м Кавпогранотряде ОГПУ (Зейский округ Дальневосточного края). С 1925 г. стал продвигаться по партийной линии и ко времени описываемых событий преподавал политэкономии и историю классовой борьбы в средних и высших учебных заведениях. В 1936 году Земной считался уже известным по саратовским меркам писателем. Публиковался с 1925 года, у него вышло два сборника стихов: «Горячий дым» (1934) и «Страна цветов» (1935). Земной – участник I съезда советских писателей, в 1934 г. – секретарь краевого союза ССП, вел консультацию для начинающих авторов.

Итак, 17 сентября 1936 г. Валентина Мухина направляет в комиссию партийного контроля при Саратовском крае и в парторганизацию Саратовского крайгиза заявление с просьбой

«...привлечь к партийной ответственности писателя члена ВКП(б) Земного Вадима (Глухота

¹ Ныне дом №55 по ул. Сакко и Ванцетти занимают профсоюзные организации. До революции в здании размещалась Казенная палата, а в одной из квартир проживала семья управляющего Николая Лаппа. К его дочери Татьяне в 1911–1917 гг. неоднократно приезжал муж – писатель Михаил Булгаков (*Здесь и далее прим. публ.*).

² Смирнов-Ульяновский Валентин Александрович (1897–1982) – саратовский поэт, прозаик, драматург.

Иван Павлович) за нанесенное им мне оскорбление 16-го октября¹ с/г в помещении Союза писателей. Начавшийся спор о писателях Олеше, Эренбурге принял совершенно неожиданный оборот. Я отстаивала преимущество этих писателей перед Панферовым и Шолоховым. Возможно это и ошибочно, но во всяком случае я не вижу, что бы это мое личное мнение можно было расценивать, как анти-советское.

Вместо терпеливого разъяснения по этим вопросам, Земной накинулся на меня со словами: «Сволочь! Как это могли полтора года терпеть в союзе такую гадину! Ты хуже контр.революционера!»

Я считаю, что такого рода оскорбление достаточно говорит о моральном облике Земного и поэтому сделать соответствующие выводы. Я – беспартийный литератор. В первом и втором номере альманаха «Литературный Саратов» напечатаны две мои повести. Сейчас работаю над третьей. В союз писателей я пришла учиться, а тем более у писателей-коммунистов, но никак не получать оскорбления, какие мне не приходилось ни от кого слышать»².

Уже 1 октября коммунисты краевого издательства на закрытом собрании рассматривают заявление Мухиной. Документ зачитывают присутствующим, и Вадим Земной объясняет партийным товарищам:

«Не стану опровергать ничего из того, что говорится в заявлении. Признаю, что формально поступил неправильно, обозвав Мухину сволочью. Но прошу учесть все, что предшествовало этому инциденту, и то, что представляет из себя Мухина. Я не раз уже говорил и в парторганизации, и в союзе о том, что она представляет собою, – это мещанка, прогнивший обывательщиной человек. Назову только несколько ее высказываний, по крайней мере, только те, которые могут быть подтверждены другими писателями. Мухина говорит:

«У советской литературы нечему учиться, я учусь только у западных писателей». Ее спрашивают: «А у Горького?» – «И у Горького нечему учиться».

«В фашистской Германии молодому писателю лучше живется, чем у нас, в СССР». «Шагинян была права, говоря, что доярки у нас живут лучше, чем писатель».

«Газеты писатель не должен читать, они губят писателя». «Печататься в альманахе с рабочим (Михайловым³) – позор. Если б я знала, что в номере будут его вещи, я не дала бы своей».

«Что мне делать на советских курортах, я поехала бы только на заграничный».

«На вопрос, как зовут Молотова, Мухина ответила: «Не знаю и не желаю знать. Я обязана знать лишь, скажем, Кетти Кельвиц⁴ (немецкая художница), знать о Молотове мне необязательно».

«Очень плохо делают, что называют улицы именем вождей при жизни их. Еще неизвестно, что с ними будет потом».

Наконец, самому инциденту предшествовал такой разговор. Рассматривая портреты писателей, Мухина отбирает портреты Пильняка, Шагинян, Олеша и Луговского и говорит – «Вот это лучшие писатели, остальные ерунда». Ей указывают на Шолохова, она продолжает: «Дрянь, никуда не годится». «Живет в провинции, потому что дурак». И т.д.

Я, наконец, не выдержал и сказал ей: «Сволочь, уйди отсюда, как мы тебя терпим полтора года в числе писательского актива».

Я просил обсудить ряд ее высказываний правление союза, правление никак не реагировало на

¹ Так у автора. На самом деле – сентября.

² ГАНИСО. Ф. 58. Оп. 1. Дело № 18. Л. 55-56. Здесь и далее документы печатаются с сохранением орфографии и пунктуации.

³ В первом номере альманаха «Литературный Саратов» (1935) напечатана повесть И. Михайлова «Найденный путь».

⁴ Кете Кольвиц (нем. Käthe Kollwitz; 8 июля 1867 – 22 апреля 1945) – немецкая художница, график и скульптор.

эти ее высказывания. После инцидента с ней я пошел к Касперскому¹. Кассиль² всячески этому препятствовал, заявив, что Касперский занят сейчас. Мухина продолжает ходить в правление и даже вновь принята в редакцию «Коммуниста»³.

Коммунисты – работники краевого издательства встали на сторону Вадима Земного:

«Гупалов. Не только Земной, но даже я с трудом сохранял спокойствие, когда говорил с Мухиной. При мне она говорила, что писателю в Германии живется лучше, чем у нас. Союз повинен в том, что не принял до сих <пор> по отношению к ней мер. Земной также должен был продолжать добиваться этих мер организованно через союз. Ее же только высмеивали как бы в шутку, не придавали политического значения ее контрреволюционным разговорам и высказываниям. Не думаю, чтобы Земной заслуживал сурового взыскания или большого порицания за свой поступок.

Мухалева. Когда Мухина несла несусветные вещи, все это объясняли обычно ее дуростью. Между тем, это уже не дурость, а определенная идеология. Она заявляла – я не знаю, кто такой Криницкий⁴ и т.д. О ней говорили, главным образом, здесь, в крайГИЗе.

Земной неправ, обругав ее таким образом. Отчитать ее надо было, но незачем оскорблять. А главное, надо было ее разоблачить до конца, разобрать каждый ее поступок, лишить ее права печататься в альманахе, в частности после заявления ее о Михайлове. А вы поступили наоборот. Михайлова отшили от альманаха, а Мухина продолжает печататься.

Лебедев⁵. Считаю поступок Земного нетактичным. Это одно. Но, спрашивается, за что борются в союзе писателей члены партии. Мы неоднократно предлагали им проверить состав писателей и изгнать тех из них, кто порочит звание советского писателя. О настроениях Мухиной все знают, но никаких выводов из этого не делается. Земной же поступил нехорошо.

Кириухин⁶. Земной не раз говорил о Мухиной. Почему ни наша парторганизация, никто другой не добился принятия мер по отношению к ней. Поступок Земного нельзя считать хорошим, но плохо, что на заявление его никто не реагирует.

¹ Касперский Владимир Владимирович (1896, Холм Псковской области – 1938, Саратов) до прибытия в Саратов работал инструктором по печати в аппарате ЦК ВКП(б). С 1935 г. – ответственный редактор «Правды Саратовского края», затем газеты «Коммунист». В 1936 г. назначен председателем Саратовского отделения Союза писателей, в 1937 г. – ответственным редактором альманаха «Литературный Саратов». Репрессирован, расстрелян в конце мая 1938 г. Реабилитирован.

² Кассиль Иосиф Абрамович (1908, Покровская слобода Саратовской области – 1938, Саратов) – критик, прозаик, младший брат Льва Кассиля. Был ответственным секретарем правления Саратовского отделения Союза писателей, преподавал марксизм в Саратовском институте механизации им. Калинина. Заведовал литературным отделом газеты «Коммунист». Входил в редколлегия альманаха «Литературный Саратов». 4 августа 1937 г. И. Кассиль был арестован и 21 января 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

³ ГАНИСО. Ф. 58. Оп. 1. Дело № 18. Л. 51-52.

⁴ Криницкий Александр Иванович (1894–1937). С апреля 1934 г. – 1-й секретарь крайкома ВКП(б). 18 июля 1937 г. снят с поста за «слабость руководства и безнадежную слепоту к врагам народа». 20 июля арестован по обвинению в измене Родине, террористической деятельности и «систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств». Расстрелян 30 октября 1937 г. Реабилитирован.

⁵ Лебедев Иван Андреевич (1894, Саратов – ?) – в 1936-1937 гг. – работник краевого издательства, член ВКП(б) с 1921 г.

⁶ Кириухин Николай Иванович (17 февраля 1910 г., с. Малые Озерки Базарно-Карабулакского района Саратовской области – апрель 1995 г., г. Ртищево Саратовской области). Журналист, писатель, в дальнейшем – партийный работник. Воспоминания Кириухина «Страшные годы. Пережитое» см.: «Волга», №11-12, 2014.

Земной: Прошу поверить, что я руководствовался не личными чувствами, не чувством личной неприязненности, что я не мог уже спокойно вынести того, что вот уже в продолжении года говорит Мухина. Кассиль на вопрос к нему, что произошло у Земного с Мухиной, ответил – так, это семейная драма». Это больше чем нелепо, и говорит только о том, что я мог сделать по отношению к Мухиной через правление»¹.

В результате собрание постановило «указать т. Земному на нетактичность и невыдержанность его поступка по отношению к Мухиной. Задачу Земного, как коммуниста-писателя, составляет так воздействовать и реагировать на недостойные поступки и действия писателей, чтоб это воспитывало в них чувство ответственности за свои поступки и дела и отсекало от союза все негодное, вредное.

Вместе с тем, партсобрание поручает парторгу тов. Лебедеву довести до сведения отдела политпросветработы крайкома партии о том, что из себя представляет Мухина, и о том, что союз писателей до сих пор никак не реагировал на ее антисоветские выступления. Просить отдел политпросветработы крайкома указать правлению союза на этот факт»².

Следует отметить, что формулировка «указать» на практике была самой мягкой формой партийного взыскания. Далее следовали «поставить на вид», «объявить выговор», «строгий выговор» и «выговор с занесением в личное дело». Казалось бы, конфликт был исчерпан, но не будем забывать, что сведения о взглядах писательницы Валентины Мухиной уже легли на стол к партийному руководству Саратовского края.

Тем временем готовится к выходу третий выпуск «Литературного Саратова» со стихами Земного, рассказом Мухиной «Под багровым небом» и повестью Иосифа Кассиля «Крутая ступень» – его первым прозаическим опытом. 27 марта 1937 г. номер был подписан в печать, и разразился крупный скандал. Повесть Кассиля была признана антисоветской, в СМИ началась срежиссированная травля ее автора, совпавшая с массовой охотой на троцкистов по всей стране. Мухину эти события пока обходили стороной, 1 мая 1937 г. она публикует в газете «Коммунист» рассказ «Бригадир». Забегая вперед, отметим, что следующее появление Мухиной в печати произойдет лишь в 1954 г.

15-16 мая 1937 г. проходит собрание саратовских писателей, на котором было ликвидировано его правление. Владимира Касперского и Иосифа Кассиля отстранили от руководства организацией, а уполномоченным Всесоюзного правления союза писателей выбрали Вадима Земного. В июне УНКВД по Саратовской области установило принадлежность Иосифа Кассиля к «контрреволюционному троцкистскому подполью», «антисоветской правотроцкистской террористической диверсионной вредительской организации» и 4 августа он был арестован.

Ровно через два месяца, 4 октября была арестована и Валентина Мухина. «Следствием по делу вскрытой и ликвидированной право-троцкистской организации в Саратове установлено, что писательница Мухина является одной из участниц данной контр-революционной организации», – говорится в ее уголовном деле³. В постановлении об избрании меры пресечения записано: «Осенью 1936 г. в помещении союза писателей в присутствии Кассиль, Королькова⁴, Глухоты, Самсонова⁵,

¹ ГАНИСО. Ф. 58. Оп. 1. Дело № 18. Л. 52-53.

² ГАНИСО. Ф. 58. Оп. 1. Дело № 18. Л. 53.

³ Архив УФСБ РФ по Саратовской области. Дело ОФ 12552. Здесь и далее цитаты даются без указания листов уголовного дела.

⁴ Корольков Николай Романович (1906 – не ранее 1972) – поэт, журналист.

⁵ Самсонов Дмитрий Александрович, псевд. Степан Дальний (1895 – ?). Поэт, журналист. Печатался в газетах «Коммунист», «Саратовский рабочий» и «Саратовские известия», а также в альманахе «Литературный Саратов». Был одним из организаторов Саратовского отделения Союза писателей. Арестован во время войны, умер в заключении.

Борисова¹ Мухина вела клеветническую антисоветскую агитацию, <...> клеветнически отзывалась о положении писателей в Советском Союзе, восхваляла условия жизни в капиталистических странах и одобряла Гитлера».

При обыске на съемной квартире у Валентины Мухиной работниками НКВД были изъяты только шесть книг, в том числе и альманах «Литературный Саратов». 19 октября Мухина на допросе признала себя виновной, но в судебном заседании от своих показаний отказалась, заявив, что дала их в результате применения незаконных методов следствия. Никакие свидетели по делу Мухиной не допрашивались.

Несмотря на это, выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР 24 января 1938 г. приговорила ее по статьям 17-58-8 и 58-11² к десяти годам тюремного заключения (!) с конфискацией имущества и поражением в правах. Материалы на других участников антисоветской группы были выделены в особое производство, но никаких последствий для них это решение не имело. Вероятно, еще находившихся на свободе саратовских писателей спасло то, что под репрессии попало само руководство саратовского НКВД и, в частности, его начальник Альберт Стромин³.

7 марта 1938 г. Валентина Мухина просит «заменить ей тюремное заключение исправительно-трудовыми лагерями, хотя бы на больший срок». «Я очень виновата и не прошу уменьшения срока. Увеличьте его хоть на 25 лет, но только дайте мне возможность, неся наказание, одновременно приносить пользу, работать на советскую власть», – обращается Мухина к Военной коллегии Верховного Суда.

23 сентября 1939 г. приговор писательнице был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. 14 февраля 1940 г. на допрос был вызван первый свидетель – Вадим Земной, который заявил:

«С политической стороны я Мухину знаю как личность, настроенную против ВКП(б) и Советской власти. Она систематически вела антисоветскую агитацию. <...> О конкретных фактах антисоветской агитации Мухиной Валентины Михайловны могу показать следующее:

Осенью 1936 г. на собрании в Союзе писателей Мухина Валентина Михайловна говорила: «Молодым писателям в фашистской Германии живется лучше, нежели у нас в СССР, там писатели обеспечены всем лучше, чем у нас в Советском Союзе. Об этом могут подтвердить писатели Юрьев⁴ и Степан Дальний.*

В конце 1936 или в начале 1937 года в Союзе писателей Мухина Валентина Михайловна проводила антисоветскую агитацию: «У наших советских писателей поучиться нечему, нам надо учиться у Западных писателей. Этим она агитировала на Западную буржуазную литературу. Когда Мухиной сказали, что у нас есть писатели пролетарские мировой величины, как М. Горький, Мухина на это заявила: «М. Горький как писатель чепуха против Западных писателей». Этот факт может также подтвердить писатели Юрьев и Степан Дальний.

Осенью 1936 в Союзе писателей в <нрзб> разоблачения врагов народа, которые сидели у руководства, по этому вопросу среди писателей велся разговор. Мухина Валентина Михайловна заявила:

¹ Борисов Дмитрий Михайлович (1883–1948) – журналист, писатель, редактор Нижневолжского краевого издательства.

² В УК РСФСР (1938 г.) ст. 58-8 – «Совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций» и 58-11 – «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений».

³ Альберт Стромин (Строев, Геллер) (1902, Лейпциг – 23 февраля 1939, Москва). Майор госбезопасности, утвердил обвинительное заключение по делу Иосифа Кассиля, был членом пленума и бюро областного комитета ВКП(б), членом президиума облисполкома. Награжден знаком «Почетный чекист» и – в июле 1937 г. – орденом Ленина. 14 декабря 1938 г. арестован и 22 февраля 1939 г. расстрелян. Несмотря на просьбы родственников, Стромин не был реабилитирован.

⁴ Юрьев Михаил Иванович (1898, Баку – ?) – писатель, консультант отделения Союза писателей, автор повести «Мухтар».

«Не надо называть города именем живых вождей, мы не знаем, что может с ними случиться. Приведу при этом пример, зачем назвали город Царицын Сталинградом, ведь Сталин еще жив, и мы не знаем, что с ним может случиться». Подтверждают Юрьев и Степан Дальний.

Осенью 1936 года я дежурил в Союзе писателей, где в это время консультировал рабочих – молодых писателей. В это время к нам вошла Мухина Валентина Михайловна. К ее приходу был разговор о политической грамотности советских писателей. Не помню, кто из присутствующих спросил Мухину, как имя отчество тов. Молотова. Мухина на этот вопрос не ответила, потому что не знала, и позже заявила: «Подумаешь, шишка какая Молотов, не обязательно знать его, завтра выгонят Молотова к чертовой матери и выберут другого». Кто присутствовал при этом, я сейчас не припомню, но должен сказать, что антисоветскую агитацию она вела систематически. <...>

Об антисоветской агитации Мухиной Валентины Михайловны я как член партии ставил вопрос перед своей парторганизацией и лично перед Касперским, Липендиным⁵, Симановичем, но эти лица Мухину брали под свою защиту и никаких мер к ней не принимали и впоследствии Касперский, Липендин и Симанович были разоблачены как враги народа. Также покрывал Мухину бывший секретарь Союза писателей Кассиль, который хорошо знал об антисоветской агитации Мухиной, но вопрос о ней никогда не ставил, тогда как Мухина как антисоветский элемент должна была разоблачена и изгнана из Союза писателей. <...>

Больше о Мухиной показать ничего не могу, так как всех фактов антисоветской агитации сейчас не припомню.

*Справка: на последней странице в нижней строке слово «лучше» записано мной лично, как пропущенное».

2 марта 1940 г. по делу Мухиной был допрошен писатель Степан Дальний, литсотрудник при газете «Коммунист», а 10 марта – писатель Михаил Юрьев. Оба подтвердили, что обвиняемая «проводила антисоветскую агитацию», повторяя слово в слово показания Земного. Валентина Мухина отрицала показания всех троих и не признала себя виновной. «Я твердо убеждена, что на меня мог наклеветать Вадим Земной – Глухота Иван, с которым у меня были личные счеты и плохие взаимоотношения. Он меня ненавидел, так же ненавидела его я, больше личных счетов ни с кем не было», – заявила она следователям.

19 августа 1940 г. чекисты вынуждены были провести очную ставку Мухиной с Земным.

«Вопрос Мухиной: Расскажите о Ваших взаимоотношениях со свидетелем Земным Владимиром⁶ Павловичем.

Ответ: С Земным у меня были личные счеты до моего ареста 1937 года. Земной в конце 1935 или в начале 1936 г. в Москву в Союз писателей на меня писал клеветнические заявления, но что писал он, мне неизвестно. Об этом из письменного заявления я узнала от члена Союза писателей, приехавшего из Москвы фамилию не знаю.

В начале 1937 года Земной Владимир Павлович в помещении Саратовского Союза писателей нанес мне оскорбление во время литературного спора о Юрии Алешине⁷, за это оскорбление я подавала заявление в контрольную комиссию, где ему дали выговор с занесением в личное дело⁸. После этого у нас с Земным Владимиром Павловичем были плотные взаимоотношения. В 1937 году в августе или в

⁵ Липендин Павел Федорович (1901–1937) – работал в культпропотделе Саратовского крайкома. С июля 1935 г. – и.о. главного редактора краевой газеты, с января 1937 г. – второй секретарь Саратовского обкома. Арестован 16 июня 1937 г. и обвинен по п. 10, 11 ст. 58 УК РСФСР. Покончил с собой не позднее 4 августа 1937 г. Реабилитирован.

⁶ Так в протоколе. Правильно – Вадим.

⁷ Так в протоколе. Имеется в виду Юрий Олеша.

⁸ Мухина ошибается. Вадиму Земному лишь «указали» на его поступок.

сентябре месяце Земного Владимира Павловича по телефону <нрзб> клеветал на меня в радиокомитет о том, что якобы разложившихся в бытовом отношении. Об этом мне передали, но кто сейчас не припомню. В 1937 году перед моим арестом я хотела поступить на работу в редакцию «Коммуниста», но когда обо мне справились как о работнике, редактор Блохин, то Земной также обо мне дал клеветническую характеристику. Об этом мне конкретно не известно, Блохин мне об этом не говорил, но я так предполагаю.

Вопрос Земному: Расскажите о Ваших личных взаимоотношениях с Мухиной Валентиной Михайловной.

Ответ: Никаких личных плохих взаимоотношений с Мухиной Валентиной Михайловной у меня никогда не было. Я с Мухиной имел самые хорошие взаимоотношения, я ценил ее как единственную женщину в Союзе писателей, причем как я ее ценил неплохую молодую писательницу. Никаких клеветнических в Москву я не писал и все, что Мухина показала сейчас о наших якобы нехороших взаимоотношениях, все это ложь и не правильно. Что касается редактору газеты «Коммунист» Блохину я действительно отрицательную характеристику Мухиной я давал, зная о ней ряд фактов антисоветских высказываний. Факт нетактичного отношения к Мухиной у меня был в 1936 году осенью, за что мне парторганизация поставила на вид. Но это было не так, как говорит Мухина, и получилось это при следующих обстоятельствах. Осенью 1936 года в помещении Союза писателей я проводил литературную консультацию с рабочими завода комбайнов. В это время в помещение пришла Мухина и стала проводить антисоветскую агитацию. Заявила, что в фашистской Германии писатели живут лучше, чем у нас в СССР и т.д. После этого я Мухину взял за воротник и выставил из помещения. За это мне как за нетактичное поведение к Мухиной поставили на вид.

К Мухиной у меня были хорошие взаимоотношения в первые годы, когда я не знал о ее антисоветских выпадах против Советской власти, и когда я узнал о ее антисоветских выпадах, я к ней стал недоверчив или вернее не доверял ей с политической стороны, а личные взаимоотношения у нас с ней по-прежнему оставались хорошими. <...> взаимоотношения не переходили в личные склоки.

Мухина Валентина Михайловна неоднократно проводила антисоветскую агитацию осенью 1936 года и в начале 1937 года как в Союзе писателей во дворце труда и областном издательстве. Мухина говорила, в фашистской Германии молодым писателям живут лучше, чем у нас в СССР. Об этом могут подтвердить Эпштейн Александр Давыдович¹, Лебедев Иван Андреевич, был редактором областного издательства, писатели Юрьев Михаил, Степан Дальний и Смирнов-Ульяновский.

В конце 1936 года, числа и месяца сейчас не припомню, но знаю, был там Юрьев Михаил, Касиль, где зашел разговор о политической грамотности писателей, из всех присутствовавших кто-то Мухиной Валентине Михайловне задал вопрос, как отчество зовут т. Молотова. Мухина на этот вопрос не ответила, и над ней стали смеяться, после этого Мухина заявила: «Подумаешь, какая шишка Молотов. Сегодня он глава правительства², а завтра его к чертовой матери прогонят и посадят другого».

В этом же разговоре Мухина говорила, не надо называть города и пароходы именами новых вождей, вот как, например, назвали город Сталинград именем Сталина, но неизвестно, что случится с ним.

Вопрос Мухиной: Я подтверждаю, что показания свидетеля Земного Владимира Павловича являются клеветническими и я показания его отрицаю. О том, что я якобы говорила, в фашистской Германии писателям живет лучше, чем в СССР, я категорически отрицаю, я этого не говорила.

Что касается оскорблений Молотову, я никогда не делала. Разговор в помещении писателей был, у меня спрашивали отчество Молотова, я не ответила, я была сконфужена, что не знала, но оскорбление не делала.

¹ Работник саратовского краевого издательства, в 1950-е годы – сотрудник газеты «Рабочий транспорт».

² В 1930–1941 гг. Вячеслав Молотов был председателем Совета народных комиссаров СССР.

В отношении названий городов именами вождей ВКП(б) разговора в Союзе писателей не было, имелся разговор, как показывает Земной, но только о названии улицы Кутякова¹, я говорила, что жаль, что назвали улицу в честь Кутякова, и теперь пришлось это название снимать, оскорблений вождям ВКП(б) я в этот раз не делала».

Очные ставки Мухиной со Степаном Дальним и Михаилом Юрьевым проходили по аналогичному сценарию. Так, 19 августа 1940 г. Степан Дальний показал:

«В начале 1937 г., дату и месяц не припомню, в помещении союза писателей, где были я, писатель Юрьев, Земной, Кассиль, кто был еще – не помню <...>. Зашел разговор о политической неграмотности Мухиной, которой мы, т.е. я и Кассиль, задавали вопросы и в частности я задал вопрос, кем работает т. Молотов. На это Мухина ответила, что Молотов работает вторым секретарем ЦК ВКП(б). Но что ответила Мухина еще по этому вопросу, восстановить в памяти не могу. Но припоминаю, что Мухина говорила: «Не обязательно знать имена вождей ВКП(б) и кем они работают. Сегодня он Вождь, а завтра нет». И дальше Мухина говорила, что не нужно называть именами новых вождей, потому что он сегодня вождь, а завтра враг народа. Привела пример Троцкого, Зиновьева, Бухарина. При этом привела в пример, что город Царицын напрасно назван именем Сталина, потому что сегодня Сталин вождь, а завтра нет. Кроме этого, в этот раз Мухина говорила, что за границей писатели и народ живут лучше, чем у нас в СССР».

Свидетель Юрьев на очной ставке 10 сентября 1940 г. также утверждал, что Мухина «антисоветскую агитацию проводила очень часто».

Несмотря на то, что Земной и Юрьев заявляли на следствии, что антисоветские суждения Мухина допускала в присутствии Эпштейна, Смирнова-Ульяновского, Лебедева, Тимохина² и Дурнова-Озерного³, на допрос были вызваны лишь двое из них, да и те выступили вопреки утвержденному сценарию.

Так, 30 августа 1940 г. Смирнов-Ульяновский рассказал следователям, что «в присутствии меня Мухина вела себя неплохо. Лично я никогда не слышал, чтобы Мухина проводила антисоветскую агитацию. О Мухиной всем рассказывал Земной. Земной допускал в отношении Мухиной грубости, за что его обсуждали на писательской организации».

Свидетель Лебедев, осудивший Мухину на собрании в издательстве в 1936 г., на этот раз настаивал, что «антисоветских высказываний не слышал». Следователь уточнил: «Земной сказал, что Мухина говорила в вашем присутствии». «Ничего не слышал. Припоминаю, что произошла стычка», – ответил Лебедев.

Мухина называла показания Земного, Юрьева и Дальнего клеветой и просила следователей допросить Борисова, Королькова, Владимира Ленского, но ей было отказано. Дело, по существу недоисследованное, было направлено на рассмотрение Особого Совещания. 24 сентября 1940 г. Мухину обвинили по ст. 58.10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти). Обвиняемая снова не признала себя виновной, и ее приговорили к заключению в исправительно-трудовом лагере на 8 лет, считая срок с 6 октября 1937 г. – даты первого ареста.

Валентина Мухина полностью отбыла срок в Карлаге и освободилась в 1945 г. Преподавала математику и физику в сельских школах, вновь стала печататься в саратовских газетах. 1 апреля 1953 г. «вышла на временную нетрудоспособность и целиком отдалась литературной работе».

¹ В 1931–1937 годах имя Кутякова носила улица Большая Казачья в Саратове. Герой Гажданской войны в 1937 г. был репрессирован и погиб в заключении. Ныне его имя носит улица Цыганская, на которой, кстати, до ареста жил Иосиф Кассиль.

² Тимохин Виктор Александрович (1909–1967) – поэт, журналист.

³ Озерный (Дурнов) Борис Федорович (1911–1958) – поэт.

В 1954 г. Мухина начала хлопотать о реабилитации. В ходе дополнительной проверки по ее делу, наконец, были допрошены свидетели Тимохин, Дурнов-Озерный, Эпштейн, Корольков и Неводов¹, хорошо знавшие Мухину до ареста. Никто из них не подтвердил показания Земного, Дальнего и Юрьева.

Например, поэт Борис Озерный начисто отрицал, что слышал какие-либо антисоветские заявления Мухиной, но вспомнил об одной встрече с Вадимом Земным: *«Однажды он приходит ко мне домой раздражительный, схватил кепку, стукнул ей о стол и закричал на меня: «Сукин сын, проходимец, почему ты обманывал меня! Я только что узнал, что ты сын кулака, а говорил, что сын бедняка».*

Борис Неводов заявил, что в 1938 г. сам был исключен из Союза писателей по инициативе Вадима Земного.

И лишь Михаил Юрьев, который после войны переехал в Москву и занял пост замначальника Военного института МВД СССР, подтвердил свои прежние показания и вновь припомнил, что Мухина вела антисоветскую агитацию.

Однако главный фигурант – Вадим Земной – по неизвестной причине к даче показаний не привлекался, его судьбой следователи не интересовались, несмотря на то, что активно разыскивали даже давно умерших Ленского, Борисова и Дальнего.

А между тем карьера Земного складывалась вполне удачно. Войну он провел в редакции армейской газеты «Слово бойца» в должности писателя, *«написал ряд стихов и рассказов и очень много работал над творчеством начинающих красноармейских писателей. Тов. Земной провел несколько литературных вечеров в частях армии, на которых делал доклады, читал свои стихи, а также производил разбор и обсуждение творчества других товарищей».* Кроме того, тов. Земной *«написал консультации на 480 присланных редакции материалов и сделал 43 произведения»*², за что был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. После войны ненадолго вернулся в Саратов, но был вынужден переехать сначала в Ялту, а затем – в Москву. С 1945 по 1973 г. издал 12 книг стихов в Саратове, Казани, Симферополе, Киеве и Москве. Дата и место смерти не известны.

Валентина Мухина-Петринская 23 марта 1955 г. была полностью реабилитирована. В 1959 г. вновь вступила в Союз писателей. По протекции Александра Твардовского и Константина Паустовского стала активно печататься. Написала более 20 книг, выдержавших множество переизданий. В 1990 г. вышли из печати воспоминания Мухиной-Петринской о лагерях – книга «На ладони судьбы». Умерла в Саратове 6 июня 1993 года.

¹ Неводов Борис Семенович (1900–1957) – писатель.

² Данные приведены в наградных документах, опубликованных на сайте podvignaroda.ru

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (*проза*): slapovsky@yandex.ru

Персональный сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Кирилл Преображенский (*автор сайта, модератор*): kirill.preo@gmail.com

Подписано в печать 20 февраля 2017 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>
Персональный сайт:
<http://volga-magazine.ru>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.